

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

1-2 (454)

2015

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Евгений Стрелков. «Летнее чтение поэтов-энтомологов» *и др. стихи*.....3
Елена Сунцова. «Султан солонка сила солнце Суламифь...» *и др. стихи*.....10
Наталия Черных. Слабые, сильные. *Роман*.....16
Александр Беляков. На просторах облетевшей речи. *Стихи*.....83
Игорь Бобырев. «Оси нежности» *и др. стихи*.....88
Михаил Окунь. Тетерев. Колечки. «Чернеет дорога...» *Рассказы*.....91
Марина Палей. «по глазу – бритвой...» *и др. стихи*.....102
Катя Капович. Свадьба. Яблоки. *Рассказы*.....105
Андрей Тавров. Шестистишия.....111
Михаил Бару. Принцип неопределенности.....119

ДЕБЮТ

Максим Лошкарёв. Малыш Умкин. *Рассказ.* Приговор. *Пьеса*.....161

ИЗ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

«Творчество – есть свобода». Письма Н.М. Гущина
Публикация, вступительная статья, примечания Людмилы Пашковой.....165

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Андрей Пермяков. Новые региональные литературные издания
«Вещь» (Пермь), «Графит» (Тольятти) и др.....184

Сергей Трунев. Армия литераторов в параллельной провинции
Провинция у моря – 2014. Сборник произведений участников IV Международного арт-фестиваля «Провинция у моря».....188

Сергей Боровиков. Контрольный в голову
Роман Арбитман. Антипутеводитель по современной литературе. 99 книг, которые не надо читать.....190

Вячеслав Лопатин. Путеводитель для богатых
В. Н. Шараев. Волга. Путешествие от Москвы до Астрахани: Путеводитель.....193

Елена Сафронова. Союз Евтерпы и Харона
Ольга Дернова. Человец; Борис Кутенков. Неразрешённые вещи.....194

Сергей Шиндин. Отраженные в ста зеркалах...
Акмеизм в критике. 1913–1917. Составители О.А. Лекманов и А.А. Чабан; вступ. ст., примеч. О.А. Лекманова.....199

КИНООБОЗРЕНИЕ

Иван Козлов. Вершины и/или бездны
Прощай, речь (реж. Жан-Люк Годар), Ида (реж. Павел Павликовский), Левиафан (реж. Андрей Звягинцев).....202

© «Волга», 2015

Евгений СТРЕЛКОВ

Летнее чтение поэтов-энтомологов

Тревожный сон стрекоз и робкий посвист птиц
под ватой облаков, под вспышками зарниц
неслышный ход червя, шуршание жука
плеск рыбы на реке, подвижная река.

«Хоть острым взором нас природа одарила,
Но близок оного конец имеет сила.
Коль много тварей он ещё не досягает,
Которых малый рост пред нами сокрывает!»

Пускай их... книгочей приладясь к окулярам
зрит тонки члены в них, составы и футляры,
Невидимых частиц и тонких в теле жил...
кузнечик много трав в свой кузов пуза уложил
и много вер – тарарахнул зинзивер:
«кто вы, кивающие маленькой головкой,
Играете с жуком и божией коровкой?»

Под ватой облаков
под струями светил
– тончайших мира жил.

Осеннее чтение поэтов-энтомологов

Желанье описать эфирную природу,
мельчайших крыльев дрожь
и стихотворну оду
сложить кузнечику,
что музами любим, жуку и бабочке...

Евгений Стрелков родился в городе Тавда в 1963 году. Закончил Горьковский госуниверситет (1985, специальность «радиофизика»). С 1990 года – свободный художник, литератор, редактор литературного альманаха «Дирижабль». Автор поэтических текстов к нескольким книгам художника («Воздушная Арктика», «Английский пассажир», «Рейнская коллекция», «Письмо для неба» и др.). Литературные публикации в альманахе «Дирижабль» (Нижний Новгород), журналах «Messive» (Париж), «IF» (Марсель), «Волга» (Саратов). Один из соавторов книги «Ниже Нижнего». Член российского Пен-центра.

Замечено не нами:
не меньше, нежели в пучине тяжкий кит,
нас малый червь сложением дивит.
И песнопевец, отложивши стих
глядит в стекло, внимателен и тих
(когда жуков наловит в шапку):
какие есть у тварей лапки
какие крылышки у них…
Занятие для осени, уже
стеклом ледка слегка покрылись лужи
трава сухая на седой меже
хранит букашек сморщенные кожи.
В такую пору верно в самый раз
подсесть к печи с учёным фолиантом
и засмотреться на мушиный глаз
что увеличен ловким лаборантом
на вкленном в издание листе.
Играют огоньки на бересте.
Дрова дымят, слеза в глазу дрожит
сверчок за печкой дребезжит.

Зимнее чтение поэтов-энтомологов

Ряды жуков в музейном зимнем зале
о тёплом летнем дне напоминали.

Когда как мотылёк, в лучах почти бесплотен
ты скачешь и поёшь, свободен, беззаботен,
препровождаешь жизнь меж мягкою травою
и наслаждаешься медвяною росою.

Теперь – иной сезон, теперь зима ж
и за окном – фасеточный пейзаж
однообразных ладных людных келий
и перерыв в поре пиров и земледелий.
Из насекомых – лишь паук плетёт в углу,
да патефон поёт, точа свою иглу:
«Под роскошной жатвой жил он в поле чистом
Оглашая воздух бесконечным свистом…»

Теперь от тех полей ты отделён стеклом,
пропитан флегмою, согрет сухим теплом
из калорифера. Сидишь в свом дому
не просишь ни о чём, не должен никому.

Весеннее чтение поэтов-энтомологов

Подобно пауку ты выткал изнутри
своё ажурное жилище.
Убежище. Дырявый эрмитаж.
Где по весне все стёкла в дрозофилах
в круженьи самой мелкой мошкары,
мечты генетика. Наследственного пуха
роение: яйцо–личинка–муха,
венец творения и мухам демиург:
отрыв окно ты запускаешь круг
рекомбинаций животварной нити
– петля к петле – рождений и соитий…
вокруг уже зелёная трава
в траве (зимы запас) лежат дрова
а в воздухе жужжание и трепет
эфирных крыл – и новой жизни лепет.

Мушиная песнь

1.
сонмище дрозофил
трепет их жил тел лёт трель крыл
дребезг сосудов с притёртыми пробками
кубками
торжества науки стоящими (стеллажами, коробками)
состоящими из настоящих конструкторов vita
что разлита
по поколениям, по линиям:
яйца, личинки, затем
особи ювенильные,
особо: особи пожилые –
тех в микроскоп, их линии vita
– под пристальный окуляр:
альцгеймер, хантингтон, паркинсон
хитин футляра раскрыт – что там разбито?
что там – внутри?
вот муха бегает, раз-два-три
волоча одну ножку – шестая? пятая?
всю непростую науку
тем демонстрируя там.

и ещё – прислушайся к звуку
крыла, к брачной его увертюре
не мы ли сами – в миниатюре
не наши ли страсти стрекочут
не наши ль маячут мечты
гены едины – муха ли, я ли, ты…

2.
прощальная имени doctor honoris causa гайдна
жизнь коротка, мушина, музыка ж – инфинит
будь то музыка сфер или вот эта – шестая? пятая?
сорок пятая? квинтет ли, квартет или же трио уже?
сколько свечей ещё не задуто?
пока в темноте кромешной наш титаникус дерзкий
вонзается в белую стену редута
переворот чёрного в белое, вот оборот! – и бортовое в забортное.

звуки лишь звуки – музыки над мушиной вознёй
над мукою этого воза.
Мухою обернусь – так мы говорили
в ювенили
если не в ювенале
имели
в виду бахуса – как прелюдия эта бодра:
марши, мазурки, кадрили
– как печальна тема в финале.

вот и у мух те же всхлипы, коленца, трели
– всё как у людей, и в их невеликом теле
большая наука на сладком сиропе взойдёт
мухе пока не до слуха, муха – поёт.

3.
те ж пролегомены, те же циклы и такты
не шопен конечно, но шёпот чист,
может не лист, но и не скрябин контакты
с берегом с другим кораблём ненадёжны пока
азбука морзе примитивно прерывиста, ювенальна
лишь бередит сны пассажиров титаника, но дээнка
мухи уже спасена – на крыльях судьбы – и витальна.

снова разделится лесенка в сто миллионов пар
снова совьётся причудливо и спирально
муха продолжится в будущем пока из титаника пар
тонким свистком исчезает adagio и печально.

муха останется дольше, крылушкуя досеменит
до нового света, и в потомках своих прибудет
в старый свет, в петербург, и в сосуде пред нами теперь сидит
и различные чувства и мысли песнью своею будит.

Зимнее

углы коньковых крыш
ледок прудовый стуж
дымы надтрубных пряж

весёлый посвист лыж
с утра озноба дрожь
и горизонта брежь
освобожденья блажь
от луковых одеж.

Сообщающиеся сосуды цвета

рыжем – на сучьей шкуре,
что сочным пятном сочится
от бочки у водокачки
мимо кочки, укрытой
палым алым листом
потом
по оранжевому косогору
к ограде ржавой
деревенского колумбария
и гаммой всего гербария
осеннего: пурпуром, суриком, киноварью,
кармином, багрянцем
по стволам цвет взбирается
где крона
клёна.

Луга осенью

Коровы на лугу – подвижные столы,
расписаны плодами наливными
орошены цветами полевыми
застолье образуют у реки.
Удодами застыли рыбаки
средь камышей – идиллия в картине.
Вороны на столбах – подвижные штрихи
в живой арифметической машине
Столбы чуть скошены.
Накошено травы,
в стога обрушено,
распашено роскошно
вокруг лугов,
раскрашено, раёшно
у берегов.

Каюта на главной палубе

Приоткрывая окно, ты меняешь октаву воя
ветра, беседующего с тобою
Всю эту ночь от Сызрани до Ундор.

Темы бесед стекают с вершин Жигулёвских гор.
В ритурнеле шёпота-шелеста-шипа-свиста-воя –
пароходный свисток, склянки полдневного боя,
палубные разговоры – давнишним эхом от гор:
жалобы, стоны, признанья, ссоры, мольбы, укор...
Чайки волной разбужены.
Чайки со сна кричат.
Рыбы плывут глубже.
Рыбы молчат.

Малая навигация

Полощат узкие листья полые купы тальника
привычною процедурою прачек
разводят ветвями усталыми
по бортам
бакены: красные, белые. Запоздалые
водоплавающие на пароме
спешат к родным берегам.

Поля осенью

Комбайнов хребты, рёбра, суставы, колена,
обложены лужами, зажаты в ложбины.
как и прочие близ лежащие исполины
они киснут тут, под влажными проводами.
И динозавров отрывали порой стадами
целыми где-нибудь в Ундорах
у мезозойского водопоя.
Эти же чудища – на краю поля
в соломе застыли,
выпустив в небо весь свой угарный дух.
Моторы остыли,
страда унялась
с мокрых труб –
дымком последним –
стайка пичуг на юг снялась.

Больничное

блескоспицие,
болезненно белые,
болевые
колесницы, брошенные впопыхах
у запасного выхода из больницы
(«ключ в приёмном покое,
дверь закрывать на ключ»)

повествуют о homo как более
менее прямоходящем,
однако порой прискорбно
кососидящем, а иногда
вдольлежащем довольно беспомощно
существе: подножки, поручни, помочи,
подлокотники, пантографы, крестовины.
В стойле просторном замершие половины
кентавров ручных и могучих.
приколёсные карусели
когда – резво бегущие
а когда – ползущие еле-еле.

По посещении анатомического театра при Казанском университете, построенного архитектором Михаилом Коринфским

Печальный пантеон
как в рёберном объятьи
в кольце тугих колонн –
в стремлении объять и
поверить цифрою, таблицею, структурой
то, что предстало вдруг клавиатурой
под пальцами анатома. Игра
его внимательна, остра и виртуозна,
мелодия податлива; венозна
сосудиста, суставна, костяна
материя. Скелеты с верхотуры
в пандан к ученикам аспирантуры
глядят: и опыт, и труды
художника сей неживой натуры
бесспорны. И сосудистой воды
испарина, и мускульные горы,
и лимфы тихий ток, и кожи тонки поры
так натуральны в мастерстве изображенья
так жизненны, что чудится – в движеньи.

Елена СУНЦОВА

***

Султан солонка сила солнце Суламифь –
Качнулась радуга вдоль кружева зрачков,
Мой сон ленив,
Ленив и дважды бестолков,

Моя Офелия, олива в голубом
Молчащем мучащем и небе, клюве и,
Утроба-дом,
Сухая пяточка земли.

Зачем он был, зачем летал со мной во рту
Туда, где семя не ужалило траву,
Я слышу стук,
Так шутит дядюшка Ау.

Чем ты любимее, тем легче держит соль
Щепотку тела на поверхности морей
Всей суши вдоль,
С ее сетями рыбарей.

***

Ты веришь в гугл и облака,
А сон не там, и он прощай,
Пропащий стебель апропо,
Так имя сорвано дождем.

Ты плачешь, ягода во тьме,
Но вспыхнет, вспыхнет слова куст
Твоим молчанием о том,
Что только скалы и туман –

Твои беда и волшебство
В уменьи пламя повторять,

Елена Сунцова родилась в 1976 году. Училась на художественно-графическом факультете Нижнетагильского педагогического института, на факультете журналистики Санкт-Петербургского университета. Окончила факультет «Литературное творчество» Екатеринбургского театрального института. Публиковалась в журналах «Воздух», «Волга», «Дружба народов», «Интерпоэзия», «Стороны света», «Урал», Homo Legens и других. Автор восьми книг стихов. Лауреат специального диплома премии «Anthologia» за создание издательства «Айлурос» (Ailuros Publishing). Живет в Нью-Йорке.

И пламя застит горизонт,
И пепел, кто его изрек.

***

Арбалеты,
Ружья для подводной охоты,
Шашки, сабли, тесаки, ятаганы, палаши,
Мечты, шпаги, штыки, кинжалы,
Если бы ты не предал меня тогда.

Ножи: охотничьи,
Ножи с выбрасывающимися клинками,
С запирающими замками,
Имитаторы любого вида оружия,
Если бы ты просто позволил любить себя.

Земля,
Самая что ни на есть сырая,
Не отстающие от нее в смысле влажности облака,
Вода,
Небо,
Огонь,
Хозяйственно-бытовые ножи (ножницы)
С длиной клинка (лезвия) свыше 60 мм
Разрешено перевозить на борту воздушного судна
Членами экипажа и пассажирами
С соблюдением требуемых условий.

Когда-то я думала,
Что любовь – это быть вдвоем,
Алкогольные напитки с содержанием более 24%,
Но не более 70% алкоголя по объему
В емкостях вместимостью не более 5 литров, в таре,
Предназначенной для розничной торговли,
Не более 5 литров на одного пассажира.

***

Пока машинопись стучит,
Спеша саму себя прочесть,
Ты слышишь: голос оглушен,
И дождь случаен и болтлив,
И я уже не нахожу
Ни нужных букв, ни рук твоих.

Пока ты дышишь на земле,
Мне больно, весело, темно,

Слова из плоти и любви
Не хуже плоти и любви,
Мне страшно, весело, тепло,
Пока ты дышишь на земле.

Пока за Каменным мостом,
За чудищ спинами нам спать,
Рождаться с новым молоком
Тумана, штору поправлять,
Не прикасаясь, упаси,
К открывшемуся локотку.

Пока лишь март, и сводит март,
Как скулы, судьбы на ветру,
На шпонах, что на каблучках,
Танцует, верен и лукав,
И я могу открыть глаза
И улыбнуться, прочитав.

***

Твой дар увидеть белое и в черном,
Великое в крошащемся никчемном,
Рассвет в угасших сумерках и танец
Песчинки, что жемчужиной пыталась

Бывать и, без сомнения, бывала,
Соринкой немоты одолевала
Упрямый глаз, распахнутый двояко,
Мигающий, как плоть чужого стяга,

Алеющего или кровоточа-
Щего, чьего концерна эта дочка
Бежит, лежит, запутываясь в блеске
Блесны, тугая рыба, бесполезно,

Когда игры финал, манок защелкнут,
В пробирке школьник смешивает щелочь
И хлопает в ладоши, воздух сладок,
Как сахара на донышке осадок.

***

Меня тогда на свете не,
Была, была, была,
А кто за шиворот дождя
Обрушил мне капель,

И кто в распахнутом огне
Стоял, не видя зла,
Смотря, как я, не уходя,
Ушла в ничей апрель.

Но если я была, была,
Но если лет тому,
Как лёт того, кого тебе
Понравилось вернуть,
И то, в чем я произошла,
И сердцу, и уму
Сегодня скажет скарабей,
Лишь лапку отогнуть.

Пускай оно не заживет,
Врача, врача, пускай,
Но я нашла твою тетрадь
И я тебя нашла,
И боли мышь уже грызет
Слепой бесплотный скан
Кого-то, кто мне будет рад,
Гляжу из-за угла.

Я вижу: лавра, лето, парк,
Вернее, ряд могил,
Крылатый мрамор тут и там
И мы с тобою тут,
И ворох перьев, дар попам
С небес, то ангел был,
Беспечный ангел пел и пал,
Как падают, поют.

***

Горсть ласкового воздуха
И маленькое облако
Как белой рыбы тело
Его я проглотила

Я вспомнила сияющий
В ночи глубокой тающий
Обильный мой улов
Ты был конечно прав

И яхты в тихой гавани
Свои свернули саваны
И водорослей пряди
Опутывали снасти

Рты жадно открывали мы
В последнем целовании
Бессилие безветрие
Ночь темная прохладная

И соль была аттической
И сахарной практически
И не кончался март
И был оправдан грех

***

Город на сто процентов состоит из воды,
Переполняясь, выплескивают латынь
Жерла колодцев, и голос твой заглушен,
Сердце-волынка, красный пустой мешок.

Трубы торчат во все стороны, режет слух
Тонущий в небе, усиленный влагой звук,
Чайки орут, вернее, они поют,
Водоросли по темной реке плывут.

***

Если бы ты был звездой экрана
Я бы проснувшись рано
Весь божий день на тебя пялилась
Ничего не стесняясь

Если бы я была одинока
Птица была свиристель сорока
Ты бы кормушку мне из пакета
И не пришло бы лето

Лето с птенцами кино с провалами
Крупы рассыпаны денег мало
Это конец впереди Венеция
Канны Локарно Греция

Там щекоча шелковистым смехом
Я бы по трапу легко и смело
Словно явление откровение
Остановись мгновение

***

Буду петь и буду таять,
Буду плакать долго, долго,
Улыбнусь, потом раскаюсь,
Утону в журнале «Волга»,

Паутинки, невидимки,
Как дождинки, спрячу, спрячу,
Все засвеченные снимки
Сохраню на неудачу,

Поплыву скорлупкой грецкой,
Сном, корабликом в ладошке,
Покачнусь тяжелым нэцке,
Как качалась прошлым, прошлым,

До костей сгоревшим, летом
В гамака сетях ленивых,
То ль добычей, то ли пэтом
Дней счастливых, дней счастливых.

***

Кто книгу раскрыл, кто на белой слюде рисовал,
Листы округлял и шершавую помнил кору,
Ему колокольчик прохладное время берег,
Ладони сухие, гусиную кожу дождя.

Почтовым рожком кувыркается в нем темнота,
Он будет любим, он почти уже схвачен и пуст
И выпотрошен до последней небывшей вины,
Живет, забывает, в застывшую влагу глядит.

Наталия ЧЕРНЫХ

СЛАБЫЕ, СИЛЬНЫЕ

Роман

Часть первая

1995 год

1.

Люди заканчиваются быстро – тепловатой водой, надышенным воздухом, случайными деньгами, разделённым на несообщающиеся сосуды временем. Это основное свойство людей – заканчиваться. Был человек. Или даже были – люди. Вместе жили. А что потом – уже не важно. Закончился человек для человека! До жидкости в бутылке опускаться не обязательно. Однако есть некие загадочные радиусы, на которых расставлены точки в определённом порядке. И эти точки передвигаются, сталкиваются и отталкиваются друг от друга. Хотя за пределы окружности им выйти трудно. Потому – нечаянные встречи через много лет прерванной связи. Потому – воспоминания, переросшие воспоминания, а ставшие документами. Даже не времени и эпохи – свидетельствами о другой стороне жизни. Позывными с затонувшей подводной лодки. Которая и не утонула вовсе. Которая – вот плывет. И ужас-то в том, что уйти с неё, пока в порт не пришла, невозможно.

Алекс посмотрел на табло загрузки: готово. Надо прослушать, что записал. Кстати и новые наушники, за триста долларов, проверить. Музыка идёт наплывами, бесконечно. А люди заканчиваются очень быстро. Превращаются в нечто вроде льда. Про лёд и майора он знал получше иных, потому что видел и лёд, и майора. Видел и мог подтвердить, что они есть и выглядят именно так, а не иначе – лёд и майор. Вот и фильм на его канале, съемки 1989 года. Документ, художественный документ, если такие бывают. Но на что ему теперь идеально сохранённые памятью лица, слова и сцены? Избавиться от них невозможно; не настолько наивен, чтобы поверить в то, что можно избавиться. Да и не хочет, потому что ему нравится вспоминать. Ему нравится, как жили, и не ради утешения. За воспоминанием как раз следовала мука страшная, как собака, страшная. Но – Алекс верил – мука проходила, а силы жить появлялись. И он не сомневался, что так же у них у всех. У Зины, у Макса, братца её, даже у заразы Руслика с его скандинавским синдромом.

Наталия Черных родилась в 1969 году в Челябинске-65, ныне Озерск. Училась во Львове и в Москве. С 1987 года живет в Москве. В 2001 году – победитель Филаретовского конкурса религиозной поэзии. Куратор поэтического интернет-проекта «На середине мира». Автор восьми поэтических сборников. Публикации в журналах «НЛО», «Новый мир» «©оюз Писателей», «Знамя» и др. В «Волге» публикуется с 2009 года (стихи, проза, критика).

Из дневника Елены Петровой – Алины

«3 августа 1989. Как интересно стало писать. Буквы убегают. В одном из утренних снов видела написанную этими убегающими буквами книгу в глянцевой, не очень плотной, обложке, и с рекламой. Я что, теперь в будущее заглядываю? Однако буквы убегают, а я порой думаю: неужели нельзя так настроить свои импульсы, чтобы шарик сам выводил нужную букву, исправляя погрешности пальцев? Ну или придумать такие чернила, которые написанную галиматью преображали бы в стройный текст. Какая стала внятная. Потом всё уйдёт, и будет новый обморок, и снова будет страх, да и страх потом уйдёт. Будет нечто вроде обкуренного веселья, да и то – со скидкой.

Честер любил говорить, что я неполноценная, что цивилка, что демагог, и ни к чему не способна. Он очень любил что-то такое говорить. Честер не неонацист, а так, трепло. Смеялась бы на эти его заявления, но слишком его любила. Думалось, если не буду принимать всё, что говорит любимый, какая же это любовь? А так и вышло: когда поняла, что Честер – трепло, хоть и талантливое, стала им брезговать. По счастью, он об этом никогда не узнает, и не надо. Самое скверное – когда люди знают о твоих разочарованиях, так нельзя. Почему снова Честер помстился? Значит, мне очень худо.

Последовательность сменяющих друг друга с невычисленной периодичностью волн глубочайшего удовлетворения и острого голода. Смерть – нечто вроде дороги от остановки автобуса до двери квартиры, за которой может ждать и скандал. Можно ли любить эту дорогу? Возможно, но скорее возникает вкус к ней. Я очень хорошо чувствую, что любовь и вкус к чему-то – слишком разные. Но всё чушь какая. Буквы-то пишу вон как, мне «о» кажется величиной с дом. Иду спать. Потом допишу.

Устала. Ужасно устала, даже пить не хочу. А вчера, в такую жару (сегодня жара сильнее) то и дело ходила вокруг раковины, отяжелев от выпитого, дыша хлоркой. Вечером пришёл Игорь, спросил, что хочу, и сварил кофе. В десять вечера. Выпила кофе и заснула. Он домой уходил, потом вернулся, к полуночи: проснулась. Предлагал лекарства, но я их – не могу, потому что сразу больно, я же очень мало ем. Попросила кипятка, просто кипятка. Сделал, выпила, проводила, уснула. Сегодня надо встать; обязательно надо вставать, пока могу, это входит в рисунок жизни. Можно отказаться от еды, но вода и движение должны быть. Встать трудно, очень трудно. Обмороки и жара.

А впрочем, всё равно. Если не сегодня, то когда? Я ужасно мелодраматична. Ну, вот надо мне, чтобы – как в романе. И обязательно с последней запиской. Да их ещё много будет, я ведь ещё хожу по квартире».

Погожим днем 1995-го, в конце мая, на Арбат со стороны Смоленки вышла молодая женщина. Ничего удивительного в самом факте нет, хотя одета была экстравагантно. Юбка, джинсовка и сумка носили следы отчаянного творческого рукоприкладства. Видно было, что достаток у женщины небольшой, а необычную одежду она любит. На левом плече под ремешок попал крупный непокорный локон, на солнце совсем светлый. Видно, что беспокоил владелицу. В руке владелицы – бутылка пива; горло привлекательно открыто. Тёмный «Афанасий». Однако не ясно было, хочет молодая женщина задушить бутылку, ощутив в ней опасное для себя живое существо, или же собирается выкинуть – как есть, почти полную пива. Пиво пить женщина явно не торопилась.

Солнце казалось сильным, лучи на поверхностях отблёскивали плотной фольгой. Однако время от времени проносились ледяные потоки северного ветра. Так что – ни тепло, ни прохладно. По небу шли редкие, хотя и пышные, кучевые облачка.

Палатки с матрёшками, шинелями и монетами ещё толпились посередине улицы – да и что за Арбат без матрёшек? А вот «Фазенды», весёлого газона с кафешкой, находившегося там же, у «Праги», не было. На месте кафе «Бисквит», любимого волосатыми, они же – хипня, открыт был довольно дорогой пункт общественного питания. Тусовка собиралась в «Бубликах», где действительно ещё наливали кофе с молоком в гранёные стаканы. Бублики стоили уже не так дёшево, как можно было подумать.

Зато на каждом шагу возникали странные яркие персонажи. Года два назад таких представить невозможно было. Вот идёт вниз по Арбату герла, то есть – девчонка, лет семнадцати, и написано у неё на довольно дорогом рюкзаке: хочу в Питер. Вот, рассекая толпу, летит худое высокое создание в чёрной широкополой шляпе и лёгком пальто. Вот идут панкессы, в кожаных курточках, весьма прикинутые и в меру неряшливые. В носу у одной серьга, рощица волос подкрашена импортной синей тушью. Для уличных концертов час ранний. Но в нижней части Арбата всё же были музыканты. Оттуда доносилось печальное, но всё же бодрящее: «Сусанин, народный наш герой» – песенка на мотив «Сюзанны» Челентано. «Группа риска», с успехом выступавшая возле театра Ермоловой, возможно, ещё не доехала, чтобы порадовать новой песней.

Не прошла молодая женщина и ста шагов, как вдруг остановилась – узнала Алекса. Не видела его лет пять. Алекс что-то рассказывал двум музыкантам.

Вся сцена выглядела так: на приступке возле стены, где до сих пор находится аптека, довольно широком, сидели двое чуваков и один человек постарше, но именно его и слушали. Тот, что постарше, держал в руках старенькую кремону, явно не свою, а принадлежащую кому-то из собеседников. Первый чуть наклонился – невысокий блондин с виновато розовым лицом. Второй, в очках типа «папа Фрэнк Заппа», закрывающих плавными выпуклостями половину лица, почти растёкся по приступочке под весенним солнышком и щедро улыбался крупным влажным ртом. Он был высок ростом, а из-за радужных стекол в очках походил на стрекозу. Кремону розовый только что передал тому, кого слушали.

Вид говорящего был замечательным: лет тридцати пяти, высокий, худощавый, но отнюдь не доходяга. Его невозможно было представить суетящимся, с дергающимися или дрожащими руками, бледным, кричащим – словом, не в себе. Но в нём всё же было что-то нервное, слишком подвижное. Вот и сейчас правый глаз прищурился. Молодая женщина сделала несколько шагов, затем позвала достаточно громко:

– Алекс?

Худощавый стрельнул глазом: кто, чей голос. Увидел – и узнал. Вернул кремону на колени розовому блондину.

– Зинда?

Оба рассмеялись. Замерли, раздумывая, обняться или нет. Наконец, он приобнял – берёг бутылку «Афанасия». По глазам видно было, что хочет пива. Зина бутылку не отдала (смешно выглядело, Алекс выше на голову) и спросила. В глазах – радость и удивление.

– Давно в Москве? Почему я тебя раньше не видела? Ах, да, я теперь... работаю.

– Я только подумал, что сегодня меня ожидает неожиданная встреча!

Пошли вниз по Арбату; Алекс допивал «Афанасия». Бутылка всё же к нему перекочевала.

А покинутая кремона замолкла. Музыкант в стиле Заппы с наслаждением перевернулся на другой бок. Розовый достал банку «Отвертки» и разочарованно глотнул из нее.

– Так попробуем, вот через час, скажем, и как он сказал – начнём с А.

– Попробуем.

Того, что в очках, действительно звали Фрэнк. Собирались петь «Всё идёт по плану». Но вдвоём – скучно.

Молодая женщина – теперь её можно называть Зинаидой, Зиной. Рядом с худощавым спутником она казалась роскошной, почти полной. Длинные светлые волосы укрывали плечи и грудь. Алекс оценил перемену, но теперь не вполне понимал, как держать себя с новой Зиной. Та была девчонка, сестрёнка, а эта... Однако оба рады были нечаянной встрече. Порой перебивали друг друга, и всё смеялись.

Внезапно прошёл бреющий поток ледяного ветра; возможно из-за него настроение Алекса резко скакнуло в совершенно противоположную сторону. Ну, ничего, это скоро пройдёт.

– Зинда, ты же курила? У меня «Житан».

– Если только за компанию.

Она вдруг сильно разволновалась: Алекс остановился, повернувшись спиной к ветру – как будто хотел обнять ее, заслонить от холода. Зажигалка была военная – подарок англичанина Гарри, тусовавшегося в родном городке Алекса. Городок был одним из научных центров Сибири.

Алекс внутри самого себя оглушительно катился под гору. Зина, прошлое, Россия... Зина почти вздрогнула, почти угадала перепад его настроения. И всё же – ей очень захотелось обнять его, вот прям сейчас. Но не обняла; да и сигареты. Вот так всегда.

«Ради чего мне всё это?»

Алекс о Зине забыл, на секунду. Впрочем, Зина как символ новой России, родины – неудивительно. Алекс думал о России и о родине. Убиться можно, что теперь вместо СССР – Россия. Он никак не привыкнет. Не может он тут жить, да и не хочет. Вопрос об эмиграции решён не был, да и сам Алекс не сказал бы, что намерен его решать. Однако полагаться на благоприятный случай не следовало. Мысли крутились монотонным клубком, всё из одних и тех же слов, привычные и надоедливые.

«Моя жизнь неотделима от жизни страны, так что можно смело спросить: для чего страна, в которой я, и которой я – рожден и живу? Что мне нужно здесь, и что этой новой стране от меня нужно? Интересно, что останется от этих уже обесцененных перемен, за которые отсидел на кухнях не так мало лет. А кто-то из знакомых – Леший, например, – и не на кухне. Без толку. Быть здесь без толку – и уехать без толку, одно любопытство. Здесь всё уходит как в песок, и будь ты сто раз Маккартни, тебе не дадут ни денег, ни еды. А я звезда, я родился звездой. Я маленький принц. Егору было проще; и потом, он вовремя сломался. Слышать о нём не могу, слышать, с его нынешними... И Янка...»

Ненавидеть Летова ему было не за что, да и песни Егора он любил. Мог, под настроение, удачно скопировать Летову манеру исполнения. У Алекса получалось – не как у многих. Он чувствовал эти песни, да и самого Егора. Но жить на родине было невозможно, и в родном сибирском городе, где, кажется, всё само шло в руки – невозможно.

«Выклянчить визу и денег у Гарри. Уехать и жениться на Кейт Буш. Но Гарри я нужен, пока я здесь. А там я не нужен. Играть здесь – а на какую букву мне играть здесь? Русский рок играть?»

Память предательски преподнесла и тут же рассыпала трамвайными билетами – картинки. Золотистая, как будто немного виноватая улыбка Егора при взгляде на протянутое ему пиво, в углу Череповецкой сцены. Куполом лоб – весь в каплях пота. Егоровы посеревшие глаза, усталые, отягощённые очками. «Мышеловку»-то записал, а дома... Дома у них всех всегда что-то происходило.

Алекс играл в «Ахтунге» – группа Михаила Духа. Группа кочевала по Сибири, от Кемерово до Барнаула, бывала в Омске, где Алекс и Егор познакомились. Была группа и на известном фестивале в Череповце. То был звёздный час Духа и его, Алекса, - авто-

ра аранжировок и прекрасного ритм-гитариста. «Ахтунг» в самом начале девяностых существование прекратил. Как раз был август. Остались только странные алкогольные сессии, записи в университетской студии и возможность найти место в столичной команде. Однако в марте в сибирской студии вдруг появился питерский человек Археоптерикс. Он смиренно сказал, что будет рад видеть Алекса в своей одноимённой группе – ну потому что с новой музыкой именно ритм нужен. Идеи у Археоптерикса были соответственные. Алекс очень хотел выбраться из своего научного центра и был согласен даже, как Археоптерикс, торговать аппаратурой на радиорынке, только бы в одной из столиц. Но отчего-то приехал сразу в Москву, прожив два месяца по областным центрам России.

Встреча с Зиной, прошлое – а зачем всё это сейчас? Или он не рад? Рад, конечно.

Зина жила в той самой двушке, которую Алекс помнил и любил. Ответственным квартиросъёмщиком считался Макс, её старший сводный брат, сын отца от первого брака. Макс занимал меньшую из двух комнат. Он был намного старше Зины – ему, как и Алексу, было уже хорошо за тридцать.

Так случилось, что после смерти матери одну из квартир пришлось продать (заморачиваться со сдачей внаем никто не пожелал). На вырученные от продажи деньги брат и сестра жили. Денег было мало – сбербанк давал проценты небольшие, и оба время от времени начинали нервные поиски работы.

Зина устроилась лучше Макса: преподавательницей английского, частным образом. Поначалу было даже страшно. Подготовка урока сопровождалась мигренью, план урока то распадался на части, то не хотел разворачиваться, ученики раздражали. Времени уходило много; Зина уставала и порой жаловалась, что «обуржуазилась совсем». Но уж кому, а ей буржуазность пока точно не грозила. Ей было двадцать два года. Но Максу иногда казалось, что Зине за всю жизнь так и не исполнится восемнадцать.

Алекс жил у Зины и Максима несколько лет назад. Год, кажется, девяностый или девяносто первый. Спал на одном диване с Максом: малогабаритная двушка большего пространства не предлагала. Но зато как ему было там уютно и как хорошо игралось на гитаре! Свою «Сансару» он написал именно там. Те годы напоминали болезненный праздник. Смещенный режим дня, странные вспышки чувств и вдохновенья, почти постоянное хмельное марево – но ярко, музыкально и настолько плотно, настолько доверчиво, что – «так больше жить нельзя». Это удивительное, слившееся в одно слово «так больше жить нельзя» обозначало для всех много, и очень много. «Мы шли в сторону радости», – вырвалось однажды у Зины. Алекс, возможно, так не считал, но и не возразил.

Вскоре Алекса снова увлекло житейским потоком. Однако впечатления остались большей частью приятные, нежели неприятные. В шестнадцатилетней Зинде было много девчачьего. Алекс такой и запомнил её – еще не вполне развившейся, почти хрупкой.

Вместо девочки рядом с ним шла молодая женщина. «Замужем или нет?» – невольно подумал Алекс. Так что – он действительно рад, он что – перестал видеть в людях фантомы, отражение собственной неприкаянности, ему что – дело до Зины есть? А как же Алёна, его любовь, как же Алёна? Алёна ждала его. Вернее, сказала, что ждёт – в четверг... Но где жить до четверга? Подлый вопрос, ввиду находящейся рядом Зины.

Вещи Алекса, хэбэшный подсумок, находились у звукорежиссёра Альберта. Жены Альберта, Юли, не было дома. Юля недолюбливала друзей мужа, и по большому счёту была права, но негостеприимство ещё никого не красило. Пришед в Москву с трассы (закончился один саратовский фестиваль, на который Алекс возлагал надежды, а на-

дежды не оправдались), Алекс позвонил Альберту. Альберт сказал, что приехать можно. Удалось вымыться, постирать вещи и выспаться. Но Альбертова Юля приезжает сегодня ночью, так что лучше до ночи исчезнуть с вещами. Но куда? И тут – Зинда.

Как банально. Как не хочется к ним, как не хочется возвращаться. Бывает, что места и люди, некогда крепко любимые, вызывают самое сильное отвращение. А всего-то несколько лет прошло. Однако Зинда – красавица стала! И что, у неё никого нет? Когда-то у них была одна жизнь, одно утро и одна жажда утром. Кажется, могло из этой почти иллюзорной пены «братства» родиться сильное любовное влечение, но нет. Просто потому что – Зинда. Она ещё глуповата и очень многого не понимает. С ней о мужском и женском не поговоришь. Может быть, так лучше. Но всё же... Страсть уходила куда-то за кулисы и оттуда насмехалась – над актёрами и зрителями.

У Алекса невольно вырывались жесты и слова, «братцу» несвойственные. Вот прямо по ходу какая-то фирма, производящая кофе, расставила столики: предлагалось отведать напиток из молотых пересушенных зерен. Алекс предложил Зине чашку. Очень ловко, даже кокетливо держа ее на раскрытой ладони. Зина снисходительно чашку приняла. Взгляд Алекса то темнел, то вспыхивал с новой силой. Он не ожидал от Зины такого изменения. И ему теперь негде было жить. Двусторонняя тревога. Он всё же решился попросить.

– Пустишь меня к себе, до четверга?

Она чуть вздрогнула. Как будто ждала этого вопроса.

– Конечно! Будешь жить, сколько тебе нужно.

Она и тогда поражала его этой безоглядностью: что хочешь, сколько хочешь, на сколько хочешь. Алекс знал эту черту – миловать без оглядки и прогонять мгновенно. Услышав: сколько хочешь – насторожился. Ведь если что – он потеряет хорошего друга. А вот что это такое: если что. Рассказывать Зине про Алёну Алекс не собирался. Алёна – это совершенно другая жизнь.

Мгновенное неловкое молчание нарушили внезапно появившиеся два персонажа.

– Зинда! – гаркнул один, высокий, как бы присыпанный медной крошкой. Пожевал губами, отчего шелковые складки в углах небольшого, слегка впалого рта на беспомощно-яркой коже, как обычно у рыжих блондинов, задрожали и электрически дернулись. – Хулиганка! Опять с мужиком.

Второй персонаж посмотрел несколько хмуро и отошёл за спину рыжего.

Затем оба подошли, и рыжий бесцеремонно обнял Зину. Темноволосый, рыжего сопровождавший, видимо, тоже хотел приветственного объятия, но не решился. Изредка бросал мрачные взгляды: то на рыжего, то на Алекса, то на Зину.

Рыжий ловким и даже изящным движением заправил локоны Зины под ворот джинсовки.

– Вот так. А то ходишь дикой лахудрой.

От него несло острым щелочным запахом «Смирновской» водки. Такое обращение грубым в определённом волосатом кругу не считается. Тем более что рыжий был Максом, Зининым братом. Темноволосый, выжидательно отошедший в тень – известным арбатским поэтом Кешей Гериком. Прозвище Кеши было Гэндальф, оно безусловно ему подходило, но почти всем на Арбате казалось слишком длинным. Потому вместо Гэндальфа так и остался Кеша.

2.

Внешность Макса даже сейчас, спустя пять лет, показалась Алексу замечательной. Несмотря на тяжелейшую привычку, даже болезнь, Макс выглядел моложе своих лет.

Даже если начинал «резвиться» около бутылки. Рыжий, абсолютно рыжий, до кончиков красноватых ногтей.

Алекс различал в Максе два особенных состояния: усталость и кураж. Худшее – усталость. Именно – усталость. Усталость росла из детских и подростковых неурядиц. Странная смерть матери, болезнь отца, фатально нескладная личная жизнь и многое прочее. С водкой усталость связана была только отчасти. Макс пьяным себя очень не любил. И все же время от времени с не вычисляемой периодичностью напивался. Однако пьянство было не самым неприятным в Максе. Хуже было, если он тускнел. Это и называлось – устал. В усталости Макс ныл, очень долго и чрезвычайно утомительно. Вместо обычной упругой походки начинал шаркать и вообще напоминал инвалида.

Лучшее состояние тоже не было связано с водкой, но по какой-то роковой случайности Макс всегда находился в нем, уже приняв некоторое количество допинга. Пил он всё, пить умел, но часто случалось так, что принятое тут же невзначай выливалось обратно. Некоторые собутыльники даже завидовали легкости «обратного процесса».

В лучшем своем состоянии Макс мог обаять кого угодно. Однажды «вычислил» «чёрного» агента по продаже недвижимости и с блеском, на глазах покупателей, спустил его с лестницы. В этом же состоянии написал заявление об уходе по собственному желанию с одного из госканалов телевидения, где готовы были его терпеть, и долго терпеть.

Алекс отчего-то вспомнил, как Макс однажды, будучи в этом счастливом своем состоянии, «выгуливал» одну симпатичную журналистку, Дашу.

Отец Даши был известным чиновником, но дочка почти всего добилась сама. Стиль она чувствовала и для журналистки была в меру цинична. Дашины работы знали в модных журналах. Макс Дашу уважал, но всё же считал ее чужой – богатенькой. Однако из политических соображений знакомство поддерживал. Встреча торжественно была названа переговорами о создании нового журнала. Макс позвонил Даше, Даша назвала время и место. Алекс сопровождал их. Почти сразу же понял, что Макс добивается не Даши, а ее денег. И стал по возможности подыгрывать. Было холодное начало лета, шел дождь. Во всю Тверскую – очередь за водкой.

Началось с червонца. Который, по сказкам, Макс забыл дома. Даша дала червонец на бутылку, взаймы. Или не взаймы. Пока стояли в очереди, Макс излагал план и направление нового модного журнала. Описывал, какие в нем будут материалы, как расположен текст. В тот день Макс превзошел самого себя. Проект, даже на взгляд скептика Алекса, получился вменяемый. Даша только покачивала своей модной каштановой головкой в знак согласия.

– Да, да! У нас нет популярного журнала по контркультуре!

В «Союзпечати» уже виднелась обложка «Рокады», но «Рокада» была только синглом, только красочной, достаточно наивной иллюстрацией. «Урлайт» и множество самиздата попроще не считается: это специальная литература.

– Пропаганда! Пропаганда! Всем управляет пропаганда! – Макс уже посчитал: до водки осталось три человека. Он уже закипал, вот-вот загремит крышка и из-под неё пойдёт пар.

Даша слушала внимательно и, кажется, даже увлеклась проектом. Успокаивала себя, что наблюдает за интересным персонажем. Институтская практика ее проходила среди идиллического вида юных наркоманок, склонных к суициду. Жизнелюбие Макса и его коварную сметку Даша недооценила, а зря.

Продолжение разговора о новом журнале состоялось в огромной квартире Даши, тут же, на Тверской, в переулке, сразу за Елисеевским. В Елисеевский, конечно, зашли, купили колбасы, хлеба и крабовых палочек. По словам Даши, дома из еды остались только лук и яйца. Макс тут же пообещал сделать вкусную яичницу.

Пока шли к подъезду, Макс время от времени взмахивал руками, отчего пакеты тревожно покачивались в воздухе, и выкрикивал смешные лозунги вроде: яйца! Даешь яйца! Фраза о яйцах вышла у него интеллектуально, с каким-то аристократическим хамством. Но главное всё же – идея. Он так и воскликнул: «Яйца – это идея! Яйца – это партия!» А ради идеи Макс – если, конечно, кураж был – готов даже поесть с богатенькой девушкой. Идеи для Макса значили мало, хотя после беседы с ним могло остаться впечатление, что как раз идеи – главное.

– Я люблю группу «Эй Си Ди Си»! Когда я слушаю «Эй Си Ди Си», чувствую себя английской шпаной. Но кто знает, может, я и в самом деле – настоящая английская шпана?

Красноватые руки Макса манерно округлились, в каждой – пакет. И вдруг – галантно распахнул перед Дашей тяжелую, обитую толстыми досками дверь.

Даша жила на третьем этаже. Лифт, запакованный в панцирную сетку, доверия не внушал. Пришлось подниматься по лестнице. И на первой же площадке столкнулись с девицей, богато и вызывающе одетой, в боевом макияже. Время было к вечеру; очевидно, что «девушка» собралась «на работу» или «на вечер».

Макс только и ждал чего-то подобного. Хмыкнув, он всей грудью пошел на девицу, которая оказалась едва ли не на голову выше него. Девица оторопела и растерялась в первый момент. Не поняла, что происходит. Со стороны вся сцена выглядела так, что девица сама налетела на мужчину, у которого в каждой руке – по кульку. Макс сделал полшага в сторону, к стенке, позволил «девушке» пройти и бросил Алексу через плечо, довольно громко:

– А пойдем потом, найдем золушек, а?

Девица чуть побледнела, но в глазах вспыхнул гневный огонек. Решила, что ее хотят обидеть. Однако рыжий уже стоял на ступеньку выше и бросил вслед оскорбленным каблучкам:

– Пардон, мадам!

Расположение журналистки было завоевано. Вошли в квартиру, разложили в кухне покупки, и Макс принялся за приготовление обещанного блюда. Диалог с Дашей по поводу журнала возобновлялся несколько раз, но снова прерывался жалобой на луковые слёзы и яйца. Когда ужин был готов, Макс уютно устроился на угловом диванчике, заняв его весь, с ногами:

– А что у нас есть из музыки?

Дашины губки свернулись в трубочку.

– Ну вы же наверно слушаете рок? У меня его нет почти. Какой-то Фрипп только.

Макс и Алекс переглянулись. В воздухе словно бы повисли восклицательные знаки.

– Ничего себе! Какой-то Фрипп!

Сначала слушали музыку, а потом разговор о журнале вступил в новую и самую напряженную фазу. Как понял Алекс, целью Макса было «ограбить» Дашу, то есть занять у неё сейчас же «много денег». Но денег у Даши было не много, и она конфузилась – не то оттого, что денег нет, не то от того, что просьба о деньгах от «умного человека» была ей неприятна. Наконец Макса прорвало, и он заговорил о том, что работники средств массовой информации только и делают, что поят умных людей и потом отбирают у них идеи. Что идеи необходимо защищать и он, Макс, в самое ближайшее время займется организацией комитета по защите идей. Но для того, чтобы начать заниматься организацией комитета, нужны деньги. Или – еще одна бутылка водки, чтобы Макс забыл нанесенное оскорбление. На водку, по счастью, у Даши деньги были.

Вторую бутылку пили из горла, под дождем, промокшие, тут же, в подворотне у магазина. Даша, совершенно дезориентированная в своих чувствах к Максу, вдруг фыркнула и обозвала его ни на что не способным болтуном. Фраза была построена довольно резко. И тут произошло. Макс пожевал губами, затем издал какой-то коварный каркающий звук и вдруг несколько раз ударил задницей по двери, возле которой пили.

– Ах, так! Ну погодите! Мы еще посмотрим!

Алекс захотел сунуть Максу в рыло, чтоб не буянил, но тот отскочил проворно, как мячик, словно и пьян не был. И запустил мелким камешком в окно на втором этаже. Откуда взялся камешек, непонятно. Даша и Алекс струхнули: а вдруг кто-то в здании есть, и тем более – в комнате, в окно которой Макс запустил камешком. Макс, насладившись произведённым впечатлением, сказал довольно сухо:

– У меня жизнь экзистенциальная. Я знаю, как делают из человека зомби. И как воруют идеи. Даша, мне срочно нужно двести рублей! Нет? Ах, как печально!

И снова – глухие удары в дверь. Окно, в которое попал камень, распахнулось, и из него выглянула пожилая тётка.

– Эй! Милицию позову.

Голос был скорее просящий, чем угрожающий. Что Макс очень тонко почувствовал. Однако буянить перестал и бросил, направляясь к арке:

– Мумия!

Алекс и Даша покорно поплелись следом. Едва вышли на Тверскую, Макс заявил о своей любви к творчеству Петра Мамонова:

– Пектус! Он мне ставит крышу. Какие образы! Энциклопедия московских типов второй половины двадцатого века. Я еще застал похожее разнообразие. Мумия! Или серый голубь. Крым – брык! Вышли мне денег! Даша, у тебя нет еще червонца?

Неподкрашенные губки журналистки посинели.

– Нет, – кротко ответила она.

«А что было бы, если бы Макс уехал? – наблюдая, как Макс заправляет под воротник локоны Зины, подумал Алекс. – Глупый вопрос! Предположения, если они появляются, остановить нельзя. И ведь было же у него желание научной работы. И он мог, безусловно, мог, стать научным работником в своём НИИ на хорошую зарплату. А потом, когда пустил НИИ по ветру, мог стать известным журналистом. Его сценарий телепрограммы уже одобрили в Останкино. Ему всегда везло каким-то роковым, непостижимым для меня везением, и он каждый раз пускал везение как хлеб по воде. Мне и части такого добра не доставалось, как ему, а он всё пускал по ветру и по воде. И, напиваясь вновь, мог сказать только одно, выгибая свой смешливый рот: «установка на саморазрушение». Но ему везёт, ему всё время везёт даже и с этой установкой, и с водкой, которую он пьёт почти всегда бесплатно, для поддержания установки, и вот с Зиндой повезло... А он в ответ на это везение одно говорит: я максимальная мышь; я пот, кровь и слёзы».

Алекс не то чтобы завидовал Максу, но тот сильно раздражал своей безалаберностью.

Максимальная мышь тут не случайна. Однажды по пути домой, в метро, в переходе на Баррикадную, Макс встал против людского потока в позу дореволюционного силача: сейчас разорвёт цепь. И громко заявил, к смущению Алекса и Зины:

– Я максимальная мышь!

Если честно, те просто испугались, что милиция прибежит. Но милиции поблизости не было, а люди только обтекали Макса, будто это было обычное на данном месте препятствие.

Никуда Макс уезжать не собирался, и никогда. Но говорить о том, что может уехать, – считалось хорошим тоном. А поговорить Макс очень даже любил. Иногда и с самим собою.

«Куда деваться-то? Я здесь рос и вырос, уж какой есть. Здесь могила моей матери, а на мне вся тяжесть её судьбы, пока что, не вымолил. Дурак, конечно, но я – малахито-

вая вам шкатулка. Во мне – живой Ганс и покойный Фрэнсис, и Алина, и все их бумаги, которые Зина переписывает красивым почерком и перепечатывает на машинке. Я таю, но пока ещё есть. Потому что – уходит, уходит, уходит. Моему дедку в сорок пятом было двадцать пять, в семьдесят пятом – пятьдесят пять. Вполне крепкий мужик. А вот сейчас ему было бы семьдесят пять, а тех, кому сейчас семьдесят пять – почти нет, нет, нет. А вокруг – та же страна, в которой жили мой дед, Гуру, Ганс и Фрэнсис, – и при том уже совершенно другая страна, а противоречия тут нет. Так-то вот. И цинковые гробы в самолётах с юга – и там, и в этой новой стране. Да, я пионер. Пионер – этот тот, кто усвоил себе чужую память и распоряжается ею, как ему вздумается. Я пионер по отношению к моему деду».

Макс снова пожевал губами – палёная «Смирновка» растревожила гастрит – и тепло поздоровался с Алексом.

Ганс, Алина, Фрэнсис и Гуру были большими частями юношеской Максовой жизни, которую Зина почти не знала, а если и знала, то только с карнавальной, красивой стороны, будто бы всё было в шутку. Однако очень серьёзно к ним, этим частям, относилась. Для Макса наоборот – издевательством было всякое упоминание о его дорогих покойниках и безвозвратно утраченных живых. Он очень не любил, когда Зина «лезла в его память».

Почему-то Алексу вспомнилась именно та забавная пьянка с журналисткой Дашей, едва он увидел Макса. На Кешу почти не взглянул. А от глаз арбатского поэта не ускользнуло, как доверчиво Зина опирается на руку Алекса.

– Ну что, Зинда, у тебя есть деньги? – спросил Макс.

Зина отвечать не хотела: с утра Макс был трезв и напиваться не думал. Однако, помолчав, ответила отрицательно.

– Врет, – повернулся Макс к Алексу, – у нее всегда есть сумма на бутылку. А ведь надо же нашу встречу отметить. Давненько не виделись.

– Да, – коротко ответил тот.

Все-таки он любил их обоих – Макса и Зину. Это был его родной московский дом. Несмотря на то что Алекс мог жить в Москве у кого-то другого, вот даже у Кеши. Начиная с первых московских дней, маленькая двушка и ее обитатели стали лучшим и самым теплым воспоминанием. Начиная с первого дня, с первой ночи.

В июне девяностого приехали почти ночью, после удачного заработка, но спать не торопились. Комнаты казались почти пустыми, но видно было, что иногда тут ночует человек по десять – вон угол с матрасами и одеялами.

Тогда Алекс играл на Арбате из репертуара Майка Науменко, и собирал неплохо. Завязалось несколько эфемерных знакомств, на которые Алекс все же рассчитывал. Он искал работу в Москве по специальности, хоть в каком-нибудь ВИА. Мягкий июнь радовал бархатными ночами, крупные звезды висели над центром, такие красивые, что Алекс залюбовался:

– Зинда! Посмотри, какие звезды! Как в песне про старого Вана.

(Песня «Старый Ван» была из репертуара команды «Ахтунг».)

– Алмазы на трауре, – неожиданно сказала Зина.

Алекс возмутился. Почему у этой девочки такие печальные сравнения? Он взмахнул гитарой, сделал круг, будто хотел метнуть свою кремону за тридевять земель, и внезапно обнял Зину. Девушка вздрогнула. И тогда Алексу показалось, что глаза ее сверкнули, как те самые звезды. Он никогда не видел темного света, и вообще не думал, что такой бывает. Но сейчас увидел – в глазах Зины были лучи темные и светлые.

– Маленькая моя! Человечек! Хороший мой человечек!

Тогда внезапно ощутил ногами, как вращается земля. Удивительно! Удивительно! Какие же бывают в мире люди! Вот эта девчонка, например.

Алекс и все с ним шедшие были под легким действием пива. В сумке покоилась бутылка шампанского. На торт «Птичье молоко» не хватило. Алекс с самого приезда в Москву желал заработать на бутылку шампанского и торт «Птичье молоко», и чтобы еще осталось на цыплёнка. Цыплёнка хотел запечь в духовке сам.

Максу Алекс понравился сразу. Порой забавно наблюдать было, как братец расхваливает, «сватает» сестренку. Алекс Максовы действия понимал, но медлил – потому что в голову не приходило, что Зина может быть не только его «девушкой», но и «женой». Жениться он вообще не собирался. Кроме того, после знакомства на Гоголях слово «жениться» приобретало целомудренно-неопределённый смысл.

Приехав, кушали и болтали до утра. Обстановка была такой домашней, доверчивой, что бродяге Алексу не верилось. В городе Б., на родине, посуровей. Зинаида ухаживала за ним, как и за Максом. Аккуратно наливала полную, почти через край, тарелку вкусного овощного супа, накладывала котлеты. Алекс не мог оторвать от нее глаз, и неизвестно почему. Большую часть разговора Зина сидела или стояла возле кухонной раковины – чистила картошку. Пока картошка жарилась, Зина отдыхала, развалившись на подушках – огромные волосы и круглое туловище с длинными смуглыми ногами, которые словно нарочно путались в индийской юбке. В то время стола в кухне у Макса с Зинаидой не было. Во весь пол разостланы были ватные одеяла и набросано много подушек. Рабочие столы заменяли наскоро сработанные Максом из досок стойки, которые порой ставились прямо на одеяло. Макс на следующий же день уговорил Алекса найти доски, для стола. Доски были найдены, оба напились, но за ночь всё же сделали все же обеденный стол и довольно приличные лавки. Появилась ли новая мебель в этом доме сейчас?

Алекс поежился, ощутив воспоминания как подбирающийся ревматический приступ. Да, так долго продолжаться не может, его может затянуть снова в эту беспечную воронку. Интересно всё же, как там сейчас, в этой двушке? Пара тех летних недель вспоминалась легко и скоро, как пьётся желанное вино. Однако родственная связь между Максом, Зиной и им окончательно установилась позже, в последний его приезд.

Началось с того, что Алекс весь вечер смотрел на Зину и не мог потом себе не признаться, что так он обычно смотрит на понравившихся девушек, а совсем не на сестер. Макс Алексовы взгляды заметил и ушел пить к знакомому волосатому поэту. Уговор – не напиваться дома – Макс соблюдал, хотя не всегда. В том, что случилось в тот смешной и грустный одновременно вечер, Алекс был склонен винить Максовы дурные наклонности.

Начался вечер в разговорах на полутонах и в полуслучайных прикосновениях. Алекс помнил вспышки, ослепительные, поражающие до того, что дыхание у него перехватывало. Вот – Зина стоит возле окна. За окном – бархатно черное небо, а по стеклу стекают капли тумана. Только что закипели оба чайника. Одеяла свернуты и разложены по периметру, так как народу в кухне – всего двое. Посередине стоит низкий плоский столик, «на четверых», как выразился Алекс, увидев его впервые.

Заспорили, кто больше выпьет чаю и после заснет спокойно. Спор вырос из очередного Зининого увлечения. Тогда она читала какой-то очень серьезный труд о первобытной религии и ее следах в сознании современных малых народностей, удаленных от цивилизации. Алекс лежал на подушках, слушал Зинаидину болтовню и смотрел, как беспокойно ходит хлопковая юбка: узор из огромных медовых капель, изукрашенных невесть какими орнаментами. Юбка эта положительно не давала ему покоя.

Под юбкой виднелись розовые пятки, которые владелица прятала под слоем оборок, навешанных на подол юбки, словно ей стыдно было за свои ноги. Зинаида считала себя человеком свободных взглядов. То есть могла пройти босиком через весь город, попросить пятачок на метро у незнакомого человека и ловко дать в глаз назойливому ухажёру. Она не смущалась, когда её называли шалавой и бомжихой. На минутку: ей исполнилось семнадцать. Цоевская школьница-восьмиклассница, как про себя прозвал её Алекс.

При более близком знакомстве Зина оказалась патологической чистюлей и пуританкой, до мании. Отчасти такая страсть объяснялась поведением братца, отчасти – средой, к нравам которой Зина не привыкла бы, если бы не Макс. Так что в ванной никакого другого мыла, кроме дегтярного, не было, а под раковиной стояли три бутылки с разной концентрацией перекиси и хлорки. Ничего более безопасного в то время найти не удавалось.

Посуду после мытья Зина всегда ополаскивала кипятком. Вот и в тот вечер Зина обливала из чайника чашку, в которую хотела налить чай для Алекса.

Алекс смотрел на золотисто-коричневую юбку, нагло шуршащую, и думал, что ему будет совсем плохо, если он посмотрит выше. В то время он считал себя влюбленным «в одну симпатичную ведьму». Определение не из лучших, но у музыкантов – свой язык. Зинаида чувствовала пятками заинтересованный взгляд, и потому прятала их в длинных оборках. Со стороны выглядело очень забавно – девушка переминается с ноги на ногу, как будто стоит босиком на льду. Голос ее звучал высоко и резко. Алекс любил её голос. С расщеплением, сто процентов.

– И все же, я уверена, что у нас, «в совке», несмотря на атеистическую пропаганду, сложилось что-то вроде примитивной религии – ну, что-то вроде культа предков. Человек не может, чтобы не верить в высшую помощь... и покровительство.

Алекс, в то время только познакомившийся с буддистами, да еще у себя в Б., идею «примитивной религии совка» никак не воспринял. Мысли у него были совсем о другом. Но надо же было как-то ответить Зине, страшно серьезной, и неизвестно отчего. Алекс подумал секунду, что бы такое сказать, снова посмотрел на Зинины пятки и выдал:

– Буддисты считают, что все, происходящее с человеком – следствие его самого и его отношения к... окружающему.

А про себя подумал: «Если заговорить с ней конкретнее, она пошлет меня далеко. Интересно, сразу или нет? Надо попробовать. Может и не послать. Она умница».

– Согласна, – ответила Зинаида. – Но ведь не все же в мире сделано человеком?

Для Алекса такая мысль была просто детской. Она рисовала Зину привязчивой идеалисткой. Музыкант засмущался: «А вдруг не стоит с ней... разговаривать конкретнее? Влюбится, потом они с братцем жениться заставят. А я хочу, не готов».

Чай уже заварился. Вкусный, почти густой, пахнущий виски и сливками. «Запах свободы и независимости! – воскликнул про себя Алекс. – А Зинаиде в самый раз полюбить парня из ИРА. Приезжал бы к нам, и мы бы к нему ездили. Да и Святой Патрик – славный».

Зина на ирландку не совсем походила – внешность типично славянская. Однако в характере и привычках сказывалось увлечение старшего брата – кельты, галлы, история раннего средневековья. Она и одевалась соответственно – накидки, длинные юбки. Эта коричневая немного просвечивала, так что видно было не только Зинины пятки. Алекс срочно перевел взгляд на потрепанное и много раз стиранное клетчатое одеяло. Лица Зинаиды он тоже вынести не мог – оно словно светилось сознанием своего превосходства.

Вид одеяла несколько изменил настроение. Вспомнилось, как мастерски, с ухватками злой жены пилила Зинаида братца, чтобы помог отжать это одеяло и вынести его на балкон для просушки. «И чтобы меня так пилили? Да ни за что!» Однако Зина ждала ответа.

– И природа – создание, а не первоисточник! – с нажимом сказала девушка.

«Что она, горожанка, знает о природе?» – подумал Алекс. А вслух сказал:

– Не стал бы я так легко сбрасывать со счетов природу. В ней – тайна.

Зинаида примолкла, но ненадолго. Затем спросила, показав свою чашку, уже пустую:

– Ну как? Один-ноль, или я не права?

«Почему ей обязательно надо чувствовать себя правой?» – пожал плечами Алекс и посмотрел в свою чашку, опустошенную только до половины. Залпом выпил остаток: «Эх, сейчас бы вискаря! “Баллантайнса”, что ли». Протянул Зинаиде чашку:

– Наливай!

Но тут случилось такое, что Алексу едва не стало дурно. Смешанная судорога жалости и отвращения прошла по всему телу. Он вдруг разглядел съеденные мытьём и шитьём руки Зины. В мелких, воспалённых и долго не заживающих порезах, с пересушенными ногтями, расслоившимися даже под слоем прозрачного розоватого лака, только подчёркивавшего неровности ногтей. Но – вот настоящий ужас – форма рук была всё равно красивой. Длинные пальцы с едва только присобранной на нижних фалангах кожей, широкая ладонь, на вид такая мягкая. Но Алекс знал, что кожа рук у Зины иногда бывает жёсткая, что она почти царапает – корочками подсохших болячек. Он чувствовал эти болячки, когда брал ее за руку.

Потом ему случалось встречать руки в болячках от мытья посуды и стирки. Но таких, как у Зины, уже не было. Эти были настоящие – родные.

«Нет, ни в коем случае. Юродивая она, вот что. Ну разве можно девушке – и с такими руками? Ей всего семнадцать лет».

Примерно через час Зина сидела вплотную к Алексу и размахивала недавно прочитанной книгой, что-то ужасно смешно доказывая. Алекс уже не слышал ее слов, он весь сосредоточился на том, чтобы не дать волю чувствам. Еще через полчаса, от слишком высокой скорости потребления чая, Зинаиду начало клонить в сон, и она бесцеремонно положила голову Алексу на колени, заявив:

– Ну вот, добилась обратного эффекта. Я посплю немножко. Когда придет Макс, ты меня, пожалуйста, разбуди. Голодный ведь придет...

Так и остались дожидаться Макса: ошалевший Алекс с Зиной на коленях, внимательно смотрящий на чайный налет в своей чашке (белая, с цветами земляники).

Макс появился в час ночи, неожиданно трезвый, кроткий и даже чем-то расстроенный. Такое лицо Алекс видел у Макса впервые, словно и не прежний насмешник пришел. Братец, кажется, ничего странного в сцене на кухне не заметил, и сразу же объявил Алексу, одновременно снимая кеды (речь получилась сбивчивая, из прихожей):

– Ты буддист. Ты нас не поймешь. А вот нам с Зиной надо бы завтра сходить в храм.

Алекс ничего против православных храмов не имел, хотя, как все сибиряки, симпатизировал староверам. Но богослужения его привлекали.

– Почему не пойму? Если возьмете, то я пойду. Я крещеный, православный.

Макс вошел на кухню и первым делом принялся наполнять чайник. Услышав деловитый грохот и Максову походку, Зинаида проснулась. Лицо несколько суровое, но на щеках – сладкий румянец. В голосе – капризные нотки:

– Я же просила меня разбудить!

Алекс пожал плечами. И приготовился к нападениям. Но – спокойствие! От Зинаиды пахло вереском, сливками и чаем. А еще – шампунем «Роза», болгарским, конечно. Алекс мрачно перевел дыхание – теперь аромат Зинаиды остался на его джинсовой рубашке. Одно мучение с этой девицей! Ответил сухо, аккуратно:

– Я и собирался. Но мы с Максом думали, что завтра все пойдем в храм. Так что иди спать скорее – вставать рано. Служба начинается рано ведь, часов в восемь утра?

Макс согласно кивнул головой. Он забрасывал старую кастрюлю с приготовленной утром треской в духовку и был весь поглощен предстоящим ужином. Кастрюля была эмалированной, но уже потеряла вид от высоких температур. Не объяснить Максу, что запекать пищу в эмалированной посуде вредно!

– Мент в манной каше! – довольно потер руки Макс. – А знаете, что рыбу минтай едят только у нас, в совке, и еще в Северной Корее?

В кастрюле был совсем не минтай, а треска, но тоже обвалянная в манной каше и запеченная в духовке. Макс теперь разогревал ее. Зинаида порывисто встала, странно сверкнув на Алекса глазами, и подошла к окну:

– Форточку хотя бы открыть... Треска все же.

Макс решил по-своему.

– А пойдемте в комнату. Заодно и «Тихий парад» послушаем. Дверь в кухню закроем.

Так и решили. Тем временем на Алекса напала жажда табака. Однако он знал, что Зинаида была страшной противницей курения в квартире и гоняла всех курильщиков на лестницу. Макс дома не курил. Такая победа над табаком пришла после нескольких лет почти непрерывных скандалов. Причина была простая – соседи. Несколько раз Макс выслушивал от них нелестные реплики и угрозы. Один раз был визит участкового. По поводу курения в квартире и частых собраний молодежи. Никаких страшных сцен за визитом не последовало, да и участковый был добрым. Но с тех пор Макс терпел, а если хотелось курить – вот лестница. А собрания происходили в старенькой двушке сосем не так часто, как сообщали участковому соседи.

«Тихий парад» была «волосатая» на языке Макса радиопередача. «Ти Рекс», «Пинк Флойд» – и не только. Алекс об этой передаче знал и даже принимал участие – как гитарист «Ахтунга». Ведущий пригласил обоих, но вопросы задавал, конечно, Мише Духу. Алекс молчал и, когда играли, вёл вторую гитару. В этот раз снова был «Ти Рекс».

– В Алексеевский пойдем или поближе? – поинтересовалась Зина, когда разговор от рок-музыки вернулся к завтрашнему утру.

– В Алексеевский, – не задумываясь, ответил Макс. Тамошнего батюшку знали и любили. Кроме отца Игнатия, настоятеля, в Алексеевском служил отец Ефрем, Максов младший приятель. Храм нравился не только тем, что среди прихожан – много знакомых, но и особой дружественной атмосферой.

– Волосатый приход, – уважительно говорил Макс. Определение «волосатый» значило на языке Макса – патриархальный, серьезный, правильный. Почти что «бородатый».

– В Алексеевском служба в семь тридцать начинается, – сказала Зинаида. – Так что я ужинать не буду, иду спать. Хоть «Отче наш» прочитаю.

И ушла, махнув юбкой едва ли не в лицо Алексу. Тот вспыхнул.

– И давно она у тебя молящаяся? – спросил он Макса, когда от трески ничего уже не осталось. За пазухой Максовой куртки оказалась бутылка пива. Ей и запивали треску.

– Да Зина и не очень молящаяся, – пожал плечами братец. – А в храм я ее привел, к отцу Ефрему, чтобы крыша не ехала. А то придумает – милиция, зона, стройка. Страхи у неё.

Алекс недоверчиво покосился на Макса. Ему приходилось общаться с партийцами, и он мог представить их образ мыслей. Но образ мыслей православного волосатого был неясен в корне. Волосатый, как Алексу казалось, должен быть привержен к «восточной философии». Так что православность Макса и Зинаиды для Алекса был сфинксовой загадкой. Тут не все просто. Или гены, или просто хипповая всеядность. Ну не верил Алекс в искренность Макса. Зря не верил.

– Чего ты? – осторожно спросил Алекс, стараясь не повторить задумчивых Максовых интонаций. Может, не идти с ними в храм? Зина хоть «Отче наш» знает, а он – ничего.

– Были причины, – сухо ответил Макс. Складки в углах губ вздрогнули.

Сейчас он казался на несколько лет старше своего возраста. И Алекс, всего на два года младше, вдруг почувствовал себя мальчишкой. Если бы он мог проникнуть внутрь мыслей Макса, увидел бы одну неуверенность и почти трусливое ожидание разговора с отцом Ефремом. Отец Ефрем был ненамного младше Макса. Однако тому жутко стыдно было, что «мальчик» стал «зело крут», круче него.

Макс не был в четком, церковном смысле слова верующим человеком. Мог наговорить с три короба странных, очень циничных доводов, почему не следует держать посты. А в юности, после страшной смерти матери, он пережил тяжелое испытание, из тех, какие выпадают не всем.

Дело было так. Макс, на другой день после отпевания, пришел в храм, в первый попавшийся, и встретил пожилого, с виду серьезного батюшку. К чести Макса надо сказать, что он никогда и никому не повторял, что именно страшного сказал ему батюшка и как с ним обошелся. Но после этого лет пятнадцать Макс нет-нет да и вворачивал в разговор страшную сказку про козла возле алтаря. Даже рассказец такой написал. Однако во Христа веровать не перестал. Только вера его стала очень уж своеобразной. Начались увлечения средневековьем. Макс и с католиками успел пообщаться, но, по его словам, общение сводилось к «вытягиванию информации». Термин «информация» Макс очень любил. Отец Ефрем был «зело крут» и «кладезь информации». Макс хранил молчание о том, как отец Ефрем копался в его совести и чем это порой оборачивалось.

Отец Ефрем некогда был одним из «пионеров» тусовочной молодежи. И вдруг – стал священником. По рассказам Макса, священническое служение тогдашнему Андрею Пятницкому предсказала художница-фольклористка, известная системному народу как Матушка. Но Макс думал вовсе не об отце Ефреме и его чудесном обращении.

Алекс вновь очнулся от воспоминаний. Глаза его встретились с глазами Кеши, и тот стыдливо и как-то слишком быстро их опустил. Алексу эта стычка глаз не понравилась, но особенного значения не придал: да ну их всех. Макс докуривал сигарету и казался по виду беспечным. Но с ним всегда так.

«А что если им всем, Кеше и этому Алексу, показать дневник покойницы Алины? Что бы сказали они? Ну я-то, на какую там букву проповедь, ладно. Я орёл прометеев. Я к Алине ходил только чтобы себя и её истерзать и получить свою дозу беззастенчивой чистой любви. Да, я двусмыслен, но мне органы Алины никак не нужны были, а вот что она меня любила – да. Потому всё было – и ничего не было. Алина понимала, что и покойница Салли тоже понимала, но лучше Салли. А они – блины-оладушки: сестрица моя нежная да этот овощ сибирский – они никак не понимают, и не поймут. Ибо страна. Ибо родина. Ибо любовь. Говорить – бессмысленно, решать – бессмысленно. Смысла вообще нет в том, чтобы искать – где эта наша родина. У Зины – человечество в голове; этот – всё себя отделить от человечества хочет. А не выйдет, не выйдет. И лучше – молчи. Я вот первый в тир пойду – учиться стрелять. А потом – мне ведь терять нечего. Потом очередь дам. Не по ногам, а по всем, кто Россию спасать сейчас призывает. Потому что Алина умирала, как может только русский человек в России умирать, и ни слова про Россию. Я про Россию – потому что думаю о ней всегда. А в балаклавах-разговорах, ну балалай всякий, скорее промолчу или подло красивой тонкой интеллигентской позицией пощеголяю – подлец сам потому что. Я за Фёдора Михайловича спрячусь, за Шестова-Шмемана там, за Сурожского. А почему – а потому что мясо, мясо и ещё раз мясо. Мировое мясо. Ешь, пока можешь, и спи, пока можешь. Потому что придёт родина, поцелует, – это я не про лагеря и законы, – и ни спать, ни есть уже не получится, вот как у Алины. Когда человек как кошка во сне плачет, а наяву как мышь на кота бросает-

ся – вот это, я вам скажу, Россия. Ни в какой Христиании это невозможно, ни в Гамбурге, ни где там. Не надо её спасать, не мучайте её, не трогайте – мне бы вот теперь Алинину руку погладить, и ностальгия вконец».

Воспоминания, осознанные как вещество, породили идею наркотика. Алекс понял – и вдруг – что это так. Он снова провалился в тот самый вечер, когда Зину так и не поцеловал. Он ещё не понимал, что это был их последний вечер и последняя возможность. Что потом образуется страшная трещина через весь космос.

– Не обращай внимания, – добавил Макс, протёр очки и полез за кассетой – какой-то «Дорз», – чтобы вставить в маленький и уже безнадёжно больной магнитофон.

«...Я прятался в ванной от тополиного пуха...

Америка-Америка»...

Матушка была высокая и тощая шпала, сорокалетняя дева, неизвестно каким образом оказавшаяся среди молодых людей младше неё в два раза. Тогда мода была на серьезных дам – ну, или девушек. Мода – слово подлое, но таких любили, искренно любили. Одну из них, Альфу, эффектно одетую, волевую, поющую песни, заметил молодой арбатский милиционер. Предложил выйти за него замуж и сам стал волосатым. Но Матушка – совсем другое дело. Это не Альфа с ее точечными знаниями йоги и чтением Карлоса Кастанеды. Даже не Нана, египтянка, красивая как фотомодель, студентка престижного факультета ВГИКа. Матушка была явлением чисто русским. Начиная от манеры одеваться и заканчивая «каникулами в монастыре». Конечно, в Оптиной или в Печорах. Печоры были раньше. Со времени открытия Оптиной в 1989-м Матушка большую часть времени проводила там.

Андрей Пятницкий, будущий отец Ефрем, привязался к ней с остротой первого страстного чувства. Но очень скоро, после того как Матушка «уволокла» его в Печоры, к отцу Иоанну Крестьянкину, отношения изменились, почти до разрыва. Дружба, внезапно сменившая страстное чувство, осталась, и надолго.

Тогда-то, ночью, в лесу и совершилось Матушкино предсказание. Сидели возле костра, в глубине леса. Почему? Хотелось поговорить без свидетелей. Монастырская жизнь казалась для таких разговоров уж очень динамичной. Однако на вечерней и утренней были оба. Начитавшийся Толкиена Андрей воспринимал богослужение слишком по-своему, но уж и то хорошо, что воспринимал. После богослужения, ввиду предстоящего скорого отъезда в Москву, решил объясниться с Матушкой. Она согласилась и даже предложила поехать в Москву вместе. Андрей вспыхнул – подачек не надо! Но потом согласился и посчитал свой поступок ужасно взрослым. Тогда ему было лет семнадцать. Матушке, как говорилось, около сорока.

Итак, сидели у костра, разведенного Андреем, и разговаривали. О чем угодно, только не о любви. Матушка – в испятнанном длинном льняном платье, под которым угадывались широченные штаны, так же, как и платье, расшитые славянским орнаментом по всем швам, с тощей косицей, пришпиленной к затылку круглой головы, с разметавшимися лёгкими волосиками, скрывавшими часть смуглого зеленоглазого лица (дело было летом) – напоминала сказочную ведунью. В косе, красной в отблесках пламени, мелькали разноцветные нити, сплетенные не просто так, а в символических сочетаниях. Символика была ее коньком. У нее и в картинах мир был символическим. Любимой художницей Матушки была Татьяна Маврина, иллюстратор русских народных сказок.

Гитара спокойно дремала в чехле, несколько белых грибов потрескивало на ветках, предусмотрительно расставленных Андреем на некотором расстоянии от костра. Почерневший от копоти и сажи чайник уже закипел.

Когда чайник закипел, Матушка вдруг стремительным легким жестом взяла пышную хвойную ветку (Андрей и не сообразил, какая была ветка – сосновая, еловая или можжевеловая). Хвоя сильно пахла смолой. На срезе виднелись прозрачные капли жидкого янтаря. Дальнейшее произошло стремительно – быстрее, чем возможно представить. Ветка разделялась на три небольшие веточки, от которых отходили многочисленные маленькие ветки. И вдруг всю хвойную массу, окружавшую медного цвета остов, Матушка сунула в костер. Подцепила из костра язык пламени, тут же заскользивший с дикой жадностью по высохшей коре и хвое. Как только ветка занялась, Матушка вытащила ее из огня. Пошел дым, сначала робкий, а затем густой и крепкий, так что Андрей закашлялся. Матушка тоже. Она действовала, почти ничего вокруг не замечая, а только глядя на Андрея чуть сощуренными глазами, потемневшими, как хвоя на ветке. Подождав, пока дым усилится, Матушка вдруг ткнула веткой в Андрея. Затем провела ею над его головой и вокруг, размашисто, плавно. Три раза. Проговорив при этом:

– Свят, свят, свят!

Андрей шарахнулся было в сторону, но какая-то странная сила удержала его. Распахнутые глаза будто лишились век – закрыть их было невозможно от жара и дыма. Сердце замерло в ожидании чуда. Но чуда не произошло. Матушка бросила ветку в костер и сказала будничным голосом, с характерным своим оканьем.

– Комары вокруг тебя вились. Да большие какие! Теперь нет. Пришла благодать.

Андрей много раз пытался выспросить ее, что такое благодать. Но Матушка только отвечала:

– Святый Боже. Утешитель.

Протерев глаза, Андрей спросил:

– Ну, так ты будущих моих комаров прогнала?

Она ответила, чуть помолчав, как бы недовольная его непонятливостью:

– Я не прогоняла.

Андрей знал, что когда она младенчески скромно отводит глаза, то больше ни на один вопрос не ответит. Все же официальным диагнозом у нее была шизофрения.

3.

Из дневника Елены Петровой – Алины

«Июнь, 1989. Сегодня шла по Арбату. На мне был фиолетовый свитер, купленный в комиссионке когда-то, когда я ещё работала, и подаренная мне Аськой юбка лиловых тонов, окрашенная растяжкой; темнее – внизу. Денег нет, еды в доме тоже нет, и надо платить за квартиру. В долг мне не надут, потому что просить не у кого. Мужчинам я не нужна, чтобы обменять два-три часа на деньги. И так будет всегда. Не хочу надеяться, что будет иначе. Потому что если иначе – то нечестно. Значит, эта моя стерильная пустота ничего не стоит, а я верую, что Бог всему даёт цену, что всё – поступок, и моя пустота – тоже поступок.

Да, катастрофически не приспособлена к жизни и ничего не умею, абсолютно ничего, но это и есть – отличие. Затем рождена, чтобы жить именно так как живу, и умирать – всю жизнь, сколько осталось. Чтобы – никого рядом, а то, что появляется – по цене Бога, и уплачено Богом. Ещё нет двадцати пяти лет, а уже нигде не смогу работать. Вряд ли кто поймёт здесь и сейчас, что значит – не смогу работать. Не смогу стать полноценным винтиком в этой живой и даже привлекательной машине человечества. Вращаться, совершать почти танцевальные движения дружбы, супружества, радости и печали. Что уже точно знаю, что не выйду замуж, и не будет детей. И что это не фантазия, а реальность. Что надо установить с ней отношения и поднять, как штангист, последующие

унижения за всё это бездетное. Да и саму мысль примирения с этим бездетным принять – от людей. Люди меня выбрасывают, даже родственники; это справедливо, хоть и невыносимо. Они – все – скажут: ты выбросила себя сама. Да, если нужно – то именно так: сама себя выбросила из жизни. Я ещё посмотрю, насколько хватит этой умной мысли, насколько долго смогу её думать. Часа не пройдёт – люди для меня снова будут виноваты во всех моих бедах. Но есть ли они, эти мои беды?

По пути к метро несколько раз подходила к художникам, стоящим у картин, и просила денег. Смущённо, глупо объясняя, что нет еды, что совсем плохо. Боясь, что не верят. Даже когда дают – не верят. Давали. Смешные, улыбающиеся, кое-как одетые люди, которым порой хуже, чем мне. Двадцать копеек, пятнадцать копеек. Рубля не вышло. Да, цинизм и бесстыдство. Да, хотела насобирать эти несчастные шесть рублей на квартплату и не собрала. Я даже аскать не умею. До метро не дошла, завернула в гастроном и спрятала в сумке булку, десять копеек, и кусок ливерной, двадцать девять копеек. Заплатила за другой кусок ливерной – двадцать пять копеек. Дома, у станции, надо будет зайти в овощной отдел универсама и вынести банку салата из капусты, сорок копеек, потому что только ливерная и хлеб – невозможно. А это уже испорченность: желание сделать более вкусной ворованную еду. Но я не хочу по-другому. Пусть так. Рано или поздно – останется вода на кухне и в ванной, а потом будет больница. Про то, как буду бомжевать, пока не думаю. Не вынесу зиму на улице. Воровать унизительно, сама унизительна. Но я хочу есть. Я уже очень давно хочу есть, я не могу не есть, я не умею быть человеком, у меня нет достоинства.

У метро спросила денег, дали пятачок. В метро прошла без скандала. Кажется, меня с этой юбкой и в метро-то не должны пускать. Я унизительна, ничего не умею, ничего не могу довести до конца. Но Бог терпит меня, какая есть. Потому знаю, что терпит Бог – потому что людей не люблю, а они меня кормят. Так нельзя: не любить людей, а они меня кормят. И этим я унизительнее всего».

С Максом ничего подобного посвящению отца Ефрема не происходило, и он ревновал. Однако эта ревность пробуждала в нём мысли, а эти мысли неслись в совершенно другую сторону, как табунок жеребят. По характеру Макс – наблюдатель. То, что его затрагивало глубоко, находилось чаще всего вовне: человек, событие, явление. Идеи занимали его недолго, однако Макс периодически возвращался то к одной, то к другой. Идей было немного, но довольно устойчивые. Зина была одной из его идей.

Утро началось с мелких неприятностей. Зина, как уснувшая раньше всех, раньше всех встала и заняла ванную. Спала она сравнительно немного, и потому ей требовался хороший душ, чтобы прийти в себя. Макс, знакомый с привычками сестры лучше, чем Алекс, скоренько умылся на кухне и побежал на улицу. Туалет и ванная были совмещенными, так что приходилось смиряться. Алекс, понятно, возмущался, но потом последовал Максову примеру. За все время проживания у Макса Алекс еще ни разу не отказывался от душа с кремами для тела и массажной щёткой. Когда Алекс вернулся, на кухне сидела душистая Зина во вчерашней вызывающей юбке. Волосы ее слегка вились от влаги. На часах было семь. Чай уже закипел, и Макс совершал торопливые движения над заварником. Нужно было не упустить момент, когда чай уже заварится, а фарфор еще не треснет. Зинаида такую привычку брата не любила и считала ее пережитком зоны, где Максу удалось-таки побывать, хоть и недолго. Разговор шел именно о чае:

– Макс, я куплю тебе стальной чайник. Он не треснет. Но чай из него я пить не буду – он будет пахнуть веником. Я уже точно знаю. Пила.

Чай был турецкий, из желтой пачки. Он еле давал навар. Сырья уходило много, а напиться чаю так и не получалось. Купили его, польстившись на увиденную в какой-то

кафешке телерекламу с бегущей маленькой девочкой. Зина признавала и жидкий чай, и дешевый растворимый кофе, но Макс на компромиссы не шел. Чай был его специальностью. По старой привычке, сохранившейся в деревнях, Макс добавлял несколько крупинок соды в заварник. На выпад сестренки он промолчал – похоже, и не слышал. Зина, пока возмущалась, успела намазать на хлеб кабачковую икру и положить сверху по ломтику слегка увядшего огурца. На сливочное масло в то время денег не было. Кабачковая икра из железной банки неизвестно отчего показалась Алексу вкусной. Он так и сказал:

– Вкусная икра.

И вдруг спросил:

– Макс, про рыбу вчерашнюю хотел спросить: какие специи добавляешь?

Брат с сестрой переглянулись. Зина посмотрела отрешенно: мол, сам говори.

– «Звездочку» вьетнамскую, – спокойно ответил Макс. Алекс едва не поперхнулся. Но все же отдал должное изобретению. Да и вкус вчерашней рыбы был оригинальным.

Из дома не то что выбежали – вылетели. В Алексеевском были через полчаса, но на литургию опоздали. Пришли к «Блаженным». Зинаида поплыла от ящика к иконе чрезвычайно строгая и серьезная, с пуком дешевых свечей в руке. «Хороша богомолка!» – подумал Алекс. Макс прибился к небольшой группке, собравшейся вокруг высокого, красивого, рыжеватого священника, и там всю службу простоял.

«Пятница!» – посмотрев на священника, изумился Алекс. Пятница и был – отец Ефрем, Андрей Пятницкий, один из лучших известных Алексу отечественных басистов.

Храм был открыт недавно. До того, едва ли не тридцать лет, богослужения совершались здесь только на Пасху и Рождество. Алекс, устроившись на лавке, рассматривал отсыревшие стены со следами интересной росписи – растительный орнамент. Храм был выстроен мастерами, кажется, семнадцатого века. Золото, красное и синее. Все цвета были приглушены временем, отчего казались таинственными. Кое-где штукатурка висела широким пластом и грозила упасть на голову молящегося. Иконостаса еще не было, а было фанерное сооружение, с бумажными иконками. От прежнего великолепия остался только образ «Спас в Силах», и он очень резко выделялся на фоне прочего убранства храма. На остальном пространстве храма икон было немного, и все – довольно старые, особенно «Тихвинская» Божия Матерь. Алекс отличил ее образ среди остальных, как и Спаса. Они привлекли его.

Раньше в православных храмах Алекс не задерживался долго. Пришел, поставил свечу, пошептал что-то – и вышел. Чувства почти не было. Не то было теперь. Молчаливое разглядывание продолжалось, пока не подлетела Зина и не зашептала в самое ухо:

– Чашу вынесли! Вставай!

Алекс поднялся; потом люди шли как бы по кругу и пели; потом этот самый рыжеватый священник протянул ему крест и сказал деловито:

– Поживее, попрошу вас, Алексей.

Алекс поцеловал крест и пошел искать Макса с Зиной. Нашел их в притворе, о чем-то переговаривающихся. Макс тут же объявил:

– Меня благословил отец Ефрем... на одно дело. Сейчас пойдем. Нужно.

Зина только головой кивнула. Она, кажется, тоже знала, куда и зачем идти.

– Моя помощь понадобится? – спросил Алекс. Особенных планов на день у него не было. Хотелось есть и спать. Но уж если дело! Хотя кто знает – какое.

Все трое вышли из дверей храма. Зинаида крестилась и молилась дольше всех. Потом вдруг сказала что-то запальчивое, с шуткой. Шутка Алексу не понравилась, захотелось ответить, но сдержался. Макс повернул не к выходу с подворья, а в сторону домика для причта. Там была и трапезная. Недавно покрашенная синей краской дверь приот-

крыта. Из пронзительного солнечного тепла попали во влажную сырость, пронизанную запахом капусты. Встретила полная тетушка со слегка отекшим, но светлым лицом, с особенной, как бы застывшей улыбкой, какой-то долгой и мучительной. Не то чтобы улыбка ее была неестественной, наоборот, весь тетушкин характер был в этой улыбочке. Небольшие карие глаза разведчиками скользнули по лицам молодых людей. Неожиданно тонким и веселым голосом тетушка сказала:

– Это про вас мне отец Ефрем говорил?

– Про нас, – опередила брата Зинаида.

– Пойдемте со мной. Какие все нарядные!

В огромной и довольно опрятной кухне, за кое-как повешенной шторкой стояла старенькая колясочка, а в ней лежал спящий младенец, совсем маленький, упеленанный кое-как, видимо, в дарёное.

– Вот, – сказала женщина – Витюшка наш, большой человек.

Зинаида наклонилась над младенцем.

– Так и нашли, как в прошлом веке? Не в роддоме оставили, а выкинули?

Женщина улыбнулась. Скупо, но доверчиво.

– Нет, из роддома принесли. Больной, говорят, а ждать, пока умрет, времени нет. Места нужны. Возьмите, сказали, хоть похороните. А он выжил.

– И не лечили?

– Как же, лечили. Намазали соборным маслом, затем пастой цинковой. Поили травкой с ложечки. Отец Игнатий молебен отслужил. Вот уж неделю. Витюша поправился. Так берете? Смотрите, мы серьезно. Справки для детской кухни достать поможем – у отца Игнатия чадо в детской поликлинике. Только если вы серьезно... – повторила она.

Алекс был окончательно сбит с толку. Макс и Зина переглянулись.

– Берем.

Откуда взялось у легкомысленной Зины умение обращаться с младенцами, непонятно. Но Витюшка у нее на руках только раз пискнул. Все, что в тот момент понимал Алекс, было: придется ему искать другое жилье. Его место занял младенец. К огорчению примешивалась досада на Зину. Почему-то именно на нее, а не на Макса. Словно бы от нее зависело решение: брать Витюшу домой или нет.

Однако новый житель оказался на редкость спокойным и нетребовательным. Он почти весь день спал или ел.

Так прожили неделю. Появлялись гости, продолжались разговоры заполночь, но Зине они никак не мешали заниматься новым человеком. Наоборот, Зина как-то сразу повзрослела. Стала меньше раздражаться. Макс насторожился поначалу, но Зина пока посуду не била и ни на кого, кроме него, голоса не повышала. Что касается Алекса, то он нашел в присутствии Витюшки даже положительную сторону. Теперь, под предлогом присмотра за младенцем, можно было целый день сидеть дома, поедать приготовленную Зиной пищу и играть на гитаре. В то время ему писалось легче, чем когда-либо. За первой неделей пришло еще несколько, таких же спокойных. Намерения искать работу Алекс не оставил, но особо и не старался. Помогал Максу разносить газеты в электричке и даже зарабатывал себе на маленькие удовольствия. На шампанское пока не хватало.

Витюшка уже ворочал розовой головой с карими маслинами внимательных и очень умных глаз – наблюдал за наблюдавшими. Но поднять голову ему было еще трудно. Зинаида оставляла его на час или полтора совсем без пеленок – для воздушных ванн. Кроме воздушных ванн два раза в день происходили и ванны водные, со слабым раствором шампуня: младенец не нуждается в тщательном мытье. Купаться Витюша любил и даже улыбался, хотя голова его валилась в сторону – шейка была еще очень нежной.

Однажды Зина заснула, оставив Витюшу без пеленок лежать на своей постели, рядом, но с краю. Алекс, привлеченный подозрительным оханьем, вошел в комнату и увидел довольного Витюшу в чистой пеленке и ошарашенную Зину.

То, что случилось, она рассказала как сон. Совсем забыв о младенчике, погрузилась в липкий дневной сон. И засыпая, увидела, что на кровать запрыгнули два огромных кота: светло-серый, с белым галстуком, и чисто белый.

– Снежок, Снежок! – позвала Зина. Никакого кота по прозвищу Снежок в ее жизни не было. Но после такого происшествия она дала слово, что заведет именно белого кота и назовет его Снежок. Коты легли по обе стороны от младенца, и тот блаженно оскалился беззубым ртом. Так продолжалось, пока Зинаида спала. Накануне пробуждения серый кот, соскочив с постели, ударил Зинаиду задней лапой, и та проснулась. Витюша смотрел на нее своими загадочными глазками. Лежал он почти на самом краю кровати. Зинаида спохватилась, заохала и принялась Витюшу пеленать.

Мальчик прожил у Макса и Зины почти год. Оформили опекунство. Правда, пришлось указать несуществующие цифры дохода и доставать липовые справки. Но справкам поверили, да и процедура оказалась несложной. Оформили талоны на детское питание, завели карту в детской поликлинике. Теперь хипповые квартиранты вынуждены были бежать за молоком и кефиром для Витюши в семь утра, греметь длинными бутылочками. Идея гонцов на молочную кухню пришла в голову, конечно, Максу. Особенно хорошо было в каникулы: Зина могла спать, когда хочет, и каждый день в школу – не нужно.

Болезнь открылась после неудачной прививки. От нее страдал не только сам Витюша, но и Макс, и Зина. Мучились две недели. К исходу третьей Витюша сильно ослабел. Последние дни уже не ел, а только лежал и прощался со всеми своими умными глазками. Даже что-то ободряющее гукал, постанывал. Жара у него не было, но видно было, что младенчику очень больно. За всю свою жизнь Витюша не сделал ни шагу. Однако по реакции на игрушки, по ручкам – было видно, что ребеночек умный. Похороны храм взял на себя. Особых затрат не случилось – только цветы. Тюльпаны, целый ворох тюльпанов. Нашелся какой-то благодетель, который оплатил все издержки, и на похоронах вел себя так, словно Витюша – его родственник, а прочие за ним не досмотрели. Зина с Максом даже не плакали особенно. Только в тот же день Макс напился и потом пил неделю, а Зинаида слегла с тяжелой простудой и болела почти месяц.

Алекс думал: что заставило Макса решиться на такой серьезный шаг – усыновление? Произошло ли оно только под влиянием первого порывистого чувства, которое бывает очень сильным и чистым, но затем быстро и проходит. Или все же была в Максе основательность, которую он не заметил? Смешивались разные причины. Но какими бы ни были причины, Витюша остался в Максовой жизни. Говорить о нем не говорили, но младенчик связал брата и сестру своей маленькой жизнью гораздо плотнее, чем многих супругов. Фотография годовалого Витюши лежала в Максовом паспорте на страничке «дети». Случалось, что Макс, хмельной, говорил:

– Это мой сын!

4.

С тех пор прошло пять лет. И вот – снова Арбат, весеннее солнышко. Снова Алекс видит людей, которых и не надеялся увидеть. Словно бы времени и в самом деле нет. Но какая-то у всего этого счастья есть изнанка. Если у счастья бывает изнанка.

Алексу казалось, что Зина обязательно будет несчастной. Почему? Что-то слишком строгое было в выражении её глаз и в очерке рта. Мысли Макса насчёт замужества

сестры определению не поддавались. Они были на первый взгляд очень просты: надо замуж – ищи хорошего человека. Но при наблюдении было заметно, что тяжёлый и тесный круг одиночества оба размыкать не хотят. Впрочем, к Максу это никак не относилось. Золушку он мог найти всегда, если это было целью. Для более долгих отношений варианта пока не было. Зина, конечно, ревнива, но не настолько, чтобы мешать брату.

Небольшая компания взяла по бутылке пива в ближайшем ларьке и направилась на Гоголя. Узкий наклонный переход мигал красным глазом светофора, и никто пока не решался перейти на спасительный полуостров Гоголей. Проплыл троллейбус, за ним – автоагрегат с высокими колесами, и, наконец, замигал зеленый светлячок.

Странное чувство испытываешь, когда летним днем переходишь через стекающую вниз улочку, на пересечении Гоголевского бульвара. Чувство болезненное и живое одновременно. Алекс отметил у себя нечто вроде озноба: экий чувствительный стал.

Черный памятник, вверху засиженный птицами, а внизу вытертый джинсовыми лохмотьями московской хипни и их гостей, царил над пространством. Не в хипне дело; просто ее в поле воспоминаний Алекса было много. Солнце припекало, и то была еще одна черта, сближавшая нынешний момент с моментом первого знакомства.

Случайно взгляд Алекса остановился на Кеше. Герик шел молча, склонив голову. Алекс про себя отметил, но значения задумчивости Кеши не придал. Поэт – странный человек. Когда-то Алекс жил у Кеши дома. В те годы, когда торчал. Даже помог сделать ремонт. Кеша был одногодок Алекса, но казался ему маститым литератором. Шутка ли – автор десятка публикаций в новой свободной прессе и первооткрыватель Арбата! То есть незабвенных арбатских вечеров с гитарой и сбором денег в шляпу, пущенную по кругу. Товарищ его по открытию Арбата, поэт-диссидент Сычев, умер от тоски и инфаркта, уже давно, года четыре назад. Теперь Кеша приятельствовал с его сыном – художником Гривной, который по возрасту был ненамного младше Герика.

Когда-то Кешу можно было видеть на Арбате ежедневно. Он любил улицу, любил уличные сценки. Речь у него была лихая, с большим количеством ноты «ля». Внешность, наоборот, к лихости не располагала. Кеша был среднего роста, довольно плотного сложения, с роскошными черными волосами и колоритной бородой. Удлиненные карие глаза смотрели поверх очков, которые Кеша носил скорее для солидности: зрение у него было неплохим. Одевался он довольно чисто, и в приличном обществе мог произвести приятное впечатление. Если бы почаще оказывался в приличном обществе. Был человеком застенчивым и привязчивым. И не выносил критики. Никакой и ни от кого. Познания его в литературе были ограниченными, но ему казалось, что они огромны, эти его познания. Он прекрасно знал пьесы Чехова и романы Солженицына.

Лавочку выбрали у самого бульвара, за спиной Гоголя. Солнце пекло, но слегка, и уже проглядывало сквозь облака безысходно бледное московское летнее небо. Тот, кто не сидел несколько лет подряд без отпуска в Москве, тот представить не может, какое действие может оказать на человека эта стерильная голубизна. Зина все время держалась рядом с Максом, изредка беседовала с Алексом, тревожно вскидывая глаза, и тот отвечал невольно сладкими взглядами. Говорили о знакомых, о каких-то совсем простых вещах. Между делом Зинда снова спросила Алекса. Как-то слишком вскользь, искоса:

– Ты у Кеши жить будешь?

– А у вас – нельзя? – оживился тот. Ему вдруг захотелось снова окунуться в беззаботное время, а он связывал это время с домом Макса и Зины.

– Можно. Только надо Макса спросить.

В том, что «надо Макса спросить», была вся Зина. Алексу сразу же, с первых дней знакомства было очевидно, что решает, кому и сколько жить, – Зина, а Макс может

только поддакивать. Тем не менее «надо же Макса спросить»! Макс, понятно, не возражал. Только заметил, подсев поближе к Алексу и выждав момент, когда Зина разговорилась с Кешей о точном переводе какого-то французского слова:

– А ты в курсе, что она у меня теперь живет как монахиня?

– То есть как? – не понял Алекс.

– А так, – Макс улыбнулся, но как-то строго, предупреждающе. – Ходит по субботам, воскресеньям и праздникам в храм. Кажется, даже часто причащается. Духовник у нее есть – отец Ефрем. Посты держит, ничего крепче пива не пьет. Это сегодня разгулялась – возможно, из-за тебя, решила помолодеть. А так – кремень.

Алекс невольно вздрогнул. Мысли нахлынули, душу закружило в странном мысленвороте. Как? Когда? Храм – и Зина! Только чуть-чуть, только внешне могли они соприкасаться между собой. И тут вдруг – посты!

– И давно она в храм ходит?

– Давно, – Макс, казалось, не переживал, ему наоборот, нравилось поведение сестры. – Года три. Сначала металась, конечно, ей было трудно. Теперь успокоилась. Надолго ли? Не уверен я, что с ее характером такой аскетизм совместим.

В этот момент Зинаида почти выкрикнула на очередное сальное замечание Кеши:

– Воздержанность полезна для здоровья!

Макс хмыкнул и довольно громко сказал, сестре в тон:

– Мир спасет аскетизм. Вокруг – ходячие молитвословы.

В новоявленной молельщице воспрянула вдруг прежняя Зинда. Внезапно Максу в лицо полетели щедрые, пахнущие солодом, пивные брызги. Отерся рукавом:

– Ну что я говорил!

Алекс рассмеялся:

– Да ладно!

– Ты всего не знаешь, – уже более мягко сказал Макс. – Вот побываешь у нас – поймешь!

Алекс принял последнюю фразу Макса как подтверждение приглашения. Настроение было светлым, мир поворачивался прекрасной стороной, и хотелось петь. Гитары поблизости не было, а за своей пришлось бы бежать далеко. Зина уже сидела возле Алекса. Глаза лучатся безмятежным довольством, никакого следа от минутной вспышки.

– Ну что, будем песни петь? – спросил Алекс, приобняв Зину. И вдруг оглянулся, а почему? Кто-то невидимый – невидимым толкнул в бок. Взгляд пересекся со взглядом Кеши. Никогда еще не приходилось видеть такого лица. Кеша смотрел, поджав губы, словно бы перед ним мучили ребенка, а он не мог этому помешать. Алекс не сразу понял, что Кеша смотрит на Зину. Он вспомнил этот взгляд только потом, когда события уже развернулись.

Появляться дома до темноты никто не хотел. Зинаида – тоже. Резкой разницы между тогдашним бытом и теперешним, как Алекс догадался, не было. Макс то пил, то не пил. Как и тогда. Так же, как и тогда, быстро и мучительно находил работу. А потом его выгоняли. Возможно, даже обстановка квартиры сильно не изменилась. Откуда ностальгии взяться? Или это уже не ностальгия? Алекс немного стеснялся своего влечения к этому дому.

От Макса узнал, что Зинаида успела побывать замужем. Конечно, ни к чему хорошему замужество не привело. Прежний беззаботный уклад восстановлен большим трудом. После сусального замужества Зинаида появилась в доме навеселе, швырнула спортивную сумку с немногочисленными вещами под кровать и заявила:

– Никакого мужа! Кроме родного брата. Ужас и моральный террор.

И брат пошел на кухню – за бутылкой пива.

Последние три года, а то и все четыре – Макс точно не знал – Зина держалась старой девой. То есть, мужей больше не было. Макса поначалу забавляло одиночество Зины. Потом он насторожился и стал предпринимать действия: приглашать «приличных знакомых». Но Зина, пусть даже в два часа ночи, выставляла знакомых за дверь. Иногда и Макса, если на кухне был алкоголь. Сцены были колоритные. В духе «Иронии судьбы».

Теперь, увидев Алекса, Макс оживился. Он хорошо помнил, что Зине Алекс нравился, даже очень нравился. Пять лет – срок небольшой. А вдруг? Зина кокетничала, но довольно вяло – как обычно при гостях. Но вот Кеша Максу не понравился. Перехватил его угрюмый взгляд на Алекса и кое-что понял, для себя.

Очередная бутылка пива опустела. Зина заявила, что едет домой. Макса и Алекса посиделки в хорошую погоду на семиметровой кухне не привлекали. Они переглянулись и сказали, что подъедут позже, но все съедят.

– А то! – воскликнула Зина. Локоны метнулись и воинственно затряслись. – А я вам ничего не оставлю. Просто готовить не буду!

Алекс решил проявить мягкость.

– А шампанское с тортом «Птичье молоко» за мной остается!

Зина бросила вдруг мягкий взгляд. В ней словно бы мгновенно завязались в узел две нити. Скупые жесты и влажный блеск зрачков.

– Конечно! А еще – цыпленок с рисом!

Это была насмешка. Алекс однажды поклялся, что добудет шампанского, но вместо него привёз только банку консервов. Остальное было выпито.

Распрощались у самой Смоленской. Зина скрылась в метро, а остальные пошли вниз по Арбату – группа деревьев, вознамерившихся пойти в гости. Кеша темнел в этой подвижной рощице из Макса и Алекса как одинокий осенний волк.

Не то чтобы Макс ревностно следил за нравственностью Зины. Но знал, что его мнение очень важно для сестры, хотя домом правит она.

Она любила и умела делать маникюр. Иногда процесс ухода за руками мог занять весь вечер, особенно зимой. Тогда готовить и стирать приходилось Максу. Но были периоды, когда ногти срезались, и Зинаида почти не смотрела на них. Но даже в период особенного ухода за ногтями руки её не выглядели руками беззаботной женщины. Это были руки скорее уборщицы, чем учительницы. Перчатки для хозяйственных работ в доме водились, несколько пар, и Зинаида их использовала. Но порой, в каком-то последнем отчаянии, она стирала и убирала без перчаток: вот так, нарочно, без ногтей, надоело. И это «надоело» относилось к жизни в целом. Зина ощущала внутри глобальную пустоту, а заполнить эту пустоту было нечем. Только тайная, прошлая, юная Максова жизнь возвращала смысл – просыпаться каждый день, готовить задания к сессии, потом расписывать программы и проверять домашние задания, и любить всё это. Как тропинку туда, в пространство-время ярких счастливых людей. Радость волновалась в ней до момента, когда сядет за машинку – перепечатывать оставленные покойниками записи. За машинкой начинались сомнения, но оторваться от чужих воспоминаний было невозможно. В них было много болезненного, страшного. Однако было и много такого, что делало ежедневность не только сносной, насущной, но даже необходимой. Зина была слишком умна, чтобы верить прошлому безоглядно. Она хорошо чувствовала переменчивость человека. И, однако, дневники грели.

О волосах Зины можно сказать то же, что и о маникюре. Ей не нужно было накручивать локоны каждый день: они и так вились. Химическую завивку она делала раз или два, но теперь и следа не осталось. Понять Зину (что причёску можно вообще не делать) могли только такие же чудачки, как она.

Подруги ее рано вышли замуж, но жизнь не сложилась ни у одной. После проведенного в их обществе вечера Зина говорила Максу:

– Знаешь, мне кажется, что сегодня я побывала в резервации для одиноких женщин. Ничего в том хорошего нет. Как не хочется туда попадать! Но смогу ли?

Женское общество Зина любила. Но на расстоянии. Она гораздо лучше чувствовала себя в обществе мужчин, причем старше по возрасту. Но и тех, кто намного старше, не воспринимала. Не могла представить, как можно влюбиться в человека вдвое старше. Хотя, конечно, в любой женщине есть черты как дочки, так и мамочки. Но совсем не обязательно – главные.

На людях Зина держалась церемонно. Никак нельзя было определить, что нравится ей, а что – нет. Однако для человека неглупого, как Алекс или Макс, определить настроение Зины было несложно. Довольная – Зина со всеми разговаривала свободно, и даже тепло. Вполне собой она была только с Максом и несколькими его друзьями. Кеша в этот круг не входил; Зина побаивалась его, и не могла объяснить, почему. Недовольная, Зина была либо молчалива, либо принималась пилить Макса. Тонко, с мушиной назойливостью, и в присутствии других. Макс как-то чувствовал, что Зина при всём своём недовольстве обидеть его не хочет, и кротко эту пилку терпел. Со стороны зрелище было нелепым: злая, хоть и красивая, жена – и пьяница-муж. Макс про себя называл её девочкой с рюкзачком, хотя рюкзачки Зина терпеть не могла.

«Девочка с рюкзачком. Это тип, это страшно. Зина – точно девочка с рюкзачком. Такая, вроде бы вялая. А на самом деле, как поставит – так не сдвинешь. Гиблое дело – эти девочки с рюкзачками. В рубашечках в клеточку, с пятнадцати лет живут с мужиками, ну, или с семнадцати. Много что умеют, и трах у них – как радость и лучшая часть жизни. Хотя и карьеру сделают, и детей родят, и в дамки выйдут. Неубиваемые девочки. Тихие такие танки. И главное – ужасные понималки с виду. Всё поймут, всех утешат, а ты – под их дудку. Унизительно. И плохо, что они такие хорошие, эти девочки. Они же людей любят! Они всех любят! Они же ради благой цели всё делают, и подлости тоже! Как в песенке: они слушают Тома Уэйтса, Леонарда Коена и смотрят фильмы Тарантино. А ещё они обожают группу “Дорз”. Это-то больше всего унижает. Я сам люблю группу “Дорз”».

5.

В знакомой хрущёвской двушке было всё точно так же, кроме цвета стен и занавесок. Сантехника была, правда, поновее. Город раскошелился на капитальный ремонт, поменяли основные канализационные трубы, но после этого ремонта Максу и Зине пришлось делать свой, некапитальный, ремонтик, довольно большими средствами и силами. Но вот шторы были Зиной сшиты, а Максом повешены на новый карниз, и наступил праздник нового дома.

Лавки и столы из досок, на которые было вылито довольно много спиртного ещё при их сотворении, были покрыты новым слоем морилки, более тёмным. Комната Зины, дальняя, с жар-птицей на двери, нарисованной Максом, всё так же была закрыта. А вот в ванной-туалете появилась интригующе матовая шторка, в расправленном виде закрывающая ванну. Значит, теперь сюда можно будет заходить, когда кто-то (читай Зина) моется. Больше, кажется, изменений не наблюдалось.

Как оказалось, у Макса есть «Смирновка», и даже полная бутылка. Откуда – неизвестно, и конечно не Зина дала денег.

– Надо – быстро, и поесть, – сказал Макс, – Зина либо дремлет, либо читает.

На низком столе появились – из непонятно какой сумки – китайские бобы в томат-

ном соусе, коллекционный сок в стеклянной бутылке (когда-то стоил пятьдесят две копейки!), кирпичик дарницкого хлеба, кабачковая икра в стеклянной банке, квадратные сосиски в упаковке с жёлтым квадратом, которые можно есть сырыми, и сухие-пресухие треугольные хачапури из ближайшего киоска.

– С них и начнём.

«Смирновку» пили зверски, почти не закусывая. Не торопились, но их состояния были подобны – оба были злы, не на что-то, а просто, взвинчены, и потому всё получалось. Вскоре осталось что-то вроде стакана на двоих.

– Ну, теперь горяченькое.

Чай успел закипеть, надо было решить, что пить после «Смирновки»: чай или кофе. Оба решили: кофе. Но сначала надо приготовить ужин. Макс открыл банку бобов с помощью рогатой открывалки с потрескавшейся охристой ручкой, достал эмалированную тёмно-синюю кастрюльку, ещё мамину, ловко вывалил бобы в кастрюлю, бросил щепоть хмели-сунели, добавил из чайника воды и немного порубленных сосисок. Предполагалось нечто вроде густой похлёбки. Не важно. «Смирновка» ушла почти вся.

Алекс, размякнув, потянулся к стоящей на углу стола банке растворимого индийского кофе.

– Ага.

Макс, не оборачиваясь, бросил:

– Мне две ложки. Много не могу пить этой гадости.

Две ложки! Вот тут-то вкус порошкового кофе и проявит себя полностью!

– Ты пить будешь с холодной водой, как Штирлиц?

– Как Плейшнер, – поморщился Макс, представив вкус кофе, – да, с холодной водой.

Алекс заставил себя встать и тоже, рядом с Максом, некоторое время топтался по кухне: достать стаканы, налить в них воду.

Кофе, конечно, был никакой не кофе, но при заборе ложкой приятно раздражающе хрустел. Алекс чувствовал, что сейчас Макс скажет что-то, на что придётся серьёзно отвечать, и не очень хотел этого разговора. Хоть бы Зина пришла. Но она не выходила из комнаты, а только подрагивал телефонный провод, уходящий сразу в щель под её дверью. Задания проверяет, как же. Неужели неприятного разговора не избежать? Не анекдоты же Макс решил рассказывать с таким лицом.

– Может быть, я покажу тебе один роман. Глупое подражательное фэнтези, но мне нравится его писать. Однако сейчас я не о романе. У меня, знаешь, много бумаги собралось, и я не знаю, что с ней делать, а это угнетает. Это нервирует, не даёт спать, но очень и очень важно. Дневник: три записных книжки, год жизни одной волосатой герлы – Алины. Она умерла давно, лет пять назад. Что умерла – узнал примерно тогда же, почти случайно; мне позвонил следователь. Хоронило её государство. Ты знаешь, как хоронит государство? О, я тебе расскажу. Надо описать, надо обязательно описать. Это круче всякой фантастики, это шедевр мироздания – как хоронит таких вот неприкаянных наше государство. Я был в морге. Нас трое было, но Зинде не сказал, – зачем? Она ведь всё равно пионерка. Так вот, родственникам известно не было, что с Алиной и как. Они охотились за её квартирой, а она им квартиру не отдала. И потому за ней никто из родственников в морг не приехал. А я, вернее – мы: Кеша и ещё один чувак, Игорь, мы – были. И её книжки отдали мне. Алина пролежала летом у себя на диване, ослабевшая, сколько-то, пока не умерла. И на полу возле дивана, как мне сказал санитар – лысоватый браток, – были эти книжки. Их взял тот самый чувак, Игорь, и мне отдал.

Макс перевёл дух; ему становилось всё хуже, но, кажется, критическую точку он уже прошёл. Алексу тоже было мрачно, но он впервые видел такого Макса, настоящего Зигфрида. И понял, почему его прозвали именно Зигфридом.

– Если ты думаешь, что мне радостно быть обладателем этого сокровища, то обломись – нет, не радостно. Однако я понимаю, что эта герла сумела описать такое и так, что все наши бестолковые, как подсолнечные семечки, смерти (Децилку помнишь? После скандала с мужиком, и тоже на диване) находятся у ней в карманах, то есть – в этой книжке. Это надо обработать и выдать на гора. А потом переправить на запад. Они побледнеют там, они сюда за кайфом едут.

Алекса неприятно кольнуло: как же, много ты, рыжий, видел иностранцев. Но тут же вспомнил самодовольную улыбку Гарри, получающего из рук цыганки пластиковый пакетик с липким маковым сырьём – граммом, – и Максу не возразил. Гарри располагает средствами, на которые может раскумариться сам и раскумарить других. Пусть в кругу торчков считается западло – раскумаривать других и покупать граммы (граммы надо вырубать), но чтобы тебе было хорошо, когда других ломает... Кеша – на что дрянь, и тот подсовывал Ксане деньги и шприцы. Чтобы хоть раскумарилась. Чтобы дожила до вечера. Но куда это его, Алекса, понесло – в этот латаный, пошлый торчковый героизм, в эту новую норму мирового поведения? Как он не любил эту торчковую величественность нового образца, как не любил! Но приходилось иметь дело и вмазываться, рискуя получить гипертонический криз, именно с ними, потому что именно они, семьдесят второго – семьдесят четвёртого года рождения, теперь торговали кайфом.

– А не вышло у них Тарантины, – осклабился Макс, – не вышло. Ага?

Алекс в знак согласия сделал глоток ещё не остывшего кофе.

– Так что там за фэнтези?

– Я покажу тебе, – довольно бодро ответил Макс. – Но сначала хочу, чтобы ты почитал из этих книжек, Алины.

Добавил, улыбнувшись уже по-человечески.

– Я любил её, Алекс, такой я пошлый. А она завещание на тетрадном листе написала, отписала квартиру своему соседу, церковному, как оказалось, старосте. Так что родичи её ничего не взяли. А старосту этого я видел и говорил с ним. Он с нами в морге был, тот самый, Игорь. Потом расскажу.

– Бобы! Опять бобы. Водку, понятно, всю выпили.

Зина, с синим телефоном, появилась в проёме кухни и отчего-то рассмеялась. Алекс уловил, что она рада – и очень рада – его видеть, и на Макса не сердится. Но что-то произошло. Что-то очень существенное произошло за время, пока говорила по телефону. Или ему показалось? Что за круговращение такое?

Да сговорились они, что ли.

Из дневника Елены Петровой – Алины

«Июнь, 1989. Мне очень нравится бумага из школьных альбомов для рисования. Она толстая и вовсе не белая. Именно такая нужна для японской картинки. Но я не художник. Не смогу нарисовать японскую картинку. Это не значит, что не буду пробовать рисовать японскую картинку. Ужасно много пробовала рисовать японских картинок, и мне сказали, один художник, что у меня интенция. Не стала ходить в его мастерскую – просто потому что женщины там на меня так странно смотрели, будто я его любовница. Даже альбомов с японской графикой толком не видела, но хочу рисовать японскую картинку, и порой что-то похожее получается. Однажды Упырь принёс альбом Бердслея в мягкой желтоватой обложке. Чужой, его, Упыря, альбом – и потому запоминала линии, как запоминают стихи, когда смотрела. Потом придумала спицу, тушь и эти листы для рисования. Мне понравилось. И то, что флаконы туши такие толстые, и что тушь так хорошо схватывается и блестит. А если в неё добавить сахар, рисунок станет намного

прочнее. Слышала, что акварельные рисунки покрывали смесью молока и сахара. А пастели – лаком для волос. Рисую спицей. Обмакиваю в тушь, и рисую по листку из альбома. Получается. Порой – совсем как на японской картинке. А что такое японская картинка – это признание своей полной беспомощности перед ходом всех вещей и социумом – как машиной, в которую входят несколько общих для всех вещей, и эта машина тебя давит. Она не специально едет на тебя, она вообще для продолжения жизни и радости сделана. Но бывает, что кто-то попадает в колёса. Выбраться почти невозможно.

Но мне-то что в этом мире? Мир, в котором радостно трахаться, предполагает, что в нём так же радостно бить, кого трахаешь. Если трахаешь одного, то бьёшь другого, а чаще всего того, кого трахаешь. Я очень виновата, что поверила, что у хиппи отношения строятся иначе. То же самое. Трахать и бить, бить и трахать; они даже в еде не очень разбираются, особенно те, кто моложе; и делают вид, что разбираются. В клешах родились. Однако снова глупости пишу. Вот эти два момента – бить и трахать (пишу эти слова с лёгким привкусом садомазохизма, хотя и это глупость) – эти два слова определяют все отношения в мире людей. Да ни за что не поверю, что если кого-то трахаешь, то его же бить не будешь. Нет. Особенно у нас. В этой неподкупной и величественной земле вечного пьяного сна. Но не мне такие вещи говорить. Знаю тех, кто говорит такие вещи. Пусть говорит. Моя вина – что выбрала путь, что хотела быть хиппи. Стала хиппи, и ненавижу хиппи. Хотя и это всё неправда – что стала хиппи и что ненавижу хиппи. Но рисунок моей жизни вполне соответствует той легенде, которую когда-то придумала. И теперь мне важно, как важно художнику выдержать характерную для японской картинки линию, выдержать завершение своей жизни. Не рухнуть в обновление бытия. Оно для меня не оправдано ни детьми, ни любовью к кому-то. Бог видит, что я бесполезна и больна. Он милосерднее человека. Но я жестока, как все люди, и именно поэтому прошу – не смерти, нет. Только удачного последнего росчерка. Не сорваться, не завязать ненужных контактов, не унизиться, как много раз было. Потому что невозможно, невозможно, невозможно всё это, не хочу».

– Руслан. Руслан звонил, из Христиании, представляешь?

Фраза была обращена к Максу, но впечатления особенного не произвела. Зато Алекс побелел, и даже сам это почувствовал. Звонил Руслан Зарайский, а это было действительно плохо. После бодрой и деловитой выпивки с Максом оставалось ещё много сил. Хотелось либо разбить все окна в этой двушке, либо побить Зинду.

Руслан Зарайский был красавец, музыкант, автор концептуальной идеи одного музыкального сибирского проекта и знатное трепло. Но всё это мелочи по сравнению с тем, что Алекс его отчего-то сильно не любил и порой не мог объяснить, почему.

Какой-то импульс, идущий от Макса, имевшего довольно спокойный вид, открыл Алексу, что именно Руслан и был сусальным мужем Зинды.

– А ты что думал, – мысленно выругался, – без Руслика никогда нигде и ничто не обходится.

Это тройное «ни» Алекс взял у молодых торчков, которых Руслан умел разводить на кайф умело и быстро, как никто.

– Наверняка он в Москве, – пожевал губами Макс и улыбнулся – как умел, одним ртом. Алекс был с Максом полностью согласен. «Придётся нам не золушек искать, а морду Руслику бить, что очень противно», – подумалось. Но заставил себя успокоиться, поймав Максов предупреждающий взгляд.

– Зина, да было-то в бутылке со стакан, – примирительно сказал Макс и встал, чтобы поставить на стол тарелки и положить в них бобовую похлёбку с сосисками.

– Вот ведь.

Как было известно Алексу, Руслан вписался к Максу с Зиной (это было ещё в каком-то 1990-м), пожил с неделю, затем нашёл невесту (так волосатые и говорили тогда, но уже не часто: невеста, невесту). Какое-то время жил в семье. Затем вернулся к Максу с Зиной – мол, выгнали. И Зина отчего-то очень Руслану обрадовалась. А тут ещё по «Тихому параду» передали песенку «Про старого Вана», и Зина растаяла, так что даже приболела. Очень стала Руслана жалеть. А он рассказал, что спал с этой невестой, что она девушка ещё была, что он её очень любит и хочет жениться, но родители, видя такое поведение Руслана и дочери, Руслана выгнали. Беседа шла за милым вечерним столом, с жареной картошкой. Зина, слушая, натирала маслом свои потрескавшиеся ногти. Макс появился как раз к чаю и присел рядом – послушать, что Руслан Зине говорит, да и на него самого посмотреть.

Посмотрел. Затем Руслан стал вдруг и с очень авторитетным видом рассказывать о неких депрограмматорах, которых заказывают родители приличных детей. Дитя, например, попало в плохую компанию и стало трахаться-выпивать-торчать. Родители идут в одну умную контору, смотрят досье, выбирают подходящего работника. Работник внедряется в компанию (а скорее всего и тусуется в ней), обольщает заблудшее дитя и своим поведением внушает ему отвращение к системе до конца дней. Зина слушала с распахнутыми глазами и почти плакала, даже о ногтях позабыла. Волновалась, несколько раз эмоционально повела руками, как будто танцевать собиралась.

– Вот дура-то, – подумал Макс, – ей же клоуна показывают.

Руслана, в смысле. Макс понимал, что этот клоун может наделать неприятностей.

Зина на самом деле страдала. И вовсе не была такой глупенькой, как иногда казалось Максу. Понимала, что всё равно ей спать с этим Русланом, и лучше с ним, чем с кем-то из её приятелей или приятелей брата. Руслан – совок. Ну и что – совок? А кто в системе – не совок? Да каждый – самый советский совок, и потому все её ровесницы и ровесники ходят в красных галстуках, метафизически, потому все они слушают эту музыку шестидесятых, казавшуюся Зине уже просто пошлой. Она сама Тома Уэйтса любит (правда, потом активно разлюбила, до какого-то зубного отвращения). Так что лучше с этим комсомольцем... Он умелый и, видимо, многих трахал. Так что лучше с ним, чем с ровесничком, который ничего в трахе не понимает. Но как не хочется. И Руслан – честно сказать – противен. Но хоть кто-то делает вид, что ухаживает. Так что выбора у неё нет. Потому что рано или поздно её трахнут, а Макс не уследит. Так что лучше самой. Вот вечером – что Руслан делать будет? В гости повезёт или у Макса на глазах? Ведь у этого Руслана, даром что рок-звезда, в Москве почти нет знакомых, к которым можно привести девушку. И ещё она знает (Руслан сам себя как-то выдал в разговоре), что он жутко стыдлив. Если, например, приятели хорошие и Руслан ими дорожит – то ему ужасно как неловко будет её трахать у них в доме. Так что, скорее всего, повезёт на какой-нибудь флэт. Выбор отличный.

Макс наполнил чайник водой и пружинисто прошёлся по крошечной кухне, будто не семь, а все двадцать квадратов. Спросил словно в воздух, но громко, гусаком:

– Так что, прошло похмелье? Или ещё пот ходит?

Руслан бросил что-то в ответ неожиданно высоким голосом и скрылся в Максовой комнате на раскладушку, под одеяло – якобы дальше из запоя выходить.

– Запой у него, вишь... – Макс поставил на стол чашки и хмуро посмотрел на Зину. И вдруг поднёс к самому её носу меднокожий, в веснушках, кулак.

Но кулак не помог. Ближе к ночи Руслан окончательно оправился, очаровал Макса рассказами о махатмах и Гитлере и увёз Зину к своим хорошим арбатским знакомым. Там всё и случилось. А следующий день Руслан ох как боялся, что по Зининому личику знакомые, муж и жена, художники-мультипликаторы, прочтут её печальную повесть. Прочитали. Но никто ни слова не сказал, а Зина держалась гордо и даже независимо.

Потом болела сколько-то, лежала с небольшой температурой. Руслан был оскорблён таким Зининым поведением и даже заявил, что Зина его триппером заразила. Тогда-то Макс и вознамерился Руслану фэйс почистить. Но Руслан его снова обаял рассказами о Третьем Рейхе, и вместе напились на Арбате. Затем Руслан исчез, но вскоре вновь обнаружился и увёл Зину на квартиру к знакомым, которые уехали на неопределённое время в Прагу. Некоторое время жили в квартире этих знакомых. Жизнь была довольно весёлая и насыщенная, как говорят – обогащённая опытом, наподобие водорода или кальция. Но вскоре случился излишек. Зина собрала сумку и вернулась домой, а рок-звезда делал надменный вид и вёл себя по телефону так, как будто это он Зину выгнал. Что делать, с девушками всегда так.

Макс явно предвкушал интересный разговор с Русланом о махатмах и рейхе, и не только его.

– А ты, Зинда, если он снова позвонит, пригласи его к нам. Ведь если он тебе позвонил, ему вписаться надо, – в Максовых словах было много братского гуманизма. – Мы ведь странноприимны!

У Алекса правый глаз стал вдвое больше левого и светлый-светлый, как под черняшкой. Идея пригласить Руслана стала ему понятна и понравилась.

Руслан, будто услышав разговор, тут же и позвонил. Через час в кухне появился четвёртый человек: невысокий, круглолицый, с приятным взглядом больших карих глаз и немного гугнивым голосом – скорее, голоском. Это и был Руслан Зарайский.

6.

Поразительно как Руслан на сцене отличался от Руслана на кухне, хотя Руслану казалось, что совсем не отличается. На сцене это был пышноволосый красавец с яркими, какими-то башкирскими глазами. На кухне чаще всего напоминал наёмного рабочего-строителя. Ему вроде бы вменялось (по чину рок-звезды) обладать харизмой и подчинять себе всех людей. Но Руслан и с музыкантами своей команды толком управиться не умел. Выручала его только удивительная способность заболтать, ввести в ступор, парализовать на короткое время этой своей беспредметной болтовнёй. Но если человек был чуть более агрессивным, чем сам Руслан, – вот как Алекс или Макс, – болтовни не хватало, и начинались подленькие игры в слабость и всякий шантаж. Но слушать его телеги было приятно, весело, особенно когда звучит необязательная хорошая музычка и полно девчонок. Руки у Руслана были действительно сильные для его роста и сложения. Так что даже Макс оценил, заметив, как Руслан поигрывает эштоном:

– Руки у него сильные.

Однако Русланова музыка – дело прошлое. Его «Кислота» давно не выступала, а музыканты разошлись по другим группам. Осталось только ограниченное количество метров магнитной плёнки на бобинах и от силы одна кассета с записью концерта 1987 года. Музыку Руслан уже не писал, но делал вид, что пишет, и почти в том не врал. Музыка была его манией. Он испытывал к ней прежнюю страсть, но – не писалось. Закрыли шлюзы, прекратили поставки. Недостатка впечатлений не было, но эти впечатления к музыке относились косвенно. Построить дом из песчинок не удавалось, хотя Руслан был абсолютно уверен, что это и есть его стиль – воздвигнуть дворец по песчинке.

Он, опускаясь на корточки, вкрадчиво заговаривал с сочно накрашенной тусовщицей. Затем пересказывал разговор Зине, назидательно, довольно глубоко волнуясь:

– Двадцать лет! А она прошла и панель, и иглу. И защита – врубись! – Одесса. На одно слово – десять. А ты – что прошла?

Он осторожно брал за каблук красавицу, сидящую в тусовочном кафе с каким-то странным типом в забавной жилетке, и вёл пальчиком по лодыжке, восхищаясь:

– Сыграю всю, от макушки до пяток.

Это должно было значить для окружающих – ему пришла в голову музыкальная тема при виде этих туфель и лодыжек. Иногда прибавлял, глядя сверху вниз, что при более чем среднем росте немного смешило:

– Я родился в Ногайской Орде. Это что-то да значит.

И стрелял глазами как пинап-картинка.

Он подобно огромной устрице извлекал впечатления из довольно однообразной на самом-то деле уличной жизни, преимущественно арбатской. Да он и был такой музыкальной устрицей: убери его – в пейзаже будет чего-то не хватать, но несущественно. А он считал себя учителем, и совершенно всерьёз, и другие порой верили ему. Ему хотелось жить, как рокеры лучших времён и не здесь. И чтобы хоть как-то сблизить миры, пытался создавать новые мифы и легенды в пространстве русского рока. Легенд, которые запомнили Зина и Макс, было две: стрельцы и крысы.

– Каждый рокер – маг, – авторитетно, расширив свои башкирские глаза, начинал Руслан. – Одно время у нас в орде (так он называл известное ему сибирское музыкальное сообщество) все хотели стать красными магами. Это очень сильно, очень круто. Но я – синий маг. Мне сказала одна девчонка, что когда я играю, в зале выпадает снег. Я зимний знак, стрелец. Как БГ. Я видел его только один раз, мы перемигнулись: мы узнали друг друга.

Опровергнуть это знакомство возможности не было, так как людей, хорошо знающих БГ, Руслан никому на Арбате не показывал.

– Крысы – самый крутой знак. Это маги звука. Вот и Саш Баш родился в год крысы. Тоже – синий маг. Видел его: сидит такой смурной, синий столб. Олди тоже из наших. Холодный рэгги; рэгги холодных пляжей. Уоо!

И Руслан расширял глаза, которые даже цвет меняли, изображая исполненный спокойного величия взгляд Олди, и делал жест, как будто играет на гитаре, копируя жест Олди. Копировал Руслан мастерски, недаром учился в эстрадно-цирковом училище.

Зину это Русланово бахвальство раздражало и смешило. Но девицы влюблялись – верили. И ещё: песню «Про старого Вана» Руслан пел всегда с чувством, увлечённо. Макс, в отличие от Зины, особенно Русланову болтовню не переживал – и не понимал, когда, слушая очередную телегу, Зина то бледнела, то краснела от стыда.

– Клоун, – довольно добродушно комментировал Макс Руслановы рассказы, видимо, осознавая и в себе клоунские наклонности.

А Руслан, приосанившись, продолжал.

– В Семипалатинск приехали на молодёжный фестиваль. Перестройка породила множество фестивалей. Ну представь: Семипалатинск! Глушь. Мрачняк алкогольный на улицах. Мы играли только под травой. Алкоголя – ни-ни, это свинячий кайф, снимали всех этих подростков с алкоголя посредством нашей музыки.

Подразумевалось, что музыка «Кислоты» – очень сильная и служит орудием манипуляции сознанием. Макса этот крен в сторону игр с сознанием ужасно веселил.

– Выступали мы тогда – не поверите! – с группой «Мираж». Их привезли на пару дней позже, а до того с «Ласковым маем» выступали. Так вот, взяли мы с моим басистом Дроном (он высокий и такой сексуальный, метр девяносто, девчонки говорят: бесконечный Питон) – взяли мы ящик пива и идём к лифту. Гостиница – краска от стен отстаёт. И тут: подождите, подождите. Впрыгивает в лифт девушка, с сумочкой. Двери – хлоп, и поехали. Питон: вам какой? Смотрим, а это – Она, из «Миража». Она: пятый. Тогда Питон спрашивает: это вы поёте про видео-видео. Тут она поднимает головку, смотрит на полуголого Питона (а у него тату в виде змеи на бицепсе) и, крупно сглотнув от внезапного желания, отвечает: да! Питон ей: мелодично! Тут лифт на наш третий приехал, Питон неторопливо так вышел, я за ним, Руслик такой, с пивком. Оглянулся, а у неё глаза и рот круглые от изумления. Влюбилась! Вот какой у меня Питон.

Питон был действительно хорош собой, математик или физик, умница и эстет. В девяностые, кажется, о рок-н-ролле забыл и уехал на берег Атлантики, женившись для поддержания дальнейшей жизни на журналистке. Но басист был уникальный, Руслан не врал.

На Руслане была странного вида тёмная джинсовая куртка, которая делала его глаза и волосы совсем чёрными, отчего молодая лохматая седина выступала ещё сильнее, и классические, но очень неряшливые светлые джинсы в рубчик. Под курткой оказалась весёлая майка с сочным томатным языком эмблемы «Роллинг Стоунз».

– Родная, – ответил Руслан на вопрошающий Максов взгляд.

Алекс отметил, что майка дешёвая: Гарри ему бы десяток таких привёз.

Стемнело в черноту. Алексу вдруг стало интересно: видны ли звёзды, и он уже подумал, как бы выйти прогуляться. Руслану налили треть того, что осталось от «Смирновки», он мгновенно выпил и, ничтоже сумняшеся, взял Зинину тарелку с бобами. Отбирать было поздно. Макс поставил на стол ещё одну тарелку, выложив в неё из кастрюли остатки похлёбки. Руслан торопливо ел, причмокивая крупным ртом, особенно нижней губой, выдавшей, насколько Руслан проголодался, а чуть поев, радостно затрещал:

– Познакомился в Христиании с Лизой. Врубись: дочь русского джазиста, эмигранта, дом, круг общения – круто! Блондинка. В этой Дании даже старухи в лосинах ходят, страна культуры! Моя историческая родина.

Вопрос был в том, был ли вообще Руслан в Христиании, но Лиза, скорее всего, место имела.

Алекс заметил, что Руслан опасается смотреть на него. Алекс ведь играл недолго в «Кислоте», на том самом концерте 1987 года, когда познакомился и с Летовым, и с Саш Башем. Так что Руслан ему вроде как бывший фронт. Желание драться немного остыло и ушло куда-то во второй надобности ящик. Однако Руслан заговорил сам:

– Алекс, ты же в Самаре был. Как там?

– В Саратове, – ответил, – а как может быть? Много мусора – все балдеют.

Руслан этот ответ проигнорировал, а начал быстро, будто боялся не успеть, рассказывать о Христиании. А потом, как будто перебивая самого себя, заявил:

– Я теперь собираю всё, связанное с тем временем. Я его не люблю, и хочу вообще всё забыть, и забуду, когда уеду в Данию. Но меня интересует...

Макс, довольно внимательно выслушав про Христианию и отъезд, выдержал насторожившую Алекса паузу и сказал:

– Хорошо. Вот – смотрите.

В руках у него оказались три довольно толстых ежедневника в потрескавшихся терракотовых обложках, исписанные и изрисованные вдоль и поперёк. Ежедневники были сравнительно небольшие; кстати, один из трёх оказался тёмно-синим, и не ежедневником, а почти тетрадного формата книгой для записи кулинарных рецептов, тоже изрисованной вдоль и поперёк. Алекс принял всё это из рук Макса и положил на колени. Руслан придвинулся поближе и метнул металлический взгляд.

Из дневника Елены Петровой – Алины

«Июнь, 1989. Была родственница, настаивала на передаче ей квартиры, потому что не смогу жить одна, что меня, в конце концов, убьют и обманут, и должна жить под патронажем родственников. Не хочу жить под патронажем родственников. Квартиру эту они получили противозаконно, но оформлена она на меня, и я квартиру им не отдам, если только сами не решатся на уголовное преступление. Когда меня заставляли сосать

член на перегоне от Бронниц до Москвы (шла из Хабаровска, подвозили зэки, и ничего не было, а тут случились бизнесмены-комсомольцы, это понятно), было гораздо менее унизительно. И когда Честер объяснил, что не любит меня, потому что не удовлетворяю его представлениям о возлюбленной, и трахаться со мной не будет, потому что у него есть представления о чести, было не так стыдно. А после общения с родственниками стало чрезвычайно стыдно. Мне надо молиться о них, потому что это очень много, и это то, что я могу. Ужасно как важно – понять, что отношения с родственниками, может быть, последние отношения, потому что они же и первые, от рождения. Значит, время для меня наступает другое. Перерождение? Смерть? Но что моя жизнь сейчас и что жизнь человеческая вообще, если не умирание? Но большинство умирает понарошку. Полагаю, скоро это "понарошку" станут воспринимать с серьёзным лицом.

Разобралась с тремя вещами из нескольких. Теперь уже не буду передвигаться автостопом, потому что так решила и потому что поняла, что это соблазнительная спекуляция. Эта спекуляция прикрыта словами "свобода" и "мессианство". Или как говорится на пионерском языке – врубать в волосатость. Нет, драйверы правы, когда говорят, что автостопщики – паразиты. И правы те олдовые, что советуют брать с собою хотя бы десятку, чтобы в случае выяснения отношений заплатить за проезд. Но мне взять десятки неоткуда и не на что купить билет в тот город, в котором хочу побывать. Взять в долг тоже не у кого, работать нет сил. Так что если нет денег, не будет и автостопа. Так разобралась с одним из пунктов: автостоп. Другой – сексуальные отношения; хоть между полами, хоть внутри них. Сексуальные отношения – те же социальные отношения. Даже если нет секса, социум обязывает трудиться и добывать средства для поддержания отношений. Если есть секс, или человек, с которым установились близкие отношения, – есть приоритеты и требования, а они ждут оплаты по чекам: квартира, одежда, молоко. Сейчас почти никуда не выхожу и никого не вижу, хотя нельзя исключить случайность. Построила жизнь так, что сексуальные отношения стали невозможны – потому что просто не с кем. На это ушло время, и надо было постараться: ведь всего год назад думала иначе, и было много возможностей. Хорошо, секса не будет – потому что избегаю тех, с кем могли бы возникнуть такие отношения, и вообще никому не нужна. Третье – халява. Это самое сложное. Не могу сказать, что с халявой разобралась окончательно. Весело приняла когда-то идею халявы как протестную, революционную. Как конфету приговорённому к смерти. В эту халяву входят и автостоп, и никого не обременяющий секс. Но идея на самом деле огромная. Выразить её можно так: всё, что взято без спроса – вкуснее, чем добытое собственным трудом. По-моему, вкус одинаковый, потому что продукты одни и те же. Прошло два месяца, к халяве я немного привыкла, а смерть была всё так же далека. В халяву входит и торч. Собственно, его можно назвать три, пункт один. Я больше не смогу употреблять ни джеф, ни мульку, ни черняшку. Потому что для того, чтобы их употребить, надо приложить усилия, превышающие мои физические возможности, а дозу мне никто не принесёт. Мне удивительно, как все эти торчки умеют говорить по телефону и раскручивать. Я не умею. Почти завидую. Так что – как с автостопом и сексом: если нет денег – не будет и торча.

За одно благодарю Бога. В полтора года я смогла измениться: убить в себе прежние мысли и страхи, которые могли бы вернуть меня в тот мир, который мне отвратителен. Мир системы мне отвратителен не менее чем тот, но в нём у меня нет имущественных отношений, а в том – только они и есть. Теперь у меня нет имущественных отношений даже с тем миром, вернее – они на исходе, и прекратятся с моей смертью.

Итак, я больше не путешествую автостопом, не трахаюсь и не торчу. Вышла на финишную прямую. Поняла, что все это не главное и не очень нужно. Что это унизительно. Остаются отношения с родственниками, и тогда всё, всё – свободна».

Алекс скорее-скорее захлопнул синюю тетрадь. И неожиданно для себя сказал Зине:

– Идём гулять, Зина. В парке должно быть хорошо сейчас.

Встал, почти вскочил, схватил Зину за руку и потащил её за собою, цепляя новой индийской юбкой, на улицу. Когда выбежали, Алекс разжал руку, почти больно: Зина вскрикнула, и бросился к выкрашенному голубой краской турнику. Подскочил, повис и... сделал пару ловких переворотов.

– Как хорошо, Зинда, какие звёзды!

Руслан, когда Алекс и Зина сбежали, взял ежедневники и буквально впился в них. То, что в них было, – противно и подлинно. Вызывало чувство омерзения и ужас, идущий из глубины, из самой последней человеческой тьмы. Перед глазами встало одно летнее арбатское утро (почему не сибирское и не питерское? там просто такого не могло быть), девушка с воспалёнными от недосыпа глазами, на мужской рубашке которой ещё держался запах бомжатника – брошенной квартиры, в которой они провели ночь. Девушка сидела прямо на земле, возле неё стояли три работы: формат школьного альбома, тушь, профили рыцарей в окружении символов и орнаментов. Она успела побывать дома и взять эти работы в надежде их продать. Взгляд можно было бы назвать погасшим; в выражении приятного лица было что-то слишком серьёзное и мрачное, отталкивающее, тревожное. Блондинка, худая, лет сорока, остановилась рядом и спросила скворчонком, как говорят русские, долго прожившие за границей:

– Чьё это безобразие?

Девушка заулыбалась, складками, почти насмешливо, и сказала:

– Моё.

– Семьдесят пять рублей – хватит? – женщина не шутила. Было лето 1990 года.

Куда и как потом ушли эти семьдесят пять рублей, Алина не помнила. Помнила только радость: она сидит в Пентагоне. Не надо выискивать и просить деньги на кофе – кофе можно купить, гнусный пентагоновский кофе в белом хрупком стаканчике. Можно даже поесть что-то мясное из пластиковых тарелочек, политое отвратительным жидким кетчупом. Но тогда она, кажется, подумала о деньгах:

– Надолго хватит.

На обложке ежедневника были темноватые пятна – не то чай или кофе, не то кровь. Это были не страницы и буквы, это были деньги. Уже больше, чем память; история для кино или телепередачи. Это было состояние. Но Руслан ещё не до конца продумал, кому и как преподнести эти писания. Лучше всего их переправить в мир кино. Да, именно – в мир кино. За историю о русской наркоманке, умершей в эпоху разложения тоталитаризма, могут ведь и неплохо заплатить. Но только надо точно знать, к кому и как подойти. Возможно, мысли о кино живо отобразились на подвижной физиономии Руслана. Читать эти мысли вроде бы некому, если не считать рывшегося в книгах Макса. Но Макс был в прихожей и настроен был скорее материалистично: искал ксерокс с перевода «Негативной диалектики» Адорно.

Руслан любил идеи, как любят телесные удовольствия. Одежду, вина, девушек с определённой внешностью.

«Какой прок от этих сакраментальных документов умершего времени для таких вот тупых совков, как Макс и Зина? Зачем им исповедь умершей герлы, прошедшей все круги ада и стяжавшей свободу ото всего без всякого Далай-Ламы? Уникальный экзистенциальный опыт, опыт катастрофы, в которой выжившему достаётся смерть. Интересы Макса не выходят за пределы публикаций в журналах и газетах, доступных всем совкам, а интересы Зины, полагаю, сводятся к фразе: будь моей женой, и потому она её никогда не услышит. Пусть Макс умён, пусть он неплохой манипулятор. Но что связывает его, совка, с этой умершей Алиной, крутой герлой, сначала подчинившей себе всё, а потом – отказавшейся ото всего? Она же велика, как Ульрика Майнхоф. Мощная женщина, ей любая феминистка позавидует. А эти двое – посудомойка и болтун, её братец. Что общего у покойной с ними? Нет, справедливость должна быть восстановлена, на то я крыса и стрелец. Эти записи вроде бы обречены дохнуть тут, в дремучем разлагающемся совке. Алина будет забыта. Но я выведу их на свет. И Алина прославится на весь мир. Станет ясно, что здесь всегда были и будут люди, никакого отношения к совку не имеющие. Ненавижу эту страну – как было бы лучше, если бы её съели, съели, съели».

Руслан вряд ли понимал, увлечённо рассуждая о величии покойной герлы, что за настроения им владели. Ему нравилась и, главное, – благородной казалась сама идея публикация дневников Алины за границей. Если бы вдруг Руслану внезапно в ту минуту явился бы Гурджиев и сказал: стоп, а потом задал бы вопрос... Гурджиев никогда такого вопроса не задал бы, но тут всё дело в упражнении «стоп» ...совсем простой вопрос: что ты, Руслан ненавидишь: совок или Россию. Не то или другое больше ненавидишь, а просто: ненавидишь – Руслан не смог бы ответить. Скорее всего, откричался бы, что это одно и то же, и что он всё ненавидит одинаково, и что его историческая родина – Дания. Но не было ни Гурджиева, ни слова «стоп», а был только Макс, на дне глаз которого Руслан уже сидел в магазине музыкальных инструментов в недорогом районе скандинавского городка и показывал подросткам, как брать основные аккорды. Заодно и проверял качество инструмента. Платили Руслану там, в его светлом скандинавском будущем, ровно столько, чтобы он снимал жильё, пил пиво и ел купленную на рынке развесную ветчину. К набору можно добавить пару клипов внезапно и ненадолго возрождённой «Кислоты», а так же неплохое мемуарное эссе о Янке, но это, конечно, не два исключения, а два подтверждения правила.

Макс усилием стряхнул с себя оцепенение: Руслан, продающий гитары, был картинкой яркой и очень правдоподобной. Вот ведь бывает! Помстится – и поверишь, что так и будет.

«Нет, таким здесь не жить, потому и бегут с корабля». Тут же почти испугался этой мысли, настолько она отличалась от его обычного половинчатого конформизма. Ведь сам без году неделя пил с одним, намереваясь вызвать его на то, чтобы визу сделал. Визу, конечно, не сделают. А если бы сделали – уехал бы, бросив Зину с маминой посудой на сквозняках хрущёвской двушки. Но вот чтобы как Руслик, выгрызать из мироздания непонятно какое благополучие – нет.

«Есть полуталанты, с ними всё понятно. Ну, здесь не дотянул, там оскорбился, потом петуха дал. Всё равно – пишут, говорят, приглашают. Внутри, конечно, всё от оскорблений горит, потому что правды нет – нигде, но свой шесток есть, и то, что качается шесток – показывает, что он есть. Быть полуталантом хуже, чем полной и наглой бездарностью, способной занять место таланта. Но есть и что похуже – полубездарности, в которых бездарность к таланту относится как единица к корню квадратному из минус-единицы. Другая половина в них – не знаю что, но чем они живут. О таких проще сказать – местами хорошие люди. Это какие-то зоны, ландшафты. Они добывают информацию, пишут статьи и книги, музыку, поют песни и снимают фильмы. Уверен, что если

бы какая страшная инквизиция на такую полубездарность нашла, она бы поначалу вела себя как последняя мразь, а потом, возможно, смирилась бы со смертью. А ещё потом, лет через пятьдесят, почти героя сделали бы – именно что почти героя. Но из того наша жизнь и состоит, из этих почти. Вот Руслан – он же именно полубездарность, а не просто талантливый музыкант. Да ну его. Крыса – как я сам – она и есть крыса».

Лицо Руслана бронзово улыбалось, он был явно в хорошем расположении духа и даже помог Максу помыть посуду. Пока мыл посуду, без умолку трещал.

– Огненные лошади! Особенно девчонки. Самые крутые сейчас. Они и музыку, и всё двигают. Янка была – огненная лошадь.

– По году, что ли? Восточный гороскоп? – Макс понимал, что, может быть, и нарывается, но Руслана он не боялся. И прекрасно знал, что за год огненной лошади, и какой год, – но от забавного Русланова упоминания стало невыносимо мерзко. Печень, наверно, шалит.

– Да, – бодро ответил Руслан, – Шестьдесят шестой. Врубись, какая инферна: шесть, шесть. Так вот, была у меня одна. Крутая – слов нет. Выпить могла море, и при том меня домой на руках донести. Ревнивая – чуть яйца не отрезала.

Макс представил рослую, плечистую бабу. Руслан показался даже щуплым.

– А сама хрупкая такая, глаза в пол-лица, зелёные – настоящие зелёные, такое редко бывает – изумруды!

– Говоришь, чуть яйца не отрезала?

– С утра устроила мне сцену ревности: да ты, да с ней...

У Руслана была жена, восемнадцати лет бракосочетались, прожили полгода, ну и потом – ещё девчонки.

– Кричит, пена на губах, губы красные. Я её – на койку, чтобы не кричала. К вечеру решили поехать на один сейшен. В автобусе вижу – армяночка, лет четырнадцать, а уже при формах, смотрю, наслаждаюсь, и одета – никакого совка, чулочки. Чулочки видно было под мини-юбкой. Красавица моя (а она всегда накрашена была как картинка) вдруг достаёт нож, наваливается на меня и взрезает мне ширинку. Говорит: хочу сейчас и здесь... А у неё внизу всё уже разрезано и мокро. Так у меня такое было... И вот, пока приехали – оба на седьмом небе оказались. Я потом в себя долго прийти не мог. Я ведь спокойный, домашний. Такие выходки не для меня. Выходим, а у неё, у красавицы – ноги дрожат, и бледная вся... Ей очень хорошо было. Едва не на руках её нес, а она смотрит в меня своими изумрудными. Настоящая ведьма.

– Красивая история, – Макс выглянул в окно: как там Зинда? Окно было во двор, на площадку.

«О чём с ними говорить? Ни жизни, ни вкуса к жизни – ничего не понимают!» – и Руслан вытащил из Максовой пачки «Явы» сигарету, смахнув с языка «Роллинг Стоунз» крупную каплю майонеза. «Беломор» нещадно драл горло. Но Руслан всем говорил, что курит только «Беломор». Кроме тех случаев, когда появлялись импортные сигареты. Руслан, прежде чем взять предложенное, любил порассуждать, что сигарет «Салем» или «Данхилл» в природе нет. Что курит только «Житан» или «Мальборо».

Зина почти плакала. Была счастлива, по-настоящему счастлива – и отчаянно несчастна одновременно. Алекс держал её за руку, Алекс вёл её за собою. Произошло то, чего никогда не могло бы произойти. Что за невидаль – молодой человек держит девушку за руку, ведёт ее, и, возможно, поцелует. Возможно, даже скажет драгоценные слова. Но ведь с ней, именно с ней – так не может быть. Она моет посуду, она даже красива. Но чтобы вот так, чтобы Алекс... Именно он... Эти светлые, очень светлые глаза, эти круглые сильные руки.

Алекс сделал последний переворот на турнике и мягко спрыгнул. К ногам Зины.

«А что теперь? Я её люблю, без дураков, и очень сильно люблю. Но некоторые связи, даже самые счастливые, надо рвать. Я не люблю Зину так, как люблю Алёну. Я не смогу даже говорить с ней; это случится очень скоро. Это странная, очень сильная любовь, очень похожая на ненависть. Потому и не могу, не могу. Да и что мне проку в ней и в Максе? Это рай, в котором личное общение, каждый день, уже не значит ничего. Вся жизнь – одни только воспоминания. Они оба – мой рай, а не Алёна. Я не хочу быть постоянно в таком раю. Я не хочу, чтобы Зинда полюбила меня, чтобы мы спали... Она ведь и сама не знает сейчас: хочет, чтобы мы спали, или нет... Чтобы потом начались ссоры и расставания. Нет, Зина не моя женщина, и никогда ею не будет. Хорошо, пусть так: у меня есть хоть какое-то чувство порядка, какие-то границы, а не одна лишь странная неприязнь. Нет, я для неё – то же, что и Макс... А Руслику морду начищу. Хотя и не хочется».

«Приду к тебе ночью и задушу, – на щеках Зины выступили пятна. – Когда буду рядом, ты уже ничего не сможешь поделать со своим желанием!»

А он вдруг обнял Зину, мягко, почти как ребёнка, и повёл куда-то прочь от дома.

– Хлеб в доме закончился.

Зина высвободилась из его объятий и сверкнула глазами:

– Получу на работе премию и куплю тебе белый фендер-стратакастер.

Алекс засмеялся – счастливо и беззаботно, как не смеялся очень давно.

– Вот тебе, мол, кабан! Играй, занимайся своим делом!

А ведь она учуяла своим ведьминским чутьём, как он высох, как страдает по музыке, как унижен этим унылым полуофициальным фестивалем, как не хочет на самом-то деле брать в руки гитару, не хочет. Но ведь как хочется этот проклятый белый фендер, очень хочется.

«Бессмысленно, всё бессмысленно. Конечно, я приду к тебе ночью, но ты меня прогонишь – вот я теперь какая умная. Прогонишь! И была бы счастлива не знать, что прогонишь. А я знаю, и знаю, что ни замуж не выйду, ни детей не будет. А откуда знаю – ну, потому что, может быть, ведьма, как они все любят говорить. И очень хорошо, что сейчас у нас с тобой такая крупная игра. Без размена, безналично. Зачем мне новые унижения и новые моменты радости, из которых состоит жизнь? Когда переписывала дневник Алины, нашла то же, что и в себе – нет её, жизни, и вовсе нет. Так что лучше тут, в гробу спящей красавицы, куклой на облачной подушке. А не там, живым манекеном, любимой наклейкой. Лучше здесь посуду мыть. И ничего не лучше. Это какие-то принципиальные вещи, которые я чувствую и не очень понимаю. Принципиальные! Да какие у меня принципы хотя бы даже ввиду твоего внезапного появления, когда всё православие во мне должно восстать, как при крике дьякона, а оно и не пищит. Но дело-то в том, что не пищит – ничего не значит, а что моё и что есть – значит всё. Это не принцип, это инстинкт. Это похоже на любовь. К чему... К этому трупу, уже много лет как трупу, который мне и пособия по безработице не выплатит. Но я снова не о том. Я здесь, и в другом месте жить не смогу. А через тридцать, скажем, лет – если жива буду, посмотрю на этих тараканов, вроде Руслика. Почему – тараканов? На людей. Как они сюда поедут – или не поедут. Но посмотрю, как им всем дело до этого трупа будет. Уверена, что будет. Но, может быть, потому злюсь, что мне никто уехать не предлагает. По большому счёту – уехать или нет, всё равно. Бессмысленно, бессмысленно всё. И холодно, очень холодно».

На тротуаре, выводящем сразу к станции метро, показалась невысокая сумеречная фигура в синем. Алекс заметил сразу, углом глаза, но значения не придал. Только почувствовав, как обмякла Зина, присмотрелся. Это был Кеша.

– А я к вам. Вот, несу, – и приподнял небольшую холщовую сумку с продуктами, – Зина, а тебе – подарок. Ты же хотела «Нивею».

Алекс, не объясняя, почему, оставил их вдвоем и направился к ближайшей телефонной будке. Он понимал, что потом будет винить себя, что оставил Зину, что вообще не хотел, чтобы Кеша возникал на горизонте его московского дома, что катился как камень.

– Подождите.

В будке набрал набивший оскомину желанный номер, стрельнул глазом на Зину с Кешей, присевших на скамейку, и стал слушать гудки. Долго ждать не пришлось. Трубку взяла сама, Алёна.

– Привет.

– Привет. Что делаешь.

– Ем семечки. Так и думала, что это ты. Как ты?

Внезапно подступила тошнота. Как он не любил этот её участливый тон! Уж лучше бы ругалась: дрянь, бездельник, попрошайка. Но она выше ругани. Это унижает.

А Кеше вспомнилось, пока смотрел, как Зина поправляет упавшие на лицо локоны, сегодняшнее утро. Он получил смешной гонорар в «Газете ужасов», за плоскую историю. Кеша написал эту историю на машинке, за час, под впечатлением романа Стивена Кинга, купленного пару лет назад за 350 рублей, в которые, скорее всего, вошёл и навар. И вот Кеша стоит в магазине, светит солнце. А он думает, что таких вот дурацких магазинов потом будет много, но что они будут наглые и грязные, а не как этот, наивный наивностью детской игрушки, с катастрофическими для жителей ценами и товарами, за которые за границей не дали бы и малой денежной дольки. Солнце ходит по полкам с товарами, не способными ничего вызвать, кроме смеха, но вдруг в воображении возникла Зина, надменно бросившая какой-то герле:

– Мне нравится «Нивея». Настоящая немецкая фирма. Не джойнт-сток компания.

Теперь поправляет густые волосы цвета топлёного молока. Рыжая она, как и Макс, вот что. Шампунь «Нивея», белый с синими буквами, стоил сто двадцать рублей – или тысяч. Кеша даже удивился, что так дорого – дороже куска мяса. Однако порадовался, что может сделать такой подарок Зине. И что её голова не будет пахнуть фруктовой смесью «Кря-Кря», который она просто обожала. Этот стоил что-то около червонца.

Алёна велела приехать в четверг. Нет, вещи от Зины и Макса он пока забирать не станет. Да их ещё и привезти надо, от Альберта, вещи – армейский подсумок.

Алекс шёл к подъезду и уже почти догнал Зину с Кешей. Как вдруг – словно кто окликнул – поднял голову. В окне его милой кухни скруглилась темноволосая голова Руслана, а Руслановы глаза, от грусти ставшие тоже круглыми, выражали только одно: какие здесь ленивые и неинтересные люди, какие здесь неудобные квартиры и порядки. И само собой ответилось откуда-то из безвозмездной глубины: жить невозможно, жить невозможно, жить невозможно.

Не только здесь, но и там. Хотя он, Алекс, там не жил, но чувствует. Как говорят тихо и веско – жопой. Если кричать про жопу, то она ничего чувствовать не будет, а если ей пользоваться как средством достижения цели, то превратится в унитаз. И вообще – кто и когда задавался вопросом, зачем человеку жопа? Но это его повело от злости на Руслана, всё это совсем не его мысли. А его мысли были о майоре, который оголодал, у которого свербит во всех местах от грязи, и из мелких ран стекает сукровица. Он видел такого. Майор шёл зимой, погоны новые, видимо откуда-то возвращался, совсем издалека, с таким же тощим подсумком, как у него. Вдруг немного поскользнулся, проехал на своих довольно приличных хакингах сколько-то, а затем снова пошёл. Тяжёлой, печатной походкой, как типографский станок.

Да, жить невозможно. Да, страна сама дохнет и всех, живущих в ней, убивает. И нельзя быть готовым к тому, что все твои силы и таланты уйдут в этот проклятый зыбучий песок. Что именно проклятый… Он, предположим, не проклинает. Но вот Руслан точно проклинает. А кто он сам, этот Руслик? Он что, надеется, уехав из своего города в Скандинавию, перемениться? Алекс посмотрит, как у Руслика это получится. А он давно уже превратился в лёд.

Про лёд – интересно. Потому что на льду поскользнутся не только враги, но и друзья. Даже самые близкие люди. Но одно утешение – они тоже лёд. Зина – лёд, Макс – лёд. И эта, из дневников – тоже лёд под ногами.

Руслан сидел на тёплом облупленном подоконнике, отражаясь в несколько помутневшем от старости стекле нелепо широкого окна, рассматривал двор, Зину, Кешу и Алекса, курил и прислушивался к воплям Роберта Планта, доносившимся из маленького магнитофончика, с таким же подслеповатым, как стекло, звуком. Сидение на подоконнике считалось скорее нарушением безопасности: гостей не следовало показывать всему двору, но время было ещё не слишком позднее, самое начало двенадцатого, да и лето.

– Ничего у них нет – а что тут делать? Ни гитары, ни колонок, ни видака. Хорошо хоть телефон есть. Надо позвонить, спросить, можно ли приехать.

Мысль напроситься ночевать к Лизе на Кутузовский была очень привлекательной. Но эти терракотовые тетрадки и синяя книжка сделали с Русланом что-то такое, отчего он был теперь как перетянутая струна: и звук есть, и всё же – предчувствие. Именно предчувствие. С предчувствиями у Руслана всегда было всё в порядке. И эта герла, то возникающая, то исчезающая в памяти. Он точно знал её, эту Алину, точно знал. Есть люди, которых все знают и все видели. Она такая же… с той разницей, что её нет, а вот «была» – не скажешь.

Дверь в квартиру открыта. Зина, Кеша и Алекс вошли, и Зина дверь аккуратно дверь закрыла: замок английский, цилиндрический – жёлтый. Руслан, услышав звуки, подумал было, что это Макс по прихожей ходит (как раз там стояли стеллажи с книгами) и бросил, как бы в продолжение разговора:

– А какие в Амстердаме колбаски на улице жарят! Жир как слеза прозрачный. И есть ещё – «руле» называется, смешная такая штука. Но очень сытная.

Алекс вдруг оказался возле Руслана, взял его, аккуратно, за ворот джинсовки, аккуратно же снял с подоконника, посадил на пол и задёрнул тёмно-синие гардины с голубыми рыбами, собственноручно сшитые Зиной.

– Ты, умница, не особенно светись, вот что.

– Псих, – ахнул Руслан, – наркоман.

Но драться отчего-то не стал. А тут из Зининой комнаты вышел Макс, почти грозный. Увидел Алекса, стоявшего над Русликом, Кешу и Зину, оценил сумку и обстановку. Но сумку сначала: морду Руслану начистить всегда время есть, а еда заканчивается быстро. Но стоп, где-то он эту фразу слышал. Спросил:

– Это что? Второй ужин?

– Там ещё и бутылка вина, – примирительно ответил Кеша.

Алекс и Макс переглянулись: на понижение не работаем. А вот Руслан от вина и ужина не отказался. Ему вообще в Москве всегда очень хотелось есть.

– А что ты в моей комнате забыл? – будто что вспомнив, встрепенулась Зина.

– Кое-что перепечатал. Не волнуйся, там всё на местах.

Макс был слишком серьёзен для всего, что в кухне происходило, но его серьезность могла быть и обычной комической миной. Словом, Макс как Макс.

Зина, сама того не желая, вскинула глаза на Руслана. Тот ответил довольно ласковым, почти игривым взглядом. Кажется, рад был, что гроза прошла стороною, и будто бы на фразу Макса и его отсутствие внимания не обратил.

«Ночью надо будет зайти. Там Зина. Поговорить с ней. Спросить про дневники. Или самому взять. Вон, рыжий, тучей – явно перепрятывал».

Вот ведь сдались ему эти дневники. Да кому они, кроме Макса, нужны-то? Нужны.

Из дневника Елены Петровой – Алины

«Июнь 1989. Были Макс и Руслан. Кажется, музыкант из Сибири, но их оттуда много. Макс правда переживает, что я болею и не могу работать, но что работу найду, надежды не оставляет. Они ужасно смешные, оба. Макс жаждет уехать в США, и я дразню его Максом США. Так нельзя, я всем теперь грублю. Но вот Руслану грубить надо, потому что он на редкость противный. Пока они сидели (я сказала: хотите воды – наливайте сами), зашёл Игорь. Он церковный староста, сосед снизу. Принёс пару банок рыбных консервов и ещё еды. Терпеть не могу рыбные консервы. Горбуша, кусок сыру и полкирпича хлеба. Он иногда приносит продукты, и я не знаю, что с ними делать. Есть нельзя, потому что я буду жить, а выбросить тоже нельзя, потому что это подарки. Подарки – святое. Тогда ложусь и мечтаю, что кто-нибудь сейчас придёт. Приходят, и я их кормлю. Иногда ем сама, но это не считается. Ем только, чтобы видели, что я ем, и что не голодна. Потому что ем мало. Есть хочется всегда и постоянно. Думаю сейчас только о еде, и это здорово. Иногда снится тортик с кофе по-восточному, в который положили гвоздичку. Несколько раз срывалась и съедала консервы, но потом снова хотелось есть, так что через неделю еда стала вызывать отвращение. Не консервы, потому что с голодухи просто проглатываю банку, не чуя вкуса. Кажется, что еда только растравляет голод. Одно дело – в компании таких вот смешных людей как Макс и Руслан съесть бутерброд, а другое – идея питания, в которой для меня уже наступил существенный сбой. Это радует. Но есть хочется всё равно.

Так что буду вспоминать московские тусовочные кофейни, какой в них кофе и что там едят. Начну с "Бисквита". Выпендриваюсь, конечно, круто. Делаю вид, что герой романа "Голод". Но у меня же всё по-другому. И в этом выпендрёж, что всё по-другому. Как я этого всего не люблю. А куда деваться? Они же приходят. Трубку я давно не беру.

Думаю, что если выдержу этот эксперимент, напишу завещание, квартиру, на Игоря. Он милый и кареглазый. Рассказывал, как в семьдесят третьем научился водить машину и катал девчонок по ночной Москве. Как попал в аварию, и его спас святитель Николай, который остановил машину, чтобы не перевернулась. Он ужасно депрессивный. Его депрессию можно сравнить только с тем, что в молодости он был ужасно красивым, я бы с таким трахалась. Красивый и депрессивный в равной мере. Ой. Ура, я написала ложь. Я же несколько недель как не думаю, что хотела бы трахаться с тем-то или тем-то; мне ни в голову, ни в тело эти мысли не приходят. А тут – инерция. Как смешно.

Руслик рассказывает что-то про величие Лед Зеппелин. Я их сама люблю, но в Цеппелинах Руслик ничего не понимает.

Ладно, очень хочется спать, а они всё сидят. Вот так возьмут, вынесут на улицу и повезут туда, где кормят и живут. А я не хочу. Надо бы их выгнать, а как?

Ужасно, что, может быть, Макс меня любит по-настоящему. А я о нём пишу. Это непорядочно».

Делать было нечего, кроме как пить чай до бесконечности. Зина всё порывалась уйти в свою комнату – готовиться к завтрашним урокам, и уже почти вырвалась из сладкого чайного безделья, но тут Кеша, добросовестно помогавший Руслану пить вино, сказал, почти стыдливо, в нечаянном и нежном озарении, какое представить в нём было невозможно:

– А мы вчера с Лаэртским всю ночь просидели. Он стихи читал. Удивительно выражает; все четыре слоя там, здорово и вечно.

– А гм. Гельдерлины, – тихонько прокомментировал Макс.

– Да? – оказалось, у Кеши довольно длинная шея. Он в самом деле не понял, что сказал Макс.

– Нет, ничего, я люблю стихи Лаэртского, – на Макса явно нашёл кураж. Рот Зины будто бы набух от ещё не родившегося смеха, а Алекс почувствовал, что начинает впадать в лёгкую приятную прострацию, хотя его несколько подламывало, но не сильно.

– Ведь что у нас раньше было? – разговорился Кеша. – Игра с символикой, самоуничижение, скоморошество, никакой величественности...

И начал читать стихи. А потом вдруг заговорил, скоро, будто себе под нос.

– Хорошо, отлично, но вот это: серп-молот. Слишком выпукло, слишком ярко, а до футуризма не дотягивает; идеи нет, одна обидка. А у Лаэртского – драма.

Кеша обожал слово «драма», оно его «завораживало», если продолжить на языке Кеши.

– Ммм, а? – Макс издал вопросительный звук, приосанившись. Звук был низкий, густой, что называется – чревный. Шаманский звук. Ухо Алекса оживилось: эх, микрофона нет. Записать альбом: «Зигфрид-шаман». Он бы с одним ритмом своим такого бы наворотил. А если бас и перкуссию этническую добавить, психоделика бы вышла. А там – аранжировать в трансглобалиндеп. Вдруг Макс пружинисто, быстро встал и прошёлся по кухне. Затем, поправив перед зеркальцем в прихожей воображаемый галстук, сказал голосом Раневской:

– Я моветон.

Алекс так и покатился, смеясь беззвучно, исчезающими кристаллами – и даже зашарил руками вокруг, ведь должна же быть гитара, в любом доме, где он бывает, должна быть гитара. Старенькая кремона нашлась под столом. Нейлоновые струны были ужасны, так что Алекс даже пожалел гитару: как же с тобой тут обращаются. Макс, вопреки ожиданиям, играть не умел, а Зина играла грубо, слишком напряжённо.

Раздались робкие нестройные жалобы: Алекс настраивал, уже почти ни на кого внимания не обращая. А тем временем Кеша и Макс беседовали о поэзии. Макс гоготал – так можно было назвать его округлую речь, пересыпанную архаичными: паазвольте! милейший! Лицо раскраснелось, глаза грозно заблестели. И вдруг снова:

– Я моветон! Я оператор уборочной машины!

Но едва произнёс – замер, остекленел, всего на секунду, всего на секунду. Он действительно увидел себя оператором уборочной машины в метро. Почти стариком. И этот старик вёл за руку пацана лет десяти. Это мой сын, мой сын.

Алекс настроил гитару и пошёл, каким-то десятым музыкантским ухом уловив паузу в разговоре: сансара, сансара. Он чувствовал, что играет и поёт много лучше, чем недавно в студии, но с этим поделать ничего нельзя было. Он очень любил вот так, необязательно, сидеть, играть – для радости. «Сансара» – была песня «Ахтунга».

Макс видимо слушал пение Алекса, но мысли его были совсем о другом.

«Вот эта любовь к наци, к названиям, знакам, жестам, как у Брайана Ферри – это что? Дурь – или же выражение самых глубоких и сильных устремлений людей, ищущих чего-то вне границ, вне границ всего? Ищущих какую-то религию завтрашних дней? Ведь схем, универсальных схем на самом деле не так много. И они до зубной боли очевидны, но в том-то и прелесть, в очевидности. Это как с блядями. Ясно же, что блядь, но какая. Так и всё это – Гурджиев, Адорно, Маркузе. Вот эти семнадцать мгновений весны – они когда-нибудь закончатся или нет? И что тянет к этому – звезда, фуражка, фасон, китель. Я знал чувака, у которого был настоящий китель нацистского офицера. Так его самого перепахал этот китель. Чувак служил в армии, и когда только поступил – наехали на него деды. А он вдруг вытащил из-под матраса этот китель и надел его. И что же? Все эти деды застыли, как будто превратились в камни. И он пошёл на них, ожидая, что бросятся. А на него плюнули: мол, что с ним говорить. И ушли. И потом, два года, никто руки не подавал. Настучали, конечно, вызывали, спрашивали. Но китель он отстоял. И когда вернулся, носил его, пока тот не сгнил. Что это: любовь к свастике, к зигзагам, это эсэс, щегольство – что это? Повреждение ума или же выражение глубочайших устремлений, которые родина дать не смогла, несмотря на точно выверенную мифологию, несмотря на кровь и победу? Почему мы все так любим кричать: хайль, хайль, хайль. Почему я сам, чьи немецкие корни возмущены унижением Германии во второй мировой от нацистов, только и жду, чтобы ответить: зигхайль».

Песня всем очень пришлась. Зина и Кеша даже подстукивали в долю, ладонями по полу, незамысловато, но чётко. У Зины вообще чувство ритма отличное. А вот Кеша, поэт, плавает. Он только в словах разбирается, аккомпанировать не может.

Руслан в общем веселии вроде бы участвовал, тоже подстукивал, даже издал несколько приятных необычных трелей ртом, вполне уместных, но всё же был тихо взбешён. Надо было бы Алекса переиграть, и немедленно, да ещё ввиду Зины. Но дневники, лежащие в её комнате, перевесили желание одержать мгновенную победу в посиделках. Трели Руслана, хоть и были уместны, всё же уменьшили впечатление от песни, в которой сансара и изображалась. Алекс рационального Русланова аккомпанемента не заметил.

– Хорошая песня, – сказала Зина, – и смешная, и страшная, огромная.

Зина сама была смешна, когда торопилась описать свои впечатления: порывистая, жаркая. Алекс ею залюбовался. Если бы не Алёна, если бы не четверг.

Из дневника Елены Петровой – Алины

«Июнь, 1989. Сегодня неожиданно для себя сняла трубку телефона. Звонила Аська, хотела приехать. Маленькая девочка в клетчатой зелёной куртке со смешной, немного неровной чёлкой, которую сама и выстригла. Я не понимаю, чем она занимается. Не то художница, не то поэтесса. Сейчас зарабатывает на жизнь тем, что торгует книгами. Мёрзнет зимой на улице, за лотком, а летом загорает. Ну какая из неё торговка? Хрупкое, тормознутое навсегда создание. Наверняка у неё снова какой-то неудачный мужик; у неё всегда... Она и замужем не побывала, кто её возьмёт такую. Но она хорошенькая и сильная, на самом-то деле. Не как я сильная, в упрямстве. Аська будет ныть, если кругом всё разрушится, вся жизнь, но будет копошиться, двигать лапками и обязательно что-то нароет, найдёт. При этом уверена будет, что ничего не получится. Когда была моложе, у неё были разные идеи, и она жила от идеи. Всё, всю свою жизнь подбирала под идею, даже внешность. Решила – и оформила. А теперь – иначе. Живёт от расклада, от ситуации. Наверно, в каком-нибудь своём свитерке приедет. Она их любит, свитерочки.

У нас с ней общее – что всё закончилось, что умерли, и что теперь идёт послесмертие. Она вот работу нашла, и когда потеряет (а она обязательно эту работу потеряет, по-

тому что заморыш, а там силы нужны) будет искать другую работу. Я – итоги подвожу. У себя на диване, ничего не делая, а в большом количестве употребляя воду из-под крана и моясь два раза в день с шампунем. Аська тоже мёртвая, как я. Но она живёт другими – с кем на работу едет, какие видела глаза, слова какие слышала, прочее. Какую дублёнку, наконец, хочет купить, и какие во всём этом смыслы: тревожно, страшно – или благостно. А мне всё равно, что там снаружи происходит, только иногда кнопка срабатывает. Аська не плывёт по течению, потому что течение – она сама и есть, она его делает, хоть маленькая и ничего не умеет толком. Ну зачем ей работа? А потому что мужик унизителен, хотя она вовсе не лесбиянка. Она зависеть от мужика не хочет, и в этом я её очень понимаю. Не потому что зависеть унизительно, а потому что эта зависимость конечна, и этот гипотетический мужик потом долги будет спрашивать. Однажды Аська просто уехала с точки с выручкой, сто семьдесят тысяч рублей, бросив книги. Её искали, не нашли, да она и не особенно пряталась. Смешно, но точку не разворовали. Приехал разносчик к вечеру – а книги лежат, почти все в целости и сохранности. Взяли, может быть, штук пять, не больше, что сверху лежали. И всё же – нет у Аськи сил не волноваться по поводу собственной смерти, нет сил просто лежать на диване и ждать – когда. Боится остаться одна. Совсем одна. А я не боюсь. Мне повезло – ко мне приезжают. К ней, возможно, буду приезжать редко, и ей бездельничать много хуже, чем мне. Никто не покормит, никто не вызовет скорую. И всё же – нет у неё сил умереть, нет. А у меня есть, я уже стоять не могу без головокружения. И в обморок ухожу, не зная, вернусь ли.

Аська приехала, в зелёной куртке и свитерке. Это в жару-то. Еды не привезла, она умная, и понимает. Но привезла немного кофе, мы его с удовольствием выпили. Всё смеялись, как у меня глазки заводятся после кофе. Давно не пила, забыла, как от него сердце поднимается. Аська читала свои стихи. В них есть обожание. Она прекрасно обожает, но описать это не может. Она добрая очень и чуткая. Если озлобится и станет резкой, сможет горами играть. Она сильная. Но вот это всё – работа, жизнь – зачем ей это? Лучше пусть тряхнёт от плохого раствора.

Только Аська уходить собралась, пришёл Игорь. Посидел, посмотрел на меня.

– Ешь?

– Ем.

– Что принести?

И я сказала, с какой-то неминуемой радостью:

– Кофе. Немного кофе.

Ужасно как хочется, чтобы эта рыжая, Аська, сидела бы всю жизнь возле меня, смеялась, подкладывала под спину свою бледную крепкую руку, чтобы помочь мне сесть. И не скажешь, что заморыш, хотя иногда руки у неё ничего не держат, она просто не сжимает кисти. Чтобы делала мне кофе и подносила ко рту чашку. Чтобы вот так – в тепле и заботе. Потому что уже не согревается тело, и оттого, что не согревается, тупо болят чужие ноги. То есть ноги мои, но я очень чувствую их чужеродность.

Но нельзя, катастрофически нельзя. Иначе я буду жить, а я настолько гордая, что позора жизни мне не вынести. Аська – может, она, наверно, святая. Для меня мерилом святости всегда было – а тем более сейчас – нечувствительность к позору. Она понимает, как её унижает ежедневность: газеты, люди, плохая еда, плохая одежда. Но она живёт, и даже спина у неё прямая пока. Вижу и не сомневаюсь, что это не от гордости. Не потому что она решила быть сильной, или какая-то там гармонически развитая творческая личность. Она намного выше всех нас в этой своей житейской тупости, потому что у неё нет тыла: отец-мать, сын-дочь, дом, работа. Мать есть, конечно, но это Аська ей мать.

Ужас в том, что то, что должно быть тылом: родители, дети – вдруг и внезапно прогнивает как половицы, как в сказке. И человек проваливается в себя, в свою бездну. И тогда конец. Если нет опыта одиночества – жизнь становится хуже смерти. У Аськи есть

мы – я, ее мужик-торчок, в которого уходят все её силы. Мы не можем быть тылом, нам её не поддержать. А она может нас поддержать. В этом Аська настоящий художник. Настоящего художника не видно в его картинах. Аськи в этой нашей жизни почти не видно. А я сейчас, после её посещения, радуюсь, как не радовалась давно, и видела в её огромных от боли в позвоночнике зрачках, как я прекрасна. Я так не могу, как она. Мне рассказывали о компьютерах. У Аськи, наверно, сгорбится спина, когда она станет много сидеть за компьютером. Отчего-то мне кажется, что именно так и будет.

Аська ты Аська, зелёная девочка в рыжей куртке».

7.

Потом снова пили чай, с Кешиным вафельным тортиком. Руслан ухаживал за Зиной: то тарелочку, то чашку подаст. Алекс казался беспечным, что в общем на него не походило. Кеша преимущественно молчал, но время от времени бросал на Зину тёмный угрюмый взгляд. Макс окончательно убедился, что в крохотной их с Зиной кухне происходит игра. Эта игра его забавляла, хоть и касалась его самого. Однако разворот этой игры мог оказаться очень неприятным, и Макс его всячески старался предупредить. Но в то же время – нарушений логики в этом предполагаемом внезапном повороте событий не видел: одно естественно следовало из другого, если учитывать характеры игроков. Он желал этого разворота и надеялся, что сумеет его пройти, как участок горной дороги на большой скорости над бездной. Ему казалось, что учёл и скользкость Руслана, способного и на мелкое воровство, и на нелепое хамство; всё это были человеческие черты. Его не волновала способность Кеши сплетничать и буквально портить воздух своими словами. С Алексом, в ярости способным всех побить и выкинуться из окна, не сломав при этом ничего, Макс договорился бы, да и Алекс занят был совершенно другим, о чём Макс только догадывался, но в точности знать не мог и не хотел. При том, что выпил полбутылки – ну или почти полбутылки, – Макс достаточно миролюбиво и трезво смотрел на игровое поле и всех, по нему ходящих.

Одного он боялся, и в одном не хотел себе признаваться: игра шла вокруг очень дорогой ему вещи. Он сам, поддавшись сырому, хлюпающему чувству азарта, начал эту игру, и теперь ведёт обстоятельства к тому, чтобы остаться без этой вещи, которая для него была равноценна Зине и квартире. А вот почему? Саморазрушение? Да, только оно – и это его, Максов, характер. Всё хорошо, но надо сделать так, чтобы стало плохо. Вот этот курс – плохо – как будто указан какой Бегущей по волнам. Везде чудились границы, и эти границы надо было преодолевать, одну за другой, освобождаться от привязанностей. И в некоей книге, которая никогда написана не будет, ужасный белый махатма и гуру чревным голосом вещал: надо быть свободным, надо освобождаться от привязанностей. А ученик тащит на потрескивающей от усилий шее камень и вопит: я сжигаю свою карму, я сжигаю свою карму.

Ни фига. Он, Макс, не сожжёт свою карму, и дневники всё равно останутся у него. Но как он красиво работает, дразня Руслана и Алекса! Как лицо у Руслана изменилось, когда он увидел эти записки, за которые на западе так просто и цента не дадут, но ведь можно подумать, что они стоят дорого, очень дорого, и Руслан таков, что подумал. Руслан любит взвинчивать: настроение, цены, он любит торговаться. Ну так пусть покажет, на что способен. А мы ему подыграем. Но зачем, зачем так обращаться с собой и дневниками? Он, Макс, что – не любил Алину, он что – ничем не дорожит. Но какая разница, какая разница, когда всё так бессмысленно.

За полем зрения осталось и то, что он, Макс, не является единственным наблюдателем. Макс, конечно, знал, что он тоже объект, но самолюбие мешало. Даже если бы он задумался, как выглядит его поведение, да и он сам, со стороны, вряд ли у него сложи-

лось бы верное представление. Но, может быть, Руслану удастся возбудить интерес к этим запискам давно умершего человека, ведь Макс всё равно об этом узнает. Останется чувство исполненного долга. Какой же он пошляк всё же, какой пошляк. Даже это: пошляк – думалось не без любви к себе.

Кеша очевидно пришёл к Зине, ухаживает за ней. Он и посуду будет мыть, и потом просидит со своей тетрадкой в клеточку до утра возле Зининой двери. Смешно? Смешно, но этого не отнять: Кеша любил. Нелепо, смешно, недостойно – потому что такое унижение любить нельзя. Кеша кроме этого, готовки-мытья, ничего Зине предложить не мог. Хотя как сказать. Его странные, дикие стихи уже печатали в толстых журналах. Одна известная, лет пять назад ещё очень красивая поэтесса, с павлово-посадским платком на голове, который, кажется, никогда не снимала, так и сказала:

– Я с ним спала. Потому что прочитала его стихи, и не спать с ним после его стихов было невозможно.

Роман был недолгий, очень нежный, но Кеша напора поэтессы не вынес. Поэтесса была невысокая хрупкая блондинка, замужняя женщина, а муж был очень верующим человеком. Расстались, но Кеша продолжал относиться к поэтессе с предупредительной нежностью. Однако стихи – это не всё, что Кеша умел.

Множество бульварных газет печатали абсолютно выдуманные, но соблазнительные истории: про любовников, про привидения. Все их под разными именами написал Кеша. Редакторы газет разъезжали на иномарках, а Кеша довольствовался гонорарами. Деньги эти всё же позволяли содержать жену и сына, пушистого, как обезьянка, мальчика, которого Кеша баловал. Да и жену любил. Но так сложилось, что из семьи его иногда просто выбрасывало.

Порой посреди общего тягучего арбатского веселья, особенно летом, Кеша садился на тротуар – глаза покрывались слезами. Юные красавицы смотрели на него, слушали, и им открывалась невесть какая драма, которая для Кеши была обыденностью.

– А вот у моей жены...

Посвящение жене, одно из лучших и самых причудливых стихотворений Кеши, начиналось словом «сестра».

Не то было с Зиной. Она была неприятна, почти враждебна. Но подобного чувства Кеша ещё не испытывал. Невозможно было быть такой привычной и домашней, но при этом повелевать всем и вся. Именно такая – только здесь и только сейчас. Два-три года – и таких женщин уже не будет. Появятся прекрасные страдалицы, железобетонные доходяги, которые возведут дома, откроют офисы, поведут всемирную торговлю и возвестят пришествие тотального траха. Милые, прекрасно устроенные и подправленные салонами красоты, несчастные и излучающие благополучие. Абсолютно пустые внутри. Бездарные, как подборка стихов маститого поэта в последнем «Дне поэзии». Кеша видел таких в редакциях и на немногих вечеринках, куда приглашали его редакторы газет и журналов. Но Зина была не то.

– Гениальность в чистом виде. Воплощённая гениальность. Гениальность, наглядным пособием – что и как – изображённая в одном женском человеческом существе, ещё не знающем о том, что она на самом деле есть. Безвкусная, как вода из-под крана, ужасная как хозяйственное мыло – и великая, великая женщина.

Часам к двум Зина начала готовить постели. Матрас был один – для Алекса, на кухне. Руслану Макс постелил у себя, на полу, спальник. Сначала вообще предложил половину своего дивана, но Руслан отчего-то отказался, и довольно резко. Квартира выглядела почти как несколько лет назад – половая жизнь. Постельного былья было немного. Алексу нашлись чистая простыня и пододеяльник, что было прогрессом. Макс помор-

щился, вспомнив, с каким странным чувством принесла Зина домой новый комплект постельного белья. Она так давно ничего подобного не покупала, что даже не очень поняла, что именно купила. Как будто не постельное бельё, а антиквариат.

Алекс, опередив Зину, оказался в ванной – принять душ. Кеша сказал, что уйдёт с рассветом, что стелить не надо, что будет писать, и попросил было машинку, но Зина отказала, хлопнула дверью. Через некоторое время вышла, держа в руке кусок розового мыла в красивой обёртке, сверкая загорелыми икрами под застиранной индийской туникой. На самом деле это была купленная на Киевском рынке за червонец юбка, просто очень длинная и почти прозрачная, надетая под мышки. В ванной ещё пахло Алексом. Везде, даже на небольшом помутневшем зеркале, были крупные брызги.

Руслан всё же был пьян, хотя не сильно, и лёг на спальник без обычных возмущений. Хотя в его вздохах было что-то о диванах, видаках и новых альбомах Дэвида Бирна. Макс лежал на животе под настольной лампой и в который раз перечитывал плохого качества ксерокс с перевода «Негативной диалектики» Адорно.

– Врубы. У него были врубы. Канал.

Врубы значило – откровения. А канал – такое состояние сознания, при котором эти откровения возникают во множестве. Немного смешно говорить «откровение» там, где скорее подходит «концепт» или «аксиома». Но Макс научные термины недолюбливал, потому и возникли эти «врубы». Именно врубы. Если один «вруб», то не интересно. Это как в игре, где надо набрать, скажем, тысячу очков. Если сотня – прилично. Если одно – смешно.

Руслан проснулся внезапно, как будто кто его подбросил. Посмотрел на часы – пять. Всем говорил, что это швейцарские часы, а это была отцовская «Слава», просто циферблат – китайский, ремонтировал ещё в Сибири, у китайцев же. За дверью прошёл сквозняк, но странный: будто кто небольшой, босиком. Руслан знал, что Кеша не спит, и подумал совсем просто: до ветру пошёл. Мне бы тоже надо.

...Всплыло, зачем он здесь и что подарил ему прошедший день: записные книжки Алины. Они – у Зины в комнате. Руслан считал, что тёмные Зинины глаза выражали вечером влечение и симпатию. Может, она ещё не вовсе забыла его. Для Зины невозможно было так просто, за четыре года забыть всё пережитое. Он ведь был у неё первым. А она ему нравилась тогда – нравилась и сейчас. Тогда была малолетка почти, глупая, неумелая. Но потом – очень и очень ничего. А вчера – так просто красавица. Как странно с этими женщинами. Пока их нет, ну, или её – ничего особенного. А вот когда появляется – не оторвёшься. Макс вдохновенно сопел, лёжа головой на каких-то листах, хотя лампа была выключена. Это Руслана насторожило. Если бы рыжего действительно сморило, лампа горела бы. Однако джинсы валялись возле дивана, спящая фигура была завёрнута в пододеяльник, а не лежала на покрывале, как помнил Руслан перед сном. Значит, Макс действительно собрался спать, а потом решил ещё почитать, но сморило, и свет выключил. Поскольку был выпивши, про листы забыл, или там было нечто очень ему дорогое. Подходить к спящему, проверить, насколько крепко спит, Руслан не рискнул.

Встал, скользя вышел за дверь, далее заскользил к сортиру – там было свободно, однако вода шумела – сделал всё, что нужно. В ванной остановился – подумать, решиться. Помыл руки, поплескал водой в лицо и посмотрел в зеркало. Там отразилось нечто довольно приятное, темноглазое с остреньким подбородком и чувственными тенями на веках – недосып, недосып. Руслану не шла бледность, а сейчас он был бледноват. Ну да ладно.

Будет или нет шум из-за пропавших записей, Руслана не волновало. Он опасался только быть пойманным на месте. Даже то, что дневники никому на самом деле, кроме Макса, не нужны, что такого добра много – Руслана не остановило. Он был абсолютно уверен в себе. Он сможет очаровать дневниками какого-нибудь звёздного продюсера:

дайте только добраться, дайте только визу. Но и относительно визы Руслан был спокоен: Лиза сама назначила день регистрации брака в Осло, а её отец всё готовит для этого. В начале сентября уж точно будет Осло, а не Москва.

Кеши в прихожей возле Зининой двери не было. Ушёл, наверно. Метро-то открыто; вот сейчас и открыли. Но дверь в Зинину комнату была приотворена, как будто кто вошёл или вышел. Это насторожило, напугало. Это привлекло, ужасно привлекло. Руслан застыл в немоте – но всего на мгновение. Назад идти смысла не было. Руслан, как некогда перед выходом на сцену с еле починенной гитарой, вдохнул – и шагнул в комнату Зины.

Внезапно вспомнилось, как они шли под дождём. Она – босиком, держа в руках дурацкие лодочки из детского мира, а он пел:

– I want you.

Потом догнал её, поднял на руки, попытался закружить, но не хватило сил, опустил на землю – неловко, в лужу. И сказал, задыхаясь от какого-то странного счастья:

– У нас с тобой не венера в гороскопе совпадает, а нептун. Это сильнее.

В комнате Зины не было, зато сидел Кеша на стуле у стола и смотрел в окно. Перед ним лежала тетрадка, на стопке таких же тетрадей; его ручка затерялась среди ручек и карандашей, которыми Зина подчёркивала ошибки.

Глаза Кеши поблёскивали из сумрака. Руслан и представить не мог, что у Кеши такой взгляд. Рентгеновский.

– Хорошо здесь, – сказал Кеша, – я раньше никогда не был в этой комнате. И вид из окна чудный.

Затем встал и вышел. Но уже за порогом комнаты (порога не было, был след от плинтуса) оглянулся и посмотрел прежним, совсем не Кешиным взглядом. Руслан остался один в комнате. Теперь было всё равно. Его засекли. Надо было искать дневники, пока Зина не вошла. Долго искать не понадобилось: коленкоровый ежедневник с торчащими в нём листами, сложенными пополам, лежал на подоконнике. Руслан схватил, раскрыл, начал читать. Это была первая часть. В перепечатке – вторая и третья, насколько он смог увидеть. Где второй ежедневник и синяя тетрадь для записи кулинарных рецептов, выяснять времени не было. В любом случае часть оригинала – у него. Руслан засунул ежедневник за пояс джинсов, вышел из комнаты и... пошёл на кухню. Выпить чаю. На кухне оказались Кеша и Алекс. Кеша насыпал в турку молотый отечественный кофе. Чашек было три. В ванной кто-то был: шумела вода. Судя по всему – Зина. А Макс что – спит? Внутри у Руслана похолодело: так он и поверил, что Макс спит. Но что же тогда он делает?

Чьи-то несмелые нежные пальцы погладили по груди – будили. Алекс знал, что это Зина пробралась к нему, и открывать глаза не стал. Тогда она легла рядом, вытянулась во весь рост, обтекая его тело, и снова принялась гладить подушечками пальцев.

– Иди, Зинда, иди спать, – его рука вдруг коснулась её лба, хотя он думал, что промажет. Удивительно как он чувствовал её тело. Не открывая глаз, мог приподняться и поцеловать её в глаза. Долетало дыхание её рта – жаркое, влажное.

Она перестала гладить, смирилась, затихла. Это было неприятно.

– Не уйду.

Тогда он приобнял её и сказал совсем по-отцовски:

– Будем спать вместе.

– Да, – ответила она.

– Как говорят счастливые люди: я расскажу тебе сказку.

– Сказку! – её лицо вдруг оказалось рядом с его лицом. Но что это могло изменить?

– Я люблю тебя, Зинда, я тебя люблю. Мы любим друг друга.

– Любим? – переспросила она. – Любим?

– Любим, – ответил он и попытался её уложить, отстранить от себя.

Кожа его медно поблёскивала в сумеречном свете, а в глазах остановился грустный блик. Всё бессмысленно. Как всё бессмысленно. И эти его слова. Алекс не жалел о сказанном «люблю», и изменой Алёне не считал. Но поддаваться не следовало. И вдруг – Зина действительно задремала. Коротким, отчаянным сном, а из глаз – он скорее почувствовал, чем увидел – потекли слёзы. Он провёл по её щекам. И вытер руку о её волосы. Спи, спи, Зинда.

На алюминиевой турке заметны были следы тесной жизни. Длинная прямая ручка подозрительно свободно ходила в Кешиных руках, на боках были царапины, а на левом зияла довольно заметная впадина. Тем не менее отечественный молотый кофе, который Кеша непонятно каким чутьём отыскал в кухонном шкафу, пах довольно приятно.

– Как в Джанге, – Алекс повернул голову на запах: похож, очень похож. – Гвоздика?

– Ещё – корица и кардамон, мелкий, белый, – улыбнулся Кеша. Он выглядел почти счастливым. «Стихотворение написал, что ли?» – Руслан насторожился. Кешу он знал не много, но людей чувствовал. Когда из этого поэта идёт такая странная радуга эмоций, которую можно просто назвать счастьем, добра всем не жди. А почему? Потому что – Кеша. С кофе он играл. Когда пенка стала плотной и пошла вверх, Кеша турку снял. Докурил сигарету (ему было всё равно, что курить, а таких людей немного). Затем снова поставил турку на конфорку, и снова пена, обманутая теплом, пошла вверх.

– Как любовь, – сказал Кеша, видимо, не думая, что его услышат. Но его услышали: и Алекс, и Руслан. И молча согласились, хотя не без доли иронии.

Руслан, против ожидания, чувствовал себя спокойным и совершенно в своей тарелке. Он так и сказал себе: в своей тарелке. Будто и не было предутреннего визита, будто и не сидел странный поэт в комнате Зины, когда она сама была неизвестно где. Что Зина могла быть рядом с Алексом – Руслану отчего-то и в голову не пришло. Поправил записные книжки за ремнём джинсов и, хмыкнув, мол, в тубзик, поспешил к своей небольшой сумке – положить туда добычу. Книжки казались почти раскалёнными.

Тем временем Зина вышла из душа – невыспавшаяся, бледноватая, но ужасно милая. Алекс поймал её, приобнял и посадил на Кешин стул.

– А теперь будешь пить кофе.

Зина заулыбалась и, кажется, без всякого осадка. Посмотрели друг другу в глаза и заулыбались ещё шире, почти глупо. А Кеша меланхолично разливал душистый напиток.

– Мне, мне тоже! – Руслан прибежал и скорее-скорее потянулся к наполненной на треть белой чашке с яблоком на боку. Чашку эту Кеша оставил себе.

– Ну ладно. Быть, значит, второй порции.

Кеша, разлив напиток по чашкам, пошёл к раковине – помыть турку и продолжить приготовление кофе.

День начинался мирно и дружно. А в комнате с зеленоватыми шторами сидел одиноко человек и смотрел в щель между шторами.

– А вдруг? А если? Я, конечно, предатель. Но неужели ни одной складки... А всё так и должно быть? Всё присваивается, всё-всё... И никаких воспоминаний, в которые можно убежать?

Макс решил всё же встать. Поскольку шум на кухне явно утренний, и пропускать утро не хотелось. Отчего-то довольно долго смотрел в то самое зеркало, в которое пару часов назад смотрелся Руслан. Зеркало было тяжёлое, с блестящими когда-то скобочками, неправильной формы, кажется, ещё семидесятых годов.

– Скорее всего, взял. Ходил же он ночью по дому, я слышал. Если взял – я дурак, без моей подачи он не сыграл бы. Но тут не то важно, что я сам себя под огонь подставил.

А то, как Руслан теперь запляшет и как скоро побежит за границу, показывая тем свою небольшую сущность. Музыкант! Да какой он музыкант, нет такого музыканта в рок-н-ролле. Но если я сделал хуже не только себе, и будут последствия? Если я выпустил джинна? И уже началась цепь событий, которую остановить не могу. И потому сейчас смешон со всеми своими претензиями. Одно лишь сомнительное утешение: Руслан умеет играть на гитаре и записал несколько кассет с песнями. Но он – никто в музыкальном мире и никем не станет. Я не умею играть на гитаре и не пишу тексты. Я никто и нигде. Я человек-невидимка.

Он снова посмотрел в зеркало и оторопел: там по залу новой станции метро шёл человек, чрезвычайно похожий на него самого, и вёл за руку одетого в яркую куртку мальчишку.

– Это мой сын. Мой сын.

В метро Кеша сразу заметил индийские джинсы на плоском девичьем заду. Кто? Он наверняка знает. Сил было немного, хотелось спать, догонять он не собрался. Но что-то в нервной, не совсем твёрдой походке, в покрое джинсов – было такое, что Кеша всё же посмотрел, кто она. Аська. Почти такая же, как была – бледная, рыжая, с этими её каштановыми ресницами над бесцветными глазами. Даже клетчатая рубашка – почти та же. Невозможно так долго не меняться. Та самая Аська, она ещё газетами торговала и приезжала к Алине. А он тогда ездил к Ксане, кинувшейся зимой того же года, передоз.

Аська была не из системы, скорее цивилка. Связана с системными людьми была через своего мужика, выпускника ВГИКа, Толю, который теперь, должно быть, стал известным режиссёром. Толя был, что называется, прикольщик – кажется, что совсем несерьёзный человек. Отношение к системе у него было потребительское: ах, какие фенечки-пацифички-хайратнички, ах, как они втираются, ах, как винт готовят. Но Аська винт не употребляла, она только пару раз пробовала черняшку. Вот ведь этимология: белый – винт, ускорение, системное мышление; чёрный – опиум, импрессионизм, магия. Тьфу. Аська была дочкой сошедшей с ума, но ещё очень известной актрисы, находящейся по большей части в лечебном учреждении. Изредка брала маму домой, но ещё до того, как входили в квартиру, начинала жаловаться. Сначала – сама себе, затем – друзьям по телефону. Мама была удивительным подарком; непонятно, как Аська вообще её выдерживала.

Вопреки надеждам матери и отца, тоже актёра, Аська закончила педагогический, некоторое время работала в школе, но учительницей себя не видела. Потом грянули великие перемены. Аська решила, что лучше хлеб, чем обещания, и впряглась в торговлю. Торговля была – смешная. Зарабатывала Аська мало, едва самой хватало, работать явно не хотела, но как-то всё дело шло. Толя возник на фоне странных знакомств Аськиной мамы. Почему он заметил Аську – неясно. Но будто учуял, что эта рыжая будет его нянчить, как маленького ребёнка. И вот они уже несколько лет вместе. Толя, конечно, спит с другими девушками и женщинами, Аська знает. Не то чтобы мирится. Она ведь понимает, в каком ужасе по самое темя. А так, играет в сестру милосердия там, где сестёр милосердия быть не может.

Аська будто услышала Кешин взгляд. Остановилась, обернулась. Поздоровалась. Что-то на этой станции было со светом. Кеша чуть вздрогнул: остренькие Аськины черты вдруг сложились в лик «Весны» Боттичелли. Или ему с недосыпу показалось?

– А я на работу. Теперь на работу хожу.

Кеша хотел спросить про Толика, но не стал. Мало ли что, всё же несколько лет прошло. И то Рождество под звёздами, за городом. То железно-синее, чрезвычайно ясное небо.

– А Толик женился. То есть он, конечно, никогда никого в загс не поведёт. Но живут вместе.

За Аськой это водилось: читать в соторчальниках, пусть даже бывших. Вот кто ведьма, даром что нелепа и ничего в жизни не умеет. Какая у неё там работа, она и вахтёром-то работать не смогла. Разве только временно.

А она продолжала. Видимо, волновалась.

– Марина Толина в международной компании работает, манагер, или как там у них это называется. Мы с Толиком её больному сыну недавно подарок покупали. Что она выбрала.

Она... мы с Толиком. Значит, всё по-прежнему. Как это грустно.

– Что за болезнь у ребёнка?

Кеше вспомнилось, как работал воспитателем в детдоме. Долго. Трудно. Пил. Потом ушёл – детдом расформировали. Где они все теперь – дети, Анечка-повариха?

– Кажется, психоз какой-то. Очень агрессивный ребёнок.

– Работаешь-то где?

– Дома, – ответила Аська, – что-то пишу, ищу, а потом в редакцию отношу. Это называется – статьи.

Конечно, к её статьям должна быть масса претензий. Но вокруг такое, что и её статьи сойдут.

– Да, – она приблизилась и словно бы посмотрела Кеше в мозг. Неприятно. Глаза оказались светло-зелёные, без карего и серого, ужасные глаза. – Да, ты не можешь подсказать кого-нибудь... Нужен человек для работы, ну чтобы в компьютерах шарил.

Перед глазами возникла фигура Алекса, настраивающего гитару.

– Знаю.

Аська всполошилась, несколько раз переворошила, едва не выкинув все вещи, свою мягкую небольшую сумку и, наконец, достала простенькую, но на довольно дорогой бумаге визитку. Протянула Кеше:

– Передашь?

Повертев неловко, спрятал визитку. И сообразил, когда и где сможет увидеть Алекса. Или его Алёну.

8.

Походка у Макса явно не утренняя – пружинистая, будто и не пил вчера, и вообще ведёт здоровый образ жизни. Зина про себя отметила походочку и спряталась в комнату. Уверена была, что Макс начнёт представление, и участвовать не хотела. До выхода на занятия оставалось немного, а в голове из английского было только: Алекс. Макс был чрезвычайно возбуждён, возбуждение было злым, медленным и довольно громким. А это выводило из себя больше, чем недолгие вопли.

– Я что вам – суперфиш? Рыбка в очках? Да вы тут живёте!

Макс на секунду остановился, лицо было как у африканской маски – деревянное, смешное и страшное. Очки на очки даже не смахивали, а нижняя челюсть так и ходила.

«И как у него получается?» – почти легкомысленно подумал Руслан, совсем забыв о том, что лежало в его сумке – то есть ворованная вещь.

– Ну и где, где они? Где записные книжки?

Макс вытащил почти наугад из висящей в коридоре книжной полки несколько томов (в квартире полок было множество), швырнул вдоль по коридору, перевернул галошницу, довольно громко, и прошёл на кухню. Кофе ему не приготовили – Кеши ведь не было.

– Кто взял? Кеша взял? Голуби вы каннибалы.

Алекс оторвался от кремоны, которую непонятно зачем, возможно, ввиду Максова возбуждения, принялся настраивать. Театр его не пугал, но было неприятно. Макс, на-

конец, сел на лавку, как раз напротив, и несколько раз, даже подскакивая, громко постучал затылком об стену.

– Унтер-офицерская вдова! Я сам себя высек! Не надо было хвастаться дорогой мне вещью.

Алексу было всё же не по себе. Поверить он не мог, что Макс всерьёз может обвинять Кешу в воровстве дневников. Кеша слишком и всегда занят собой, а теперь – и Зиной. Про дневники и их значение для мировой контркультуры он и не подумал бы. А вот Руслан с блаженной улыбкой следит за этим театром, не соображая, что относится он именно к нему. Но доказать ведь ничего не возможно. Разве только обыскать Руслика и его сумку. Но это требует усилий, да и лениво, и неприятно. Надо бы Макса перенаправить на Руслана. Однако разумные попытки: да сядь ты! – ни к чему не привели.

– Голуби вы каннибалы, – повторил Макс и... вдруг взял ведро с мусором, подхватил, гремя пустыми банками, лежавший тут же пакет и пошёл выносить.

Зина, набравшись смелости для предстоящих занятий, уже смотрела в зеркало. А из зеркала смотрела на Зину немного встревоженная молодая учительница. Вдруг откуда-то из страшного водоворота памяти выскочило, что за матрас упала одна из тетрадей, и очень даже важная тетрадь, которая сейчас понадобится во что бы то ни стало. Как была, в белой расшитой кофте, полезла в роковой угол и увидела там, кроме тетради, – те самые ежедневники в терракотовом коленкоре и синюю книжку для записи кулинарных рецептов. Наверняка закричала бы, но вдруг парализовало – страшно, внезапно, с диким сомнением, что больше никогда не сможет говорить. Так и стояла, на коленках, одна нога босая, и смотрела в угол. Ни звука не могла произнести. Или просто не понимала, что происходит. Но даже через много лет не могла бы сказать, знала она тогда о воровстве или не знала. И много лет спустя помнила только то, что смотрела на эти чуть запылившиеся печатные изделия и не могла вымолвить ни слова.

Вдруг в дверь комнаты бешено заколотили, потом, явно от ударов, дверь распахнулась сама, и влетел Макс с пустым ведром.

– Идиотка! Дура! Вот до чего всех довела твоя тупость. Работает она! Как бы не так! Тебя там из милости держат! А она ещё счета мне выставляет! Это всё твои дружки, твои дружки...

Такого Алекс вынести уже не мог. Едва Макс, всё с тем же пустым ведром, возник в кухне, как его встретил бы хороший точный удар. Но так получилось – ведро на голове Алекса оказалось раньше, чем его кулак достиг Максова уха. Руслан, всполошившись, подхватил сумку и стал прощаться, если его лепет можно было назвать прощанием.

– Пусть идёт, – неожиданно мирно сказал Макс, наконец поставив ведро на место. И только потом, когда скользкие шаги Руслана стихли на лестнице, прибавил: – Пусть идёт, тварь.

Алекс пошёл в душ, даже плечами не пожал, как обычно делают люди в недоумении. Он начал понимать, что все вещи, как ни странно, находятся на своих местах.

Когда пили чай, Алекс, вытирая насухо стареньким белёсым полотенцем голову, наблюдал, как Макс «подваривает». Кладёт на конфорку толстый, в дырках, рассекатель, затем аккуратно ставит чайник. Считает про себя, приподнимает крышечку, нюхает: знатный веник или нет. Затем поднимает и снова – стоит, считает. И затем – второй раз на рассекатель. Иногда выльет в пиалу немного заварки и – снова в чайник. Или потом, когда на стол поставит, килишнёт несколько раз. Чай получался густой, как бальзам.

Поели макарон с плавленым сыром, сытно. Макс собрался было чесноку в макароны порезать, но Алекс запротестовал: будет слишком остро для утра.

– А я люблю чеснок с кинзой, укропом и сливочным маслом смешать; майонеза не надо. Да и не люблю майонез.

Потом перебил себя:

– Ты пей, это хороший чай – индюха, слон.

Индийский, значит. И вдруг, словно ради этой фразы и завтрак сделал:

– Завтра Андрюха, который теперь отец Ефрем, в деревню едет. Не хочешь обстановку переменить? Я не настаиваю, но может – тебе по кайфу будет. У отца Ефрема и машинка своя, третий жигуль.

«А правда, – подумалось Алексу – Мы с Максом тут всю водку выпьем в Москве, если зависну. Поеду, посмотрю... на страну мою».

До четверга время было. Но в четверг звала Алёна. Не звала на самом-то деле, он напросился своим звонком, но ему хотелось думать, что звала. И – хоть автостопом, до её Подмосковья добраться надо. Хоть с Чукотки.

– Поеду. А далеко?

– Часа четыре.

Зина сидела у стола, одна нога босая, опустошённо смотрела на часы. Перед ней лежал ежедневник в терракотовом коленкоре. Когда минутная стрелка возвестила об окончании часа – девять – встала и, взяв старенький, но крепкий большой иссиня-чёрного цвета портфель, пошла на работу.

– Господи, да что ж это такое, всё с ног на голову, и на голове ходить? И что – так до конца? Тогда уж лучше в монастырь, там тоже мафия и тоталитаризм, но хоть ясно, что мафия и тоталитаризм. Послушание – называется.

Вечером Макс, усевшись против мирно ужинающей молочной рисовой кашей Зины, спросил:

– Я Зигфрид?

– Самый настоящий, – кивнула Зина и ложку отложила. Что-то будет.

– Так вот, я со следующей недели – машинистом уборочной машины метро буду. Поняла что-нибудь? Сегодня документы оформил.

Из дневника Елены Петровой – Алины

«Июнь 1989. О чём я думаю, лёжа на диване так, что даже задница лежать устала. О самых обычных и очень приятных вещах. Что хорошо не мёрзнуть. Что хорошо помыться и пахнуть свежей кожей и волосами. Что хорошо есть. Что сегодня даже можно съесть плавленый сырок "Волна" или "С луком для супа", просто потому что в холодильнике есть плавленые сырки, кажется, две штуки, а я их ненавижу. Этот, с позволения сказать, сыр, может быть, и служит хорошей защитой для зубов, но жеванию не поддаётся. В хлебнице есть вчерашняя булка, а в столе – крупа, рис. Но я же не ем. А лежу и думаю о том, что могу поесть, с удовольствием помыться, хотя из-за странных болей и слабости это очень трудно. Никогда представить не могла, чтобы так трудно было забираться в ванную и потом – самое-то главное – выбираться из неё. Что и сидеть-то там – просто больно. А на уголках стоят "Гиацинт", "Роза", "Ромашка" – нежные болгарские шампуни. И вот, думаю, что когда зайдёт солнце, я буду мокрая и в душистой пене. Что сегодня? "Гиацинт", он меланхоличнее. У "Ромашки" всё же слишком лечебный запах. Как я любила эти магазины на Полянке – "Ванда", "София". А любимый крем и духи "Пани Валевска"? А эти экстравагантные блески для губ, цикламен? Все эти детали – как синие блёстки в глазах от слабости. Конечно, я не стану варить рисовую кашу и плавить в ней, пока горячая, сыр с луком. Просто потому что нет сливочного масла, а с растительным – я ещё не придумала, как есть. Потому и плавленый сыр. Ем же я, хоть раз в три дня, на глазах у приходящих людей. И, конечно, я больше не поеду ни в "Ванду", ни в "Софию", ни в этот дикий "Лейпциг"

записываться в очередь на обувь, как было когда-то. Всё это: приятные шампуни (хотя почему наши-то хуже – та же "Крапива", пахнущая летней травой), краски для лица, сапоги – это галактики, возникающие и исчезающие. Я пришла в то пространство, где галактик уже нет, они там не нужны, там совершенно другие формы жизни. И всё, что радовало – истинно радовало – меня этими цветами, запахами, формами (а чего стоит один "Танг" с его бесконечным разнообразием и сумочками-коробками, и ещё с хозяйственными сумками, излюбленными московской хипнёй) – всё стало другим. Как говорят – перешло на качественно иной уровень. Если бы сейчас вернулись силы (а не летали бы перед глазами ультрафиолетовые мухи), я бы снова окунулась в море ощущений. Робко, как девственница, боясь и надеясь, что меня не оставит уже вызвавший из небытия волшебник.

Мне двадцать пять лет. Если доживу до августа, будет двадцать пять. Я ничего не умею, я ещё очень хороша собой и очень устала. Я знаю, что от мужчин пахнет тяжело, и потому не хочу быть с мужчинами. От женщин пахнет истерикой, всегда – истерикой и злобой. Я не хочу быть с женщинами. Не хочу есть и устала спать. Во мне ноют даже воспоминания, и я не знаю, сколько мне осталось – вот так, на диване. Я даже не торчу, что было бы логично. Но должно же быть что-то, ради чего я несу на себе эти последние дни.

Так вот, "Бисквит". Это кафе, в розовом доме, возле самой почти Смоленской. Кафе большое, занимало весь первый этаж. Высокие светлые окна. Снаружи можно было примоститься на подоконниках, внутри – стойки, стульев нет, но подоконники широкие. Сидеть на подоконниках нельзя, но всё же сидели.

Кофе подавали в белых аккуратных, пахнущих горячей водой (и немного пищей с мылом) чашках. Уникальный запах: пища, которой уже нет, остатки которой смыли мылом. Скорее, содой и мыльным порошком. Пища, в которой поджаренный на комбижире лук пахнет так же, как бутерброд с красной рыбой. Именно так – с прибавлением жестковатого запаха мыла – пахли чашки в "Бисквите". Кофе был сытный, всегда очень горячий. Но взять просто кофе – только для тех, у кого нет денег. В "Бисквите", как в столовой (хотя это кафе), была стойка, или – как говорят – раздача. Выбор небольшой. Бутерброды: рыбка, сыр, колбаска. Подсохшие, иногда на сероватом хлебе. В зависимости от того, какой батон с завода привезли. Выпечка, всегда довольно сухая. Булки, пироги, блинчики. Но самое чудесное – и чего мне так не хватало, потому что дорого, тридцать пять копеек – сливки с фруктами. Взбитые сливки с фруктами. Металлическая, сталь с алюминием, вазочка – перевёрнутый купол на ножке, расширяющейся до плоского небольшого диска. Сливок много – горка выступает из границ вазочки. Но иногда могли положить мало, так что металлическую внутренность вазочки видно. Сливки были с курагой – самые вкусные. И ещё. Кажется, с вареньем. Я бы их по три порции съедала, так вкусно. Ложку надо брать в лотке у раздачи. Очень у них хорошая форма была, у этих ложек – ничего лишнего.

Интерьер "Бисквита" – в тёмных тонах. Коричневая – коричная – обшивка панелей, столы из обычного ДСП, ни светлого, ни тёмного. Столы немного липкие, посередине стоит что-то, что трудно даже назвать: сахарница, солонка или пепельница. Иногда мне кажется, что в середине стола в "Бисквите" как раз было отверстие, в которое сахарница (пусть будет сахарница) и вставлялась. Здесь хорошо стоять, пить купленный на последние деньги кофе. Не зная, что бывает кофе с корицей и шоколадом. Руки подрагивают, оттого что лишняя сигарета выкурена, а пищи было слишком мало в последние дни. Это бы само по себе не важно, но как хорошо это глубокое темноватое место с огромными окнами, где на очень низких подоконниках сидят разноцветные нелепые люди. "Бисквит" мне всегда казался подростковой точкой, местом, где что-то небольшое, пульсирующее пьёт кофе перед тем, как выйти в пространство, где небо исчерчено проводами. И такие же отношения между людьми: исчерченные, подверженные окислению, нестойкие.

Для системы "Бисквит" – место преимущественно пионерское. Здесь собираются печальные яркие дети, болтают, обмениваются кассетами и пластинками. Иногда, кто

посерьёзнее, заходит на часок – выпить кофе, повидать друга, по пути на работу. “Бисквит” – детская системы.

...Я плохая девочка, которая хочет быть хорошей девочкой. Да, я плохая девочка, которая снова хочет стать хорошей девочкой. Есть какие-то возражения? Но у кого, кто это слышал?

Вот Игорь обещал зайти. У него на плохих и хороших девочек взгляд несколько другой. Но мне нравится, что он смотрит такими овечьими глазами, когда я употребляю матерные слова. Знает же, что не нарочно. Что для точности, и отнюдь не все слова. Както рассказал про одну, студенточка была, потом в аспирантуру поступила – блаженная такая. Так она считала, что любое матерное слово – грех против Богородицы, и очень мата боялась. Затем помешалась, стала рисовать ангелов, Богородицу и ругаться матом. Бывает. Я в том же духе. Но я не люблю мат, в самом звучании матерного слова есть нечто отвратительное. Или мне просто надоело, как с плавленым сыром.

Кафе “Бисквит” я очень любила. Попросить Игоря меня туда отвести? Но его же уже закрыли! Или нет? Как же подло, что когда вот так себя не уничтожала, а просто жила, надо было подходить к людям и просить деньги. А теперь скажу: сливок, и привезут. Несправедливо. Несправедливо!»

9.

– Безблагодатно? Скажи ещё: неблагочестиво. Личности с большим негативным опытом, на которых ориентироваться нельзя? Ну, а ты прибавь ещё православнутых садистов, о которых мой однокашник любит рассказывать. И ведь находит! То собаку на рождество палками на церковном дворе забили, чтобы в храм не лезла. То дом отняли у детдома, а детей кашей отравили. И во всём православные виноваты, потому что злы и ненормальны.

Красивый молодой священник в два приёма, но скоро и ловко, вынул ведро из колодца. Колодец ютился под горкой, у подошвы, так что тропинка, считавшаяся одной из улиц Долгой деревни, шла почти над головой тех, кто стоял у колодца.

– По небу Савкин идёт, – пошутил священник, указав на хмурого с утра мужичка, – по небу. Он, конечно, злой, но всё же по небу ходит – потому что на земле живёт, а мы – в проводах. Если бы не тётка Анна, я бы сюда, три часа от столицы, не поехал бы. Да и из-за неё – не поехал бы. А поехал по вдохновению свыше, и никак иначе, потому что она меня своей молитвой заарканила, и вот теперь помогаю ей. Там ещё часть поля свекольного убрать надо, потому и тебя с собой утащил. Иначе председатель тётке Анне сахару и муки не даст.

Собеседник священника – это был Алекс – взял второе ведро, и вместе поднялись на гору. Священником был Андрей, тот самый, что получил в лесу крещение дымом. Теперь он был протоиереем, только-только утвердили новый чин, и был этим несказанно доволен. Алекса он не видел лет шесть. Макс ещё не вернулся со свекольного поля, ждали его только после захода солнца: работы было много.

– Держи-держи калитку!

Высокая плотная коза с мглисто-серой курчавой шёрсткой и чёрной полосой на спине, со светлым брюшком, кокетливо наклонив голову, шла прямо на людей.

– Ух, Дочка! – ухнул отец Ефрем. Коза, конечно, не испугалась, но – вдруг прянула в сторону. Алекс встал ровно в проёме калитки.

– Гулять любит. У неё подруга – Ветка, вон в доме напротив, у Параскевы. Дочка к ней хочет. И что взбрело тётке этот дом купить? Что она здесь зимою делает, чем топить будет? Какие у нас с матушкой деньги? Но мне понравилось. Видишь – приехал, и тебя привёз.

– Нехристя, – подколол Алекс.

– А ну, нет их, нехристей, – чуть поморщился отец Ефрем и запер калитку. – Мы же лет семь как открылись, вся эта наша церковно-возрожденческая контора. Полагаю, если бы мой Владыка такие слова из уст моих услышал, не осудил бы. Потому что все как кутята, вслепую, абы что, но делать. Кто зрячий, то уж верно молчит, потому что под суд попасть страшнее. А суд в том, что даже если и всё происходящее теперь, всякими красивыми надеждами исполненное, не по Богу с точки зрения Оптинских старцев, то явно по Богу с точки зрения тех, кто вполне познал, что такое город без церкви и как мучительно, когда служить нельзя. Тут даже что-то дворовое есть. Внутренние разлады перед войной с чужим двором обычно забываются. Но не факт, что лет через тридцать плодов кислых не будет. Это мне один старец говорил.

Алекса серьёзность новоиспечённого протоиерея забавляла, но слушать было утомительно: зануден отец Ефрем. Опять же отличный был басист.

– Представляешь себе хоть один большой роман Достоевского без старца? Хоть картонного, хоть на портрете. А сейчас – пожалуйста, и со старцами напиши – всё равно как без старца. В этом разница. То постройки на руинах говорили. Или как у вас там: постмодернизм. А теперь говорит пустота, и это намного интереснее и страшнее. Зачем пустоте строения и люди? Низачем. Тем более – ценности, религия какая-то. Пустоте нужна выгода – то есть ничего кроме выгоды. Вот это сплавленное воедино есть-нет, без оттенков. Не существует, потому что есть в наличии, но – в наличии, потому что утрачено. Пустота – как женщина, самая обычная женщина. Красива тем, что у неё три-четыре вещи есть, а больше от неё не надо. Но так же нельзя. А когда человек пустотой изъеден до того, что в нём нечто просвечивать начинает... Ты не плюйся только, потому что я об Образе Божием говорю... Это чудо. А у чудес с церковью всегда были сложные отношения. Порой время выручало, порой и Сам вмешивался. Но ты только подумай, ведь чудо же... Человека убить можно, кислотою труп залить. Ничего не останется, и костей. А тут – вдруг скелет танцевать начинает, как Царь Давид, да такой страшный. Вот и начинается – пас. Как это всё принять? Нас, безалаберных, тупых и легкомысленных? Никак. Нас надо поучать и – строем ходить. Посты там, поклоны, чтобы Бога знали. А какое тут – Бога знали, когда Он – изнутри, потому что не для того Он, чтобы человека дьяволу отдать. Об этом забывается. Потому – и никакого православия, а церковная контора. Офис, отношения. До чего дойдёт, не знаю. Но вот мои сокурсники – все озарены надеждой, что всё получится. Они как апостолы – летают даже, и не смейся.

Алекс, правда, улыбался. Ему нравилось слушать отца Ефрема, хотя он не понимал православия. Зачем столько сложностей?

– Ну, а что вы с буддизмом сделаете? Вот ваш дьякон какую книгу написал: «Сатанизм для интеллигенции».

– Он может, – кивнул отец Ефрем. – А что – с буддизмом? Мы-то что с ним можем сделать? Мне лично он не враг, потому что меня пока буддисты под страхом смерти веру оставить не заставляют. Вот когда это будет, тогда – другое дело.

– А кришнаиты? На днях пол-Арбата заняли.

– Ты ещё Юсмалос вспомни. Сему надлежит быть – оно и есть. Война же. Я вот не уверен, что с ума не сойду на религиозной почве. Помню, книгами подторговывал. Вместе с девчонкой поставили. Ей лет семнадцать. Она в Аум Синрикё верила. Рассказывает про то, что там, а лицо сияет, глаза светятся. «Господи! – взмолился я тогда, – бесов изгонять не умею, я о них вообще ничего не знаю. Но вот эта душа-кожа, она что – зря? Она что – для Аум Синрикё? Откуда ей – Христос, когда кроме журналов и еды – ничего. Спаси её. Она же вон, благодати жаждет». И уверен, что она спаслась. Было в ней что-то... И Татьяной звали. И «Дип Папл» любила. Не, благодать – у неё своя жизнь. Я люблю благодать.

Шкодливая коза Ветка, перемахнув через забор, синий, недавно поновленный, сделав отчаянный зигзаг, приземлилась шагах в пяти от отца Ефрема. Коза Дочка, обрадовано вякнув, поспешила к Ветке – мол, гулять всё равно пойдём. Но тут, буквально под ноги Дочке, кинулся петух, которого Анна прозвала Комиссаром. Житья от него не было не только дворовой живности, но и окрестным котам, хотя петька особенной величиной не отличался. Комиссар, смекнув своим петушиным умом, что Дочка собралась на гулянку, решил это дело предотвратить, и потому молча, как полагается герою, грудью в оливковых перьях преградил ей дорогу. Дочка на миг оторопела, а потом, возмущённо шевельнув ушами, встала на задние ноги – на пуанты. Передние ноги, копытами несколько внутрь, к груди, поджала, ещё раз, уже грозно, дёрнула ушами и едва не прянула на Комиссара.

– Ква! – вырвалось у петуха. Как тень, распластав крылья, он кинулся под крыльцо, и оттуда уже пригрозил козе: – Кокореко! Выпорю!

Ветка, испугавшись скандала, снова перемахнула через забор и пропала – как не было. Покинутая Дочка, покачивая грациозной головкой, зашагала вдоль забора: может, Ветка ещё вернётся. Анна, в оконце увидав, что произошло, была уже на дворе:

– Дочка ты, Дочка. Все-то тебя обманывают. Вон как Ветка тебя бросила.

Добавила со странным, будто всплывшим из потерянной уже глубины чувством:

– Дочка-то хорошая. Всё в ней: и рост, и сила. Первый у Зорьки козлёночек был. Порода – мясомолочная. А Ветка-то пуховая; эти дикие, коварные.

Ветка точно была пуховая: до жути лохматая, чёрная, с белой полосой на узкой морде.

– Идёмте в дом, идёмте в дом, – вдруг засуетилась Анна. – Я уж всё на стол поставила.

«Уехать! Уехать – отсюда?» – вдруг возникло раскалённо в мозгу у Алекса. «Порча», как сказала бы Анна. Но кто знает, может эти большие, глобальные, мысли и есть – порча.

Анна, сделав шаг или два, дёрнулась. Иначе описать странное движение плечом: забыла-забыла! – невозможно. Зигзагом, совсем как коза, заспешила к Дочке. Алекс присмотрелся и только сейчас заметил, что от ошейника Дочки идёт на несколько, около трёх метров – цепь. На том конце цепи, который волочился по земле, сбривая растения и выравнивая песочек, оказался огромный тяжёлый кол. Который мог бы стать орудием убийства даже в очень неопытных руках. Сколько он весил? Килограммов пять? Дочка шла к тощим грядкам редиски, и приближение Анны её вроде бы не беспокоило. Однако Анна вдруг пошла козе наперерез, рискуя вспугнуть, и ловко подхватила конец цепи, рядом с колом. Дочка вздыбилась было, но потом неожиданно смирилась и встала тихо, в середине уже расчищенного цепью круга, глинисто рыжего. Трава вся за день подъедена была. Анна вбила кол, кирпичом, лежавшим как метка тут же, подошла к Дочке, приобняла и сказала жалостливо, почёсывая козу за ушами:

– Обманывают тебя, да. Как Россию.

Алекса чуть не свело внезапной судорогой, ощутимой почти как сердечный приступ. Даже остановился, даже побледнел: вот те на, обезумела она, что ли? Однако отец Ефрем на «Россию» и на то, как «Россия» была спасена, не отреагировал и деловито занёс набранное Алексом ведро в дом. Выглянув из сенец, позвал:

– Ну что там, тётьань, кормить-то будешь?

– Буду-буду, – затрепетала Анна и поспешила в дом.

Анна была далеко не старая ещё женщина – пятьдесят шесть, с приятным круглым лицом и соразмерными в нём чертами, сероглазая блондинка, в молодости, должно быть, прекрасная красотой хичкоковских героинь. С годами лицо стало тяжёлым, набухшим, но морщин немного было и сейчас. Что было в этом лице невыносимо – взгляд. Такой должен быть у Вия, подумалось Алексу, когда он в первый раз встретился с Анной глазами. Эти глаза будто поменяли цвет – небольшие, с неопределённым уже разрезом

под веками, лёгшими той особенной тонкой и нервной складкой, какая бывает иногда в лицах уроженцев средней полосы: улыбка или нет, а может быть и насмешка. Что-то татарское, что-то немецкое. И небольшая прямая переносица.

«Кликуша, – подумалось Алексу, – точно – кликуша. Всё видит».

Глаза эти смотрели навылет, но в периоды плохого самочувствия и усталости взгляд совсем пропадал, оставались только две прозрачные пуговички, прикрывающие страшные дула заряженного оружия. Такой взгляд был и сейчас, хотя внешне не скажешь, как она устала. Анна уже разложила по недомытым тарелкам неряшливый, но ужасно вкусный на вид винегрет из большой алюминиевой миски, прибавив солидные куски бочковой сельди. На печке, которую то и дело надо было подмазывать, стояла эмалированная, наполовину коричневая от масла кастрюля с гороховым супом, а сковородке потрескивала картошка с помидорами и жареным луком.

– Среда, уж меня простите. А вот винегретик-то с грядки, и укроп вон, пушистый.

– Я мяса не ем, – зачем-то сказал Алекс.

– А я иногда и постом ем, – вздохнула Анна, – ноги уже не ходят.

Отец Ефрем ел молча, набирая помногу, но довольно медленно, долго жевал и потом сидел, вытянув руки по столу, будто обнимал тарелку. Винегрет оказался удивительно вкусным. Алекс такого никогда не ел. Сельдь была отчаянно соленой, но с пряностями.

Анна всё говорила и говорила. О том, как выхаживала нынешней весной индюшат, а те болели. Как лампу сожгла и едва сама не сгорела, как индюшата снова болели, и Анне пришлось ехать в город, «дом бросить». В городе искать по аптекам пенициллин. Как «Параска» решила было за домом присмотреть, червонец взяла, да ни разу и не заглянула. Как Савкины по крыше лазили и хотели в дом проникнуть, чтобы украсть что из вещей. Про этот дом в деревне говорят, что городские, богатые. А младший Савкин из зоны вернулся, тут вот недалеко был. А теперь злой и точно её, Аннин, дом сожжёт, потому что она чужая. Что вовсе она не чужая, а отец её, Савелий, хоть в Москве родился, мать его, а бабка Анны, родом отсюда, из этого села. Тут три села, и все родственники, а одна только война. Что тут рядом дед Орех живёт, который пчелу держит, и мёд у него самый лучший. Что она тоже хочет пчелу держать, но дорого.

Алекс смотрел в окно и видел еле ухоженный небольшой участок, совсем из Аннина рассказа, на котором – то помидоры вырастают, которые в миску не войдут, то вот, «картошечки не допросишься». Внутренность дома, с продавленным диваном и внезапными, бессмысленно дорогими тряпками, внешности участка соответствовала. В доме – всего две комнатки. Вся жизнь, даже зимою, была на кухне. Крохотная, ужасно душная, спаленка, в которой предстояло Алексу ночевать, была заставлена вещами так, что кроме пыли в единственном луче света ничего видно не было. Там стояла не работающая стиральная машина советских времён, вместо столика, и швейная машинка, и телевизор, который тоже не работал. На телевизоре стоял бодрый цветок «Декабрист».

– Ну как ей одной со всем этим.

Анна пела на клиросе в местной церкви и церковное пение любила. Однако церковные дамы считали её чужою. Они, как и Алекс, не понимали, зачем нестарой горожанке, нежной инженерше, понадобилась эта «деревня», на которую, по всей видимости, у Анниной семьи нет средств. Анна про семью не особенно и думала, что, конечно, плохо. Иногда приходилось у старшей дочери просить деньги. Дети Анны, сын и дочь, были семейные, денег самим часто не хватало. Мечтали о даче, но не о такой же – за сто верст. «Деревню» Анна купила во вдохновении, оттого что ей «видение» было, светлый источник, где вся её семья купается. А когда, просмотрев объявления, нашла этот дом и приехала – поняла, что это он и есть, источник. Вся её инженерская пенсия уходила на хозяйство, так что сама порой «голодала».

– Как в детстве.

Но рассказ снова вернулся к живности и пенициллину.

– Это Господь научил. А ведь мёрли, и Мишка мёр.

Мишкой звали бычка, которого Анна недавно сдала на мясо.

– А как стала пенициллин давать, и Дочке тоже – поправились.

Про прививки и антибиотики, используемые в Америке, откуда было Анне знать?

– А Мишка плакал, когда вели. Били его Савкины, чуть хребет не сломали. Плакал, а они били. И когда я его вела туда, на ферму – плакал! Савкины ему лёгкие отбили, я пенициллином лечила – он воспаление снимает. Они тут всю живность мою убить хотят.

И вдруг замолчала, склонилась, отчего платочек, повязанный концами назад, смешно надвинулся на лоб, как скуфеечка, и сказала:

– Прошлый год на свёкле работала – за сахар и уголь. Так дали гектар, никого в колхозе нет уже. А нам, приезжим – всё выгода, были бы силы. Июль, жара. Дошла до последней борозды. А там грядки – не мои, поле. Сил нет, падаю. Остановилась, тяпку поставила и взмолилась: «Господи, подними меня. Ради детей». И вдруг слышу: «Отче наш» поют. Необыкновенным распевом, необыкновенным. Как море. Мужские голоса. Монахи поют! Ангелы поют. Необыкновенно.

В окошке размером с лицо не ходили, а плавали как облака крупные индейки с серовато-голубой оторочкой крыльев. Вдруг, вскидывая кавалерственные стройные ноги, показался прекрасный как безе индюк, возмущённо что-то бормоча. Анна встала из-за стола, наспех перекрестившись, поправила платок.

– Игорь приехал. Обещал, что в этом месяце будет. Чудо – человек.

И вышла, крича индюку:

– Орёл, Орлуша...

В комнате словно продолжало парить её лицо, в котором было столько разложившейся на жалость и утомление злобы, так и не осознанной как злоба, разъевшей разум и душу, паки восстановленную бестолковым, но всё же целебным состраданием ко всему живому.

«Святая, ведь точно – святая», – подумал Алекс. И – снова: «Уехать! Уехать как можно скорее! Уехать? Отсюда – из этой страны?»

Послышался негромкий лязг – заперли дверь в гараж. Прибывший автомобиль напугал не только Орлушу, но всех остальных обитателей. Комиссар, выбравшись откуда-то из поленницы, возвестил, что, мол, мы всё равно победим, и задал трёпку проходившей мимо белой хохлатке. Хохлатка взмолилась своему куриному богу, вырвалась – и скрылась.

В кухню вслед за Анной вошёл высокий темноглазый человек лет сорока трёх, но моложавый и даже красивый. В руках была большая тяжёлая сумка.

– Игорь, староста наш, – закудахтала Анна, усаживая гостя, оттаскивая к печке сумку. – Вот вам, батюшка Ефрем, и повод – послужить в воскресенье.

– Анна Владимировна, да я на ночку только. А вернусь в пятницу, поздновато, но жди, точно буду. Нам вон с отцом Ефремом надо одну заявку написать.

– Да как же – на ночку-то? Вон, уже солнце... – расстроилась Анна.

Только порадоваться успела, что все собрались вместе, и гость с ними. Деток вот только нет. Ну да приедут.

– Будет, тётьань, будет, – успокоил отец Ефрем, вовремя подоспевший Анну утешить, да и сумку взял. – Я-то здесь, почитаем, попоём.

– Попоём, – вздохнула Анна и поспешила за чайником.

– Отец Ефрем, благословите, – чуть поклонился священнику Игорь и протянул большие тёмные, правая на левую, ладони. Отец Ефрем перекрестил вошедшего и пожал протянутые руки: ну, с Богом. Алексу сцена не понравилась: отец Ефрем в сыновья этому Игорю годится. Пигалица он, а не священник. И туда же: Бог благословит! Игорь вы-

глядел более солидно. Однако было что-то в этом крохотном ритуале величественное, огромное.

Солнце повернуло на закат. Отец Ефрем с Анной отправились поливать участок, а Алекс с Игорем сначала убрали после ужина посуду, как смогли – помыли, и сели на крыльце – покурить. Тут-то и открылось, что Игорь – и есть тот самый староста, которого упоминала покойница Алина в своих дневниках.

– Вот оно что.

Алекс чуть было не запел от внезапно нахлынувшей военной радости «Сансару», как это было в доме у Макса. Он ничего, ничего, ничего уже не понимал, а только чувствовал, какой-то, ранее доступной только Алёне, подоплёкой, что пришёл в движение огромный, страшный, трагический и вместе светлый круг, диск – какого уже тысячи лет как нет, который в окружающем мире просто невозможен и даже ущербен. Но его несло, его вело, как когда-то, во время лучшего выступления «Ахтунга», когда он Егору после выступления пиво предлагал, опьянённый счастьем и силой, хотя сам едва держался на ногах.

– Пасиба, – сказал Егор и бутылку взял. Слов слышно не было – по губам прочитал.

Но внезапно прибежал Руслан, намеревавшийся согнать с пульта бездарного звукаря, и, накричав, утащил Алекса с собою – звукарить.

– Как там всё кончилось? – не удержавшись, спросил Алекс.

– Кончилось, – ответил Игорь и затушил папиросу. Он курил папиросы. Алекс отметил, что только папиросы, и редко. Понемногу. Считалось, что бросил.

– В августе у той, у Ленки, день рожденья. Решил ей тортик купить, со сливками. Она сливки взбитые любила. Жара была, но тогда два дня как спала. Гроза прошла, небольшая. Перед жарой Ленке ужасно как плохо было. И силой не накормишь, потому что рот не открывался, и в горле движения не было. Ссохлась, глупая, как таранька. И уже мочится под себя. Но когда не спит – встаёт, в туалет. Я – скорую вызвать; она руками машет, вроде как ругается. Ну, думаю, всё равно вызову, но уж завтра. Что с ней ночью было – не знаю. Утром я: открой, это Игорь. А за дверью – ни шороха. Испугался не на шутку. Стучу, уже в истерике: открой, дура. Снова – ни шороха. Я – дверь высаживать, а там, за дверью – какое-то мычанье. Жива, значит. Дверь таки высадил, соседи уж все тут, я им: скорее за дворником, а сам – к ней. Лежит. Живая, но в обмороке. И листок этот, завещание, рядом с ней, в моче, высох уже. Дворник прибежал, милиция, скорая приехала, соседи. Успокоил, объяснил, выпроводил. Врачиха ей давление померила, глаза посмотрела, укол сделала. В больницу, говорит, скорее. Говорит, отвезём, только документы нужны. А я не знаю, где у Ленки документы лежат. Говорю: можно завтра. Врачиха строго посмотрела, грозно: что ж вы время теряете? Но сама встала – им лишние хлопоты зачем? – звоните, говорит, если что. Уехали. Я – по ящикам рыться. Паспорт нашёл, в сумке. И ещё что-то нашёл: документы на квартиру. Себе оставил, и тот листок взял. А её уже насмерть сводит, агония. Я – к телефону, а тот за неуплату отключён. Я – к соседям, звоню; скорая ругается, что, мол, вы это два раза по одному адресу, так нельзя, или что-то подобное. Ору: умирает она, документы нашёл. Скорая приехала, а там всё уже – остывать начала. Ну, кремировали-хоронили, урна в колумбарии. Листок её нотариус признал, я даже за экспертизу платил. Родичи объявились, конечно, но полгода прошло. Зима уже, так что им слишком хлопотно было дело заводить, чтобы жильё вернуть. Полгода ждали, когда позвонит; думали – живая. А Ленка и номера их из книжки выдернула. Теперь я там, в той квартире, хозяин. Сдаю. И вот, тёте Ане привожу, что надо. Там, пока не сдал, мой кот Тигран жил. Гадил везде, как коты делают, но я отмыл. Потом, после Ленкиной смерти, чуть не сорвался. Пил недели две. Там, в той хатёнке,

такое стало. Ленка, хоть и не ходила последние дни почти, была маньячка чистоты. Хоть как-то, но чистенько было. Я засрал поначалу. Потом, когда понял, что сдавать буду, отмыл. Быстро отмыл. Квартиру ту оформили в день памяти пророка Даниила и трёх отроков. Вот я и был там как в пещи огненной.

За скобками полубезумного от горестных воспоминаний рассказа осталось столько обыденного, сумеречно прозрачного ужаса ежедневных действий, что Алексу стало не по себе. Поездки в инстанции, дикие, нечеловеческие вопросы, и – главное – личность! Не волевая красавица, а инвалид, сумасшедшая. Хотя Игорю – какая разница, когда по мукам ходил. До него эта разница и не долетела. Ленка, и всё. Кормилица теперь. Но вот так, презрев людей и их чувства, бесстыдно и безропотно дохнуть у себя на диване и при этом делать вид, что ничего не происходит, да ещё и писать – ужасно... и восхитительно.

– Квартира кооперативная была, когда-то родственники взяли. Тогда того кооператива уже не стало, и Ленка сумела в собственность её оформить.

Максу всё это было известно. «Смирновку» пили вчетвером, тихо. Анна заснула в своей крохотной горенке. Закусывали винегретом, который дорезал по мере надобности Игорь.

Рано утром, по холодку Игорь и Алекс выехали. Макс, наскоро простившись, пошёл на поле. А в субботу и он собирался в столицу. Понедельник – первый день новой работы уборщиком метро. К полудню Игорь уже подвозил Алекса к пятиэтажке в Подлипках Дачных, где ждала его Алёна. Из дороги Алекс помнил только светло-рыжее коровье стадо, с торчащими хребтами, напуганное шумом, переходившее через небольшое шоссе. Пастух, возможно, и не был совсем пьян, но шёл, громко напевая и пошатываясь. Может быть, он и не был пьян, а только устал. На ушах, огромных длинных коровьих ушах, виднелись следы укусов насекомых, короста, а хребты и рёбра торчали так, что в животе смотрящего на всё это человека начинало происходить что-то неприятное.

– Может, зайдёшь, чаю выпьем? – пригласил Алекс.

– Да нет, мне минут пятнадцать осталось, – ответил Игорь, – Москва уже. Дома чаю напьюсь.

10.

Алекс любил пустоватый Алёнин дом со старым огромным матрасом на полу спальни, клоунски ярким постельным бельём, большими портьерами и принципиальным минимумом вещей. Алёна, невысокая, даже круглая, иногда производила впечатление почти змеиное – длинной, высокой женщины. Подвижность, даже текучесть тела свидетельствовали, что Алёна – неплохая актриса. Из «новых», как иногда мелькало в её разговоре. Алёна, кажется, и дома ходила в той же чёрной тонкой водолазке, что и вне дома – всегда опрятной, пахнущей пачулями. Этот запах Алекса ужасно раздражал, но и гипнотизировал.

– Вовремя, – сказала Алёна и показала – мол, оцени иронию – маленький перламутровый подбородок. – Звонили тебе. Из офиса. Через час перезвонят. Так что подождём.

И принялась готовить кофе. Кофе Алёна готовила много хуже, чем Кеша, совсем невкусный. Но Алекс ей ничего про то, что невкусный, не говорил. Кофе был – та же Алёна. А вот хлеб она жарить умела: в яйце, с укропом и капелькой горчицы. Почему-то получалось очень вкусно. Это называлось: завтрак. Едва сели – и правда, звонок.

Медный, лакричный женский клёкот:

– Алексей Николаевич?

– Да.

– Компания «Нью Траст Коммюникейшн». Будете говорить с Мариной Петровной Седовой, менеджером по кадрам. Переключаю.

За часть секунды – кто? Почему? Зачем? В трубке сначала пошли небольшие помехи, потом – издевательски правильный женский голос, который говорит двадцать четыре часа в сутки.

– Алексей Николаевич? Телефон ваш дал Анатолий Иванович, от Иннокентия Семёновича.

Алекс вздрогнул: конечно, Кеша – раз Иннокентий. Отчества Кеши он не знал, но тут прошёл мощный импульс, сомнений не осталось.

– Я Марина, менеджер по подбору кадров и развитию кадровой политики. Анатолий отозвался о вас как о прекрасном звукооператоре. Нам как раз нужен такой человек. Мы развиваем новый уникальный медиапроект; это наше ноу-хау. Приглашаем к сотрудничеству.

И потом, совершенно просто и нагло, почти бесстыдно:

– В общем, завтра на собеседование, к девяти. Адрес такой-то сякой-то, офис – номер, комната такая-то. Просьба соблюдать дресс-код и не опаздывать. Надеюсь на сотрудничество, рада была общению, до свидания.

И – отбой. Алекса хватило только на то, чтобы спросить Алёну:

– Что такое дресс-код?

Она объяснила.

– Подготовишь рубашку?

Потом, подумав, в каком-то неизбывном ужасе:

– Как Кеша твой телефон узнал?

Она ответила – возможно, с той же долей бесстыдства, что и Марина:

– Кеша был вчера на тусовке, на которой и я была. Меркалову ведь отзыв о спектакле нужен. А кто напишет? Кеша напишет. Меркалов пришёл на пятилетие этой газетёнки, в которую Кеша пишет, и меня с собой взял. Так и познакомилась с Кешей. А то – только из твоих рассказов и знала. Он милый.

Меркалов был – бомба-режиссёр, в театре которого Алёна искала свою звезду.

Алекс отстранил рукой едва пригубленный кофе.

– Пойду, подремлю. Я машину вёл – Игорю помогал.

И добавил. С каким-то злым, огромным, но хорошо спрятанным свистом в голосе:

– Хорошо. Я пойду на работу. Звукооператором.

Психу было лет двадцать пять, не больше. На лоб падали ровные выбеленные пряди, задымленные от бесконечной сигареты очки никуда не съезжали, под пиджаком, кажется, не чувствовалось ни влаги, ни запаха пота. Только что приехал из Англии и всё знал.

– Так с какими программами вы работали?

Нет, подумал Алекс, так не пойдёт. Если сейчас ему не дать по мозгам – ну, или по нервам, он потом на мне повиснет как клещ или вошь. А мне разница, какая у меня работа, когда Алёна трахается с Меркаловым, и это называется – жизнь в искусстве? Впрочем, всё равно. Он будет несказанно, несказанно богат, почти сойдёт с ума от счастья, и тогда скажет Алёне: бросай театр. Алёна будет прекрасной всегда. Он это знает.

– Ваших программ я не знаю, но если вы мне найдёте «Врум» Фриппа, я его вам через Нетскейп Навигатор тут же и прокачаю, а потом пропущу через эквалайзер, убрав все средние. И вы с ума сойдёте. Так?

Псих покосился и снова закурил сигарету. Если бы это была девчонка, он бы не церемонился. Но Марина, которая прикрыла этого бездарного старика, ему очень нравилась – и это его шанс получить Марину. Ненадолго. Она всё же старше. А женщин старше псих не очень любил. Ну, в виде исключения – Марина. Психа звали Виктором Викторовичем – так и звали. И вот, Виктор Викторович смотрел на Алекса, который годился ему в отцы (ну пусть не совсем) и думал, что без специальной корочки об окон-

чании курсов Нетскейпа не надо бы до этого святого дела допускать всяких бестолочей. Однако вздохнул и протянул заготовленный уже договор. Сказал, где расписаться. Поставил свою печать.

– Теперь к Марине Петровне, на подпись.

Марина Петровна оказалась не в кабинете, а тут же, в коридоре – откуда-то шла. Свободным, дружелюбным жестом пригласила, позволила открыть перед нею дверь, улыбнулась. А ведь вот это дружелюбие, эта готовность помочь – ничего не значит. Абсолютно ничего не значит! Как смешно и как романтично – человек возникает отражением на воде; улыбающееся милое отражение, а коснись – и вот уже в мокром, а то и тонешь. Остаётся только испытывать классические восторги, такие короткие перед долгими приступами пустоты и разочарования. Фатальная женщина среднего класса. Которого в России, возможно, что нет и никогда не будет. Вот отсюда – точно уехать. Заработает денег, уедет и Алёну увезёт. А что если у Алёны будет ребёнок от Меркалова? Нет, она же умница... На кой – умница. Алекс не мог ещё сознаться себе, до какой степени он уже увяз в быте, для него совершенно губительном. В этом мире нет места пяти часам в день игры на гитаре.

Марине было лет тридцать, не больше, а выглядела – иначе просто невозможно – моложе. Не намного, но моложе. На лице – трогательные следы недосыпа. Складки, обозначающие двух болезненных избалованных детей: двухлетнего сына и пятилетнюю дочь. И любовника – или гражданского мужа – симпатичного паразита, но дающего ей, согласно дорогим женским журналам, «счастье». Марина была скорее среднего роста, полновата, но благодаря кинематографическим каблукам казалась высокой. Лицо было в высшей степени неопределённое, внезапно притягательное. Настолько, что в следующую минуту могло показаться отвратительным. О таких скажут потом, через много лет: девушка из метро. Но у Алёны уже была машина, «шкода октавия». Глаза, большие, прекрасно оформленные, казались мультяшными. Так в мультфильмах рисуют хороших девочек. Эти глаза и выражали мультфильм – смотрели почти без выражения, но иногда очень забавно двигались, отчего лицо само собою строило презабавные «рожи». Алекс оценил: в интимной обстановке это очень бодрит. Марина напоминала картинку. Мальвину, например. Она и была Мальвиной. Поставила подпись и печать, велела зайти в бухгалтерию – «познакомиться и поговорить». Иногда в ней вспыхивало нечто, как лампа дневного света, – вот как теперь. Низкий голос навёл на размышления о скверном, мстительном характере – «радио Марина». Но какая Алексу разница – Ирина, Марина. После бухгалтерии поспешил на выход. В курилке – Виктор Викторович, смотрит пронзительно.

– Ну как ваши дела?

– Окей, – ответил Алекс. Как сообразил, что надо именно так ответить? Тоже мне, Майкл Дуглас.

И вдруг посмотрел на улицу, вниз, в нелепое толстое пластиковое окно.

Из машины – «жигули» – выходили двое: мужчина и девушка. Взгляд зацепился именно за ярко-зелёный свитер девушки, потому что в ней, кажется, ничего заметного не было. Мужчина был – совсем другое дело. Высокий, темноволосый, с усами и ровной небольшой бородкой. Усы удивительно подчёркивали сочный улыбающийся рот. Глаза скрыты тёмными очками. Алекс задержался у окна, затем перевел взгляд от свитера девчонки – к мужчине. Глаза остановились на причёске. Мужчина не носил стрижки с чёлкой – что его, конечно, молодило бы. Не носил вызывающего длинного хвоста с ухоженными концами, как многие остепенившиеся музыканты. Эти волосы, до стрижки, наверно, вьющиеся, лежали ровным спокойным каре, чуть выше плеч. Густые, рыжеватые прекрасные волосы. Внешняя прядь, идущая на лоб от косого пробора, падала слева направо – ровная, атласная прядь. Она слегка волновалась при ходьбе.

Алекс поспешил вниз. Он знал обоих. Толик и Аська. Поздоровались в вестибюле, тепло, как будто и не было неделю назад мерзкой торчовой кутерьмы, и Аське не надо было в четыре утра ловить тачку, чтобы везти Толика куда-то. Теперь Алекс понял, куда – к Марине.

– Ну, иди, Асёныш, иди, – мягко отстранил девушку Толик, даже обнял. – Благодарю, что была со мной, что проводила.

И поцеловал Аську в темя.

Алекс очень не хотел, чтобы была именно такая кода: печальные долгие отношения двух любовников и их бывших амуров, мелкий офисный мирок, надеющийся на свою мировую славу, внезапные неуместные запилы телефонов и эти исключительно доброжелательные, милые люди с мультяшными глазами.

«А ведь они же страдают! – озарило Алекса. – И эта миленькая Мальвина страдает, она же не дура вовсе, она не хочет Толика делить ни с кем. Но что она может сделать? И этот псих, с которым только что в курилке, – он тоже страдает. Потому что он – Шекспир, а вынужден быть офисной крысой. Они жить хотят, но не понимают, что у них все есть, и всем довольны, и пока ещё поймут, что всем довольны, и офисом довольны. А ведь интересно, какое у Марины образование? Надо спросить».

Алекс так и спросил:

– А какое у Марины образование?

Толик чуть повёл густой чёрной бровью:

– Филфак МГУ. Ты что, она – аспирантка Живова, ушла, а потом в бизнес подалась...

Вот что это – опиумный бред, или всё так и есть: передовая филологиня стала буквой эс в офисе? А он сам – где его мечта купить фендер. «Заработаю, куплю, уволюсь. Заработаю, куплю, уволюсь – увезу Алёну». Попрощался сбивчиво, но его поняли.

И потом, уже по дороге домой, в это Алёнино Подмосковье: «Я-то сам кто. Такой же. Жить хочу. И что я так на этот офис накинулся. Работа как работа, и скажи спасибо, что будет».

Алёна встретила его не в водолазке, а в длинной тунике.

– Была у врача. Беременна.

Даже «я» не сказала. Не моё, мол, дело. Что ж, надо жить. Такая значит кода.

Алёна обняла, усадила на матрас, почти повалила. Вот у Алёны грудь есть, и талия есть – она вообще на голове стоять умеет. И нос тонкий, ровный, как на иконах – апостолица помощи и сострадания. Она иногда Владимирской Богоматерью смотрит.

– Алекс, я аборт буду делать. Ты не беспокойся, заплачу сама, всё будет хорошо. Я тебя люблю.

Это было прямое двоякое признание: что спит с Меркаловым, но что ребёнка хочет от него. Да ну её; пусть делает, как знает. Но ребёнок. И отчего-то вспомнился давний Витюша – как Зина сидя спала, положив голову на кровать. И про кота Снежка, и про то, как Макс говорит: это мой сын.

– Нет, Алёнушка, оставь его. Это наш, наш. Уладится. Ты же мне сама про Марлен Дитрих рассказывала, как она беременной играла. Ты же круче.

– Круче, – еле слышно отозвалась Алёна и поцеловала Алексу руку.

II.

«Немцы никогда не могли довести начатое дело до конца; это говорит, в том числе, история великой отечественной войны. И этот их иенский романтизм, призраки которого возникают то тут, то там. А дело было – дать жить здоровой породе, и уничтожить другую, плохую породу. Это единственная и настоящая идея на всё человечество. То, что есть именно две породы – грешники и святые, – сомнению не подлежит, это во всех

священных книгах есть. Если бы я родился в Индии, был бы прекрасный кшатрий, и я считаю, что это одно из моих воплощений. Грешники ленивы и непредприимчивы. Святые умны и способны к действию. Вот истинные критерии. Знание человечества полно сведений о ловких и умных проходимцах, которые приносят пользу обществу и отдельным людям. И нет ни одного рассказа о том, чтобы непредприимчивый человек кому-то помог. Я предприимчив, но мелок, Руслик такой, но хоть что-то да умею. И потому должен использовать свои способности на все сто».

Руслан надевал новую джинсовую рубашку, купленную специально для него Лизой в амстердамском секонд-хенде. Ожидалась небольшая прощальная вечеринка; билеты в Стокгольм, а не в Осло, как ранее предполагалось, взяты были на третье сентября, а до того надо было ещё много успеть: слетать в родной сибирский городок, дооформить документы, договориться о дарственной на половину хрущёвской двушки, принадлежавшей родителям Руслана. Кроме того, Лиза позвала подругу – познакомилась с ней на выставке по рекламе в Копенгагене. Подруга эта шла вверх по маркетингу, по рекламе. Только недавно отечественные компании стали всерьёз заниматься паблик рилейшенз.

На кухне аккуратно расставлены банки с консервами несоветского происхождения. Но крабовые палочки – отечественные. По четыре штуки в слое небольшой двухслойной упаковки. Маслины Лиза выбрала греческие, хоть они, по её выражению, «очень в вине, очень солёные». Чай купила разный: «Пиквик» с малиной, в пакетах и «Джаялакшми» гранулированный. Салями – три сорта: немного итальянской, немного финского сервелата, правда, больше походившего на обычную варёно-копчёную колбасу, немного действительно дорогой и сухой салями, купленной в том же отечественном супермаркете. Соки были – апельсиновый, ананасный и томатный, по паре пакетов. Предполагалось – салат с крабовыми палочками, темпура с морепродуктами (купленными в том же супермаркете) и небольшие бутерброды. Пучки зелени и огурцы с помидорами, скорее напоминающие муляжи, уже вымытые, лежали возле поблёскивающей сталью мойки в пластиковой миске.

В Лизе восхищало в том числе и то, что её просьбы «взвесить сто пятьдесят грамм» никогда не встречали отказа. Руслан откровенно веселился: вот вам плевок в лицо, плебеи. Если бы кто русских попросил взвесить сто пятьдесят граммов колбасы, его бы послали. От Лизы глаз не отвести: стильная. Сухопарая, с плотными икрами жилистых ног, выбеленная до платины дорогой краской, «славянские волосы». Очки надевает только когда читает. А так глаза – серые. Сорока пяти, конечно, не дашь. Но в этом возрасте женщины знают, чего хотят. Когда читали вместе похищенный «дневник», воскликнула влажно: да это готовый сценарий! Руслан тоже воскликнул, наклонился и коснулся губами щеки: так кому покажем. Лиза лукаво отстранилась и закурила: мол, пока рано, давай с тобой разберёмся. Но очевидно, что была заинтересована.

«Должны жить только нормальные люди. Как там говорят – золотой миллиард. Жить должны только те, кто достаточно предприимчив, чтобы заработать и жить удобно. Кто не живёт удобно и не согласен с удобствами, того надо оставить в резервации, чтобы не мешал. Всех этих стариков, больных, всё это грязное порождение совка, глобального совка, который есть в каждом человеке. Человек должен жить хорошо, к этому надо стремиться. Иначе – как он будет жить? По вписках? С пустой хлебницей? Я видел, как они живут. Они отвратительны. Пусть бы и умерли от голода. Ну, или ввести распознавательные знаки: мол, ты красный, а ты зелёный. Человеческое общество-то по природе кастовое, и никуда мы от этого не денемся. Так что мне, кшатрию, нельзя быть среди неприкасаемых. Прощай, немытая Россия. Всего пять или сколько процентов на земле занимаются производством пищи. А остальных надо в резервацию, в лагерь. Пусть выживают, если смогут. Пусть. Не надо убивать. Немцы были правы, но не смогли довести

дело до конца. А это – банки спирта, беломор, дежурства, подполье – унижает. До глубины унижает. И опять-таки хочется же белый фендер-стратакастер».

Однако что-то в этих напряжённых мыслях не устраивало его самого. Руслан ещё не знал, что белый фендер у него будет.

Лиза готовила легко, словно порхала. Сделает глоток лёгкого вина, укусит кусочек сыра – и снова резать. На столе в квартире, которую снимала, в Столешниковом, был кухонный комбайн – модная новинка. Руслан принимал готовые блюда, эстетично уложенные в миски, расставлял на невысоком небольшом столе (а зачем они, эти совковые застолья; хотя втайне, конечно, разницы не ощущал). Иногда целовал Лизу в чуть смуглое плечико, с которого скатывалась намеренно большая радужная майка. Губы его нет-нет, да и натыкались на латекс прозрачной бретели. Наконец всё готово. Лиза вышла из ванной в джинсах и довольно демократичного покроя блузе с принтом баг, индийский узор. Почти не накрашенная – а зачем, когда домашняя вечеринка? На шее – некрупные, тёмно-красные, из уральской яшмы бусы.

Гости появились без опоздания. Довольно молодая, красивая пара. Он – высокий, со стильной, киношной стрижкой каре, она – в ярко-бирюзовом коротком облегающем платье. Руслана внешность этой Марины сразу же задела, как неуместно сказанное игривое слово. Широкие, видимо, раздутые от нагрузок рабочего дня, икры, тщательно вылизанные, несоразмерные с длинными бёдрами, которые могли бы быть даже красивы у женщины ростом под два метра, пальцы, которые поначалу казались аристократичными, при каждом движении вызывавшие вздутие вен на внешней стороне кистей – всё было ущербно и невероятно трогательно. А вот у ее спутника были красивой формы розовые руки бездельника. Он вообще был очень хорош собой.

– Это мой друг, Толя, он кинорежиссёр-документалист. Недавно снял фильм о московских бомжах и везёт его в Таормино на фестиваль, – представила Лиза.

Марина, Толина спутница, оказалась той самой подругой по Копенгагенской выставке. Что-то в облике Толи Руслану показалось знакомым. «О московских хиппи он фильм снял, а не о бомжах. Ну ничего, доживём и мы до Таормино. Дорожка уже подготовлена».

Вечер шёл мягко, без напряга. Руслан рассказывал милые истории, из тех, что так любил рассказывать незнакомым людям.

– Однажды у нас в городе – а ведь у нас есть свой академгородок, это наш Оксфорд – все захотели стать красными магами. В среде рокеров это значит – играть панк. Я оказался в одиночестве: я не панк и панком быть не хочу. Кстати, у нас были свои разновидности панка: цветкизм, гепардизм.

– Гепардизм? – переспросил Толя. Руслан заметил, что вся его суета вокруг Марины – принести, налить, спросить-поцеловать – не значила почти ничего. Мысли Толи были где-то совершенно в другом месте, хотя сам Толя с этим, конечно, стал бы спорить. Но как только Руслан запустил свою телегу, глаза Толи оживились.

– Да, основателя прозвали Гепардом. Он мастер каратэ и нескольких других боевых искусств, учился в Китае, некогда был перегонщиком скота в Монголию. Так вот, гепардизм – это такая разновидность дзэна. У Гепарда есть даже свои ученики. Идёт по улице – и вдруг бросается на асфальт и отжимается пять раз, или больше. Или: видит женщину. Подходит, берёт на руки и бежит с ней сколько-то. Его за это дамы очень полюбили. Но всё это не для меня, я человек домашний, спокойный. Так вот, я стал синим магом. Говорили, когда моя группа выступала, в зале... пошёл снег. Синяя магия – это снег, зима, домашний очаг, глубина погружения.

Руслан ждал Толиной реакции, но её не было. Толя смотрел на молчащий телефон: видимо, думал, звонить или нет. А потом вдруг посмотрел на Марину и сказал Руслану (Марина что-то забавное в это время поведала Лизе):

– Какой профиль, особенно когда голову вверх приподнимет. Профиль самого красивого попугая. Как вижу – меня трясёт, хоть и не первый день вместе. А вот когда говорить начинает – меня уже не трясёт. Но – понимаешь – никто её не отменял пока. Полный вперёд.

Руслан понимающе закивал головой и налил коньяку, предусмотрительно купленного Лизой в «Стокманне».

– А фильм точно про бомжей? Или про хиппи тоже? – Руслан посмотрел своими округлившимися башкирскими глазами в Толины очки и прочитал в них, что всё-таки попал.

Бровь Толи чуть двинулась, лицо сделало какую-то уж совсем обычную мину.

– Тема эта долгая. Про бомжей как раз понятно, мне как бездельнику и трудиться почти не надо было. Хотя могли побить, всё могли. Но я ж был не один. А тема хиппи такая, что трудно – сразу. Вот я, например, вчера в одной квартире был...

И вдруг – замолчал ввиду вдруг возникшей перед глазами квартиры в Чертаново. Катастрофически благоустроенной, с прачечной и биде, с огромной породистой таксой и двумя золотыми детьми, мальчиком и девочкой. Один из которых – мальчик – действительно подсел на чёрный и очень скоро, возможно, перейдёт на героин, который уже стал довольно популярен. Там же – Асан, из Алма-Аты, но русский. Волосатая урла в прошлом. Просидел семь за наркотики, наладил связи. Но теперь хочет вынырнуть из всего этого: без дома, руля и ветрил. И скорее всего не вынырнет. Там же старательная Аська, которая опять жаловалась на боли в спине и вдруг решила «полечиться». И она, а не Асан, поехала в десять вечера на Сокол, к двум жмотистым торчкам – купить на последние деньги (половина – её) ангидрид. Пришлось долго сидеть и ждать на лавочке в метро, потому что торчки в квартиру не пускают. Словом, говорить с этим музыкантом не о чем, хотя тот и понял бы. Но не стоит. Финалом этого сборища был звонок Марине, наглый звонок от Упыря, на квартиру которого пошли готовить и втираться все желающие. Аська передознулась и теперь лежит. Даже не блюёт. Упырь бил её, таскал за шиворот в ванную и заставлял блевать. Ругался: мол, ты давай, я видел, как уходят, мне этого не надо. Хорошо, трубку взял Толя. И вот, половина первого, снимается и едет. А мог бы и не ехать, но там вроде у них оставалось ещё Аськиного полкуба. Доехал. А мёртвая уже глаза открыла и смотрит ведьмой: мол, Хома, подойди ко мне. Сама, ещё не вполне очухавшись от передоза, поставила его. Руки на удивление были верными. Толя даже насторожился – а ну как она подсядет? Он не помнил, чтобы Аська ставила себя сама или кого-то. Для неё вмазывание было принципиальным знаком отличия. А тут – вмазала, да так ловко. Да, большая это тема. И вдруг – Толик заметил коленкоровый переплёт.

– Знакомая книжка! Где-то я её видел.

Руслан заметно побледнел.

– Да, знакомая книжка.

И продолжил, громко:

– Сначала – за родину. За мою историческую родину. И за ту страну, которая была до совка. А потом я спою.

Толик, отпив коньяк из низкого стакана, откинулся в глубину дивана. Даже убрал руку с Мариниого туловища. Записные книжки, которые он невесть откуда помнил, но которые точно возникали в его жизни. Очень интересно, очень интересно. Выплыло небольшое женское лицо с ввалившимися огромными глазами, старающимися из последних сил подняться туда, откуда ввалились. Орехово-зелёные глаза, окружённые короткими и очень густыми ресницами, будто подведённые. Тёмные – чёрный хлеб – волосы лежали вразброс вокруг лица с нелепо весёлыми маленькими скулами. Нос заострился, отчего стал казаться даже курносым. Рот был сжат, а губы словно растворились от су-

дороги. Как её звали? Лена? Да, Аська тогда принесла ей шампуни и мыло. Посидели, съели банку шпрот. И она тоже ела. Рот оказался большой, красивый. Потом они с Аськой ушли. Аська была очень привязана к ней. Толя даже спросил однажды: почему ты не скучаешь о Лене? Почему ты её не вспоминаешь? Аська так и вскинулась – а это надо видеть, как она злится. Тихо, выпрямив узкие губы: я-то её помню.

Из дневника Елены Петровой – Алины

«Июль, 1989. Вот зачем я лежу тут, на диване, когда могла бы несколько месяцев назад, раз уж так не терпится, замёрзнуть где-нибудь в Измайловском парке, заснуть при нуле градусов и не проснуться. Или выброситься в окно, сломать шею и умереть. С моего этажа можно – насмерть. Или повеситься. Или напиться уксусной эссенции. Затем корчиться в страшных мучениях, как, возможно, мне и хочется. Предпочла удобно лежать на диване, висеть на людях грушей, бездельничать и ждать, когда же наступит окончательное истощение. Это совсем не просто, но удобно. Как и всё в этом мире скоро станет – удобно. А почему выбрала это удобство? Потому что во мне есть самая последняя подлость. Хочу показать людям, какая я хорошая и значительная, всего-то. А все мои открытия последних месяцев не стоят, как мама говорит, выеденного яйца.

Однако нет, хватит себя забалтывать, это тоже работа на публику. Я провожу эксперимент, который никто никогда здесь и в моё время не проводил, а результаты во многом будут зависеть от места и времени. Я служу карточкой, на которой записаны будут сведения обо всех, кого я видела, с кем была и с кем говорила. И согласно этим сведениям будет идти распределение – но чего? важно, что распределение. Потому что мне самой не очень ясно – чего. Не бывает так, чтобы всё на свете ясно. Это не функция – карточка (потому что карточка живая), а миссия. На мне записаны даже линии фасада и интерьер подъезда дома, в котором пили чай, грелись и болтали – что ушло потом в клубящуюся бездну внутренней нищеты. Я просто сняла все препятствия, чтобы ничем не отягощённой идти по назначению. А моим близким это моё лежание дорого не обойдётся.

Потому что я действительно не могу есть. Потому что у меня всё стянуто в животе и горле, глотать не могу. Потому что всё это ужасно надоело. И просто потому что самоубийство – окно там, или петля – кроме редчайших случаев – неоспоримая глупость. Ввиду того, что спасение – есть, и возмездие – есть.

...А теперь остаётся только сказать: во имя Твоё. Но я не знаю, примешь ли».

(Окончание следует)

Александр БЕЛЯКОВ

НА ПРОСТОРАХ ОБЛЕТЕВШЕЙ РЕЧИ

***

что делать пьющему фантому
в домах тоскующих по дому?
смущать отцов?
стращать детей?
посеять сорную истому
на геометрии идей?

зима бесстыдно хочет лета
ландшафт распахнут до скелета
рассвет козлёночком одет
у полой жизни нет секрета
у голой смерти тоже нет

январь 2014

***

сухому зрению милы фотографические песни
январь просыпается старым голландцем
льдами накрылась усатая рыба печали
здравствуй праздник отсутствия боли

стоят во фрунт дома глухонемые
и час одетый снежной чешуёй
шагает медленно сквозь волю мировую
срастившую леса и небеса

январь 2014

Александр Беляков родился в 1962 году в городе Ярославле. В 1984 году окончил математический факультет Ярославского университета. Работал программистом, журналистом, редактором. Публикации стихов в журналах «Дружба народов», «Воздух», «Знамя», в «Альманахе Новой Камеры хранения» и др. Автор книг «Ковчег неуюта» (1992), «Зимовье» (1995), «Эра аэра» (1998), «Книга стихотворений» (2001), «Бесследные марши» (2006), «Углекислые сны» (2010). Стипендиат Фонда Иосифа Бродского за 2012 год.

***

безработные роботы истекают смыслом
у вертикальной родины вчерашняя голова
будний числитель идёт босиком по числам
их превращая в режущие слова

дух просвещенья мерещится в каждой щели
тьма дневная не знает своей тюрьмы
в люди гуськом шагают сыны и дщери
только мы по-прежнему только мы

февраль 2014

***

выковали якова из бяки
у вояки телеса двояки:
то ли сердце велико для плоти
то ли плоть умом не прополоти

дунь на день – оборотится прахом
узелки не удаются пряхам
помраченье вычитаньем лечим
счетоводу отчитаться нечем
потому что ночью из-за леты
прилетают бывшие предметы

февраль 2014

***

номадами в охотничьих ризомах
гуляют кротики в родимых чернозёмах
покорные натруженным кровям
откусывают головы червям

о если б кротиков дела не отвлекали!
они могли бы гнать по вертикали
то вверх то вниз
то в тишину то в гам
на пир передвижной к невидимым богам

апрель 2014

***

внизу леса и наверху леса
аэростаты вмёрзли в небеса

аэронавты ходят вверх ногами
и смотрят вниз перевернув глаза

они считают что они внизу
и если кто-то выронит слезу
она застынет между берегами
но слава богу – ни в одном глазу

апрель 2014

***

дом убегает от солдата
женщина меняет время на вещи
неврастеник практикует бесчувствие
упущенное становится неинтересным
местоимения меняются местами
прощание звучит приветствием
родина там где мы не заметны

5-9 июля 2014, Мюнхен

***

нет никого отвратительней старших детей
так шакалята брезгуют мертвечиной
так гуимплен отдирает от зеркала отраженье
так уроборос грызёт себя на износ
так свет умоляет: не трогай меня не трогай
так тишина учит молчать по-детски

август 2014

***

коридорчик свернулся калачиком
как удавчик объевшийся мальчиком

он торчит посреди коридорчика
как фургончик лишённый моторчика

мальчик седенький
печки да лавочки
невесомость воздушной удавочки

сентябрь 2014

***

свой под вечер принят за другого
тяжелеют на руках крапивы
сумерек абстрактные мотивы

в небесах передвигают мебель
солнце уронили недалече
наблюдатель обживает убыль

из малины смотрит иегова
горделиво каркают разрывы
на просторах облетевшей речи

сентябрь 2014

***

мертвецы атакуют восточный экспресс
мудрецы отменяют прогресс
манихейцы кроят из воздушных зеркал
боевой мадригал

отвернёшься к реке – а на той стороне
охлаждённое солнце поднялось в цене
в элизийских лесах – золотая пора
и ни зла ни добра

сентябрь 2014

***

вот предмет без особых примет
посылает пространству привет
то ли да
то ли нет
ни сокрыт ни раздет
воплощённое дао

полюби его детский ответ
и безмолвную мудрость удава
чтобы в теле не кончился свет

октябрь 2014

***

новации тонут в контексте
им пусто и холодно вместе –

стеной из мякины и стали
над ними традиции встали
ты можешь смеяться мудило
но время тебя победило
не злись же скотина тупая
в былом с головой утопая

октябрь 2014

***

финансы гадкое поют
плевки летают как салют
в зените реет чёрный кочет
никто покаяться не хочет

вступает в силу партизаний
закон змеиных притязаний
и темнота идёт на вы
как задница без головы

ноябрь 2014

***

картинку перепишут набело
как будто нас и вовсе не было
но тайно перейдём в натуру мы
не перегноями и травами
а нагноеньями и травмами
трофическими кракелюрами

ноябрь 2014

***

мне сообщила ночь в окне
о том что дело не во мне

меня заверил голос дня
что обойдётся без меня

как будто за какой виной
они побрезговали мной

о неимении моём
лишь я и сумерки поём

ноябрь 2014

Игорь БОБЫРЕВ

Оси нежности

I
от пустоты подует ветер
охватит нежные ладони
охватит детские лопатки
и сон их тронет

II
восстанут сны и на погоне
дороги утренней пустынной
качнутся вечные деревья

III
летят погоны городские
дороги с редкими зубцами
охватит снег их кубатуры
залива моря городского
всех рыб беспечных и случайных
поглотит горе

IV
овины снов забыли трезвость
и дев неведомая нежность
нам снится в поле
...

***

летят задумчивые птицы
и пролетают над зубцами
кремлевских стен вчерашних

летят слова над головою
и пролетают над душою
их след становится прекрасным

Игорь Бобырев родился в 1985 году в Донецке. В 1989-1991 гг. вместе с семьей жил в Будапеште. В 2007 году окончил исторический факультет Донецкого национального университета по специальности «История». Живет в Донецке. Стихи публиковались в журналах «Арион», «Волга», «Волга-XXI век», «©оюз Писателей», «Митин журнал», а также на сайте сообщества «Полутона».

***

как поцелуй летит веселье
и долгий вечер
зимний вечер

***

летят задумчивые птицы
и пролетают над душою

***

пропали окна стены бани
пропали рельсы крыши крылья
и деньги общество пропали
при всем засилии обилья
одни пропажи
все повторяет запустенье
глаза двойными ледниками
плывут и смотрят за границу
слова за нами

***

во время войны
можно повеситься
выйти на улицу
купить стекло
новые окна всегда лучше старых
можно включить телевизор
главное помнить
бомбы все равно долетают до места
и не спрячешь нигде
ни голос ни воспоминания

***

я сижу в комнате
за окном война
речка за год и та иссохла
трамваи не ходят
и вокруг ничего нет
главное место и помещение неизменны
окна выходят на поле
и зеванье заменяет нам голос

***

василий снова пишет ленинград
скучают усыпающие утки
и все их кря
сгрудились в промежутке
матраса комнаты огня

***

заглядывая в окно огня
которое
от движения принимает жизнь
места более впечатлительную
если верить слухам

так как глазами редко что можно увидеть
в нужный момент
чтобы память хранила
хоть что-то
кроме пустого места

Михаил ОКУНЬ

Рассказы

ТЕТЕРЕВ

Его фамилия была Тютерев. Мы, как тогда выражались, «отдыхали» в одном отряде пионерлагеря «Дружба» под Всеволожском. Высокий толстый мальчик в круглых очках, обритый наголо. Синие сатиновые шаровары, вельветовая тюбетейка, бобочка, непременный сачок в руках. Типовая внешность.

С Тютеревым никто не дружил. За что? – а за всё. За очки, за бобочку, за обритую голову, за то, что «жиркомбинат». За то, наконец, что никогда не отвечал на обиды и насмешки. Не свой был, в общем...

И я старался держаться от него подальше – чтобы не заразиться его изгойством. Хотя и не относился к его обидчикам. А втайне завидовал росту Тютерева. Э-э, был бы я таким, – разве позволил бы кому-нибудь, даже Герке Подтеребину с его гоп-компанией, над собой насмехаться?!

Впрочем, с Тютеревым дружила одна девочка, с которой тоже никто не дружил. Это была очень некрасивая девочка. Худая, сутулая. Глаза ее самопроизвольно съезжали к переносице. Прикус был неправильным, отчего верхние зубы торчали. Потому и дикция была сбивчивой, и, что самое ужасное, когда она говорила, вокруг разлетались брызги слюны. Такое не прощается!

Как же я был удивлен, когда однажды увидел их вместе в укромном уголке лагерной территории, – тихо, но оживленно беседующих друг с другом. Заметив меня, они примолкли и насторожились – я стал свидетелем их тайны.

Верховодила в нашем третьем отряде, как я уже сказал, компания Геры Подтеребина – вот с кем хотели дружить буквально все.

Гера отличался зачёсанным вверх чубчиком – подобием стиляжьего кока, лиговским прищуром, постоянным мелким поплёвыванием. В подручных у него были Генка Иванов и братья Маркеловы (Маркелы). Все они жили в районе Лиговского проспекта, знаменитой хулиганской Лиговки, и были близко знакомы с тамошней шпаной. Собственно, составляли ее младшую часть, подрастающее поколение.

Как-то раз Подтеребин сказал, что если кто-нибудь в лагере выступит против них, – даже ребята из первого отряда, даже пионервожатые, – из Ленинграда приедут «их пацаны» и поставят всех на уши. Я ему поверил.

Они были ребятами, которых в девяностых годах стали называть «отвязанными». Однажды на танцах в клубе Генка Иванов начал отплясывать шейк (или то, что мы тогда называли «шейком»). Репродуктор надрывался: «О, гив ми шейк! О, гив ми хэппи хэппи шейк! О, ай кант сит стил...»

Все остановились. Дёргался Генка лихо, внося в танец и некий церковный элемент – сцепив пальцы обеих рук в замок, он время от времени осенял себя крестом. Через полминуты всеобщее оцепенение прошло, и директриса лагеря Елена Игнатьевна страшным голосом закричала:

Михаил Окунь родился в 1951 году в Ленинграде. Окончил ЛЭТИ им. В.И.Ульянова (Ленина). Работал радиоинженером, литературным консультантом в ленинградской писательской организации СП СССР, редактором. Автор семи сборников стихов и двух книг прозы. Публикации в журналах «Волга», «Звезда», «Урал», «Нева», «Крещатик», «Интерпоэзия», «Зинзивер», а также в альманахах, антологиях в России, Германии, США, Финляндии. Лауреат премии журнала «Урал» (2006) в номинации «Поэзия». Золотая медаль конкурса «Лучшая книга года – 2010» (Берлин) в номинации «Малая проза». С 2002 года живет в Германии.

– Прекратить немедленно!!!

Потом было разбирательство, откуда же взялся этот самый «хэппи шейк». Оказалось, что Генка подбил на должностное преступление нетвердого радиста лагеря, осуществлявшего из радиорубки музыкальное обеспечение мероприятия. Подсунул ему самодельную пластинку «на костях», то есть на рентгеновском снимке чьей-то грудной клетки. Никак они не предполагали, что пожилая директриса явится на танцы с инспекцией.

Карательных мер, однако, не последовало. Где найдешь нового радиста в разгар лета? А с Генки всё как с гуся вода.

Лишних в свою гопу подтеребинцы не принимали, но я дружил со щуплым картавым мальчиком по кличке Черныш (по фамилии Чернышёв), примыкающим к их компании. Он жил с ними в одних дворах, был своим.

Тютерев, само собой, на танцы не ходил. Посещал он кружок «Умелые руки», что также не добавляло ему авторитета в наших глазах, – считалось, что туда ходят одни «чайники».

Не более «Умелых рук» был популярен и хоровой кружок – но лишь до тех пор, пока в нем не начали разучивать песню итальянских партизан «Бандьера росса». Петь эту боевую песню вдруг захотелось почти всем.

(Много позже я узнал, что это была любимая песня Леонида Ильича Брежнева, вскоре пришедшего к власти. Не зря же ее с энтузиазмом исполнял на кремлёвских концертах популярный певец Муслим Магомаев. А генсек, говорят, пускал слезу.

Впрочем, и всё политбюро любило всплакнуть, особенно в последние годы своего существования. Вот заводит другой популярный певец Иосиф Кобзон: «Пуля парня не брала – сплющивалась пуля!..» Уж и плачут. И некому стариков пожалеть и утешить...)

В хор Тютерев не рвался. Впрочем, я тоже. Ну, действительно, не всем же петь мужественное: «Аванти, пополо! А ла рикосса...»

Еще Тютерев не любил футбол. А любить его ох как важно было! Целые дни проводили мы на футбольном поле, стараясь отвертеться от всяких отрядных «мероприятий».

Вот стоит оно перед глазами: пыльное, без клочка травы, превращающееся в грязевое болотце при малейшем дождике. Черно-розовые сосны вокруг. Несколько лавок для зрителей, ворота с драной сеткой. Потертый, плохо надутый мяч из кожзама. Но главное – у меня с этого года есть настоящие вратарские перчатки с приклеенной на подушечках пупырчатой резиной! До этого были только изношенные кожаные, отцовские.

В тот, 1962-й год, проходил чемпионат мира по футболу в какой-то далекой южноамериканской стране Чили. От него к нам долетали только глухие отголоски, которые мы жадно ловили. Вот сборная СССР, ведя 4:1 в матче с неизвестной нам Колумбией, где тоже, оказывается, играют в футбол, пропустила три мяча и сыграла в итоге вничью 4:4. И кто пропустил эти голы? – Яшин, сам великий Лев Яшин! Невероятно!..

Вскоре сборной пионерлагеря «Дружба», состоящей, естественно, только из первоотрядников, предстояло встретиться в товарищеском матче с приезжающей в гости командой городской футбольной школы «Смена».

Наши были, мягко говоря, слабоваты. И на игру с гостями команду укрепили парой вожатых помоложе. А также, как по секрету сообщил мне Черныш, специально на матч из Ленинграда вызывают настоящего вратаря Веретенникова, играющего в чемпионате города за «первых мужиков» завода «Северный пресс». Завод сотрудничал с НИИ, от которого был наш лагерь. То есть, хотя бы формально, Веретенников был к нам причастен.

(Надо заметить, что в те годы ежегодно разыгрывалось первенство города среди спортклубов предприятий. От каждого клуба – по нескольку команд взрослых и юношей. Отсюда и пошло – «первые мужики», «вторые юноши»... Результаты всех матчей печатались в листке «Спортивная неделя Ленинграда», достать который в киоске «Союзпечати» было посложнее «Крокодила».)

«Вер-р-ретено! – картаво восторгался Черныш, – Вер-р-ретено! Ни одной банки не пропустит!»

Известный вратарь оказался худым сутуловатым юношей со смешным «ёжиком» на голове. Был он ненамного старше наших первоотрядников, лет восемнадцати-девятнадцати. Но, судя по повадке, весьма уверенным в себе.

Я хорошо помню тот матч и его счет. Вопреки прогнозу Черныша, Веретено пропустил девять «банок», и сборная лагеря проиграла 0:9.

С таким счётом на чемпионате мира не проигрывали даже отпетые аутсайдеры. Нестерпимый, несмываемый позор!

В конце матча Веретено, решив сделать хорошую мину при плохой игре, изобразил тяжелую травму после прыжка в ноги нападающего противников. Его под руки увели с поля. И позже, весь день не выходя из роли, он ходил по лагерю скрючившись и держась за поясницу, а вечером уехал в город.

«Ничего там не было!» – перешёптывались мы между собой, по-детски считая именно Веретенникова виновным в сверхкрупном поражении. Хотя, понятно, в том была не только и не столько его вина. Но мы же читали «Вратаря республики» Льва Кассиля и свято верили в полную непробиваемость настоящего голкипера. Однако вот и Яшин...

Когда мы, раздосадованные, расходились после матча, навстречу нам попался безмятежный и довольный Тютерев со своим сачком и какими-то жучками в баночке, прикрытой лоскутком марли. И в этот самый момент стал он нам совсем уж ненавистным, и это чувство сплотило нас.

Он прошел мимо, а меня словно что-то толкнуло. Я повернулся и побежал за ним. А пробегая мимо, громко, зло, но в то же время восторженно и с сознанием собственной правоты, прокричал ему в лицо:

– Тетерев задрипанный!!!

Последнее слово лишь недавно вошло в мой словарный запас и очень мне нравилось. А «тетерев» показалось верхом находчивости. (И, надо сказать, прижилось. С этого момента Тютерева только так и стали называть.)

Подтеребин и компания, дразнившие Тютерева как бы уже нехотя, оживились и одобрительно заржали.

Тютерев только взглянул на меня – искоса, не укоризненно и не осуждающе – как-то особенному, будто немного удивленно. Мол, и этот туда же...

Заканчивается наш очередной лагерный день вечерней линейкой, а она –«речёвкой». Старший пионервожатый провозглашает:

– Над нами небо ночи, ребятам спать пора!

А мы отвечаем хором:

– Спокойной ночи, родина, до светлого утра!

Какой безымянный пиит изобрел сей шедевр?..

Я, как и Тютерев, как и подтеребинцы, отбыл «пионерское лето» от звонка до звонка. Как втайне завидовали мы тем, кто оставался только на две смены, а еще лучше – на одну! И уезжали с родителями куда-нибудь подальше, на Чёрное море...

По три смены проводили в лагере уж самые «пропащие». Значит, было у нас нечто общее – и у меня, и у Черныша, и у компании Герки, и у Тютерева с его некрасивой подружкой.

Но вот закончилась, наконец, третья смена. Мы разъезжаемся по домам. Могучая сборная СССР не дошла даже до полуфинала, проиграв в четвертьфинале сборной хозяев чемпионата. «Спокойной ночи, родина!..»

Больше Тютерев в пионерский лагерь не приезжал.

Хотелось бы мне повстречаться с ним сейчас? А зачем? – и так всё ясно...

Кем он стал? – скорее всего, как и я, «итээром», если закончил вуз. Ну, может быть, рабочим, служащим каким-нибудь. Энтомологом, наконец, если вспомнить его всегдашний сачок. В общем, тем же, кем и все мы, – «простым советским человеком». Напомнил бы я о той обиде, извинился

бы? – нет, конечно. Столько еще было в жизни обид посерьёзнее, – так стоит ли вспоминать о тех, детских? (Хотя я-то всегда иначе на обиды реагировал – пытался ответить тем же. А надо было, вероятно, как Тютерев...)

А вот Черныша я встретил, когда в начале восьмидесятых годов пошел трудиться в НИИ, где когда-то работала техником мама и от которого, как я уже говорил, была наша ведомственная «Дружба».

Он трубил слесарем в опытном производстве, пойдя по стопам родителя. От него я узнал, что и Гера Подтеребин, и Генка Иванов, и оба Маркела хорошо не кончили. «Как Ленин и большевики, – прокартавил Черныш, – всё по тюр-рь-мам да по тюр-рь-мам...»

...Но до сих пор вижу взгляд обритого наголо толстого мальчика в круглых очках – после того, как далёким июньским днем, захлёбываясь от дурацкого восторга, я прокричал ему: «Тетерев!..»

2014

КОЛЕЧКИ

Командировка в городок Ф. не сулила ничего веселого – лишь хлопоты да неудобства. Но послать было некого, – у всех, мать их за ногу, «семейные обстоятельства». Даже у безотказного Климова, любителя «оторваться» на выездах, каким-то образом народился младенец, а жена оказалась в больнице. Не говоря уже о «тётках» их отдела, сорока- и пятидесятилетних инженершах, в любой момент готовых взять больничный на пару недель. Давление у них у всех! Короче, как руководитель заказа, «рюкзак», на котором лежит обеспечение комплектующими, он вынужден был ехать сам.

Дело в этом городке было плёвое. Там находился небольшой завод по производству всяких пластмассовых штучек, и в число его продукции входили силиконовые колечки, по неожиданному совпадению идеально подошедшие как уплотнители для полистироловых поршней шприцов разрабатываемого ими медицинского ангиографа.

Этот электронный прибор был предназначен для автоматического введения рентгеноконтрастного вещества пациенту при рентгеновском исследовании кровеносных сосудов. В мировой практике использовались ангиографы из США и ФРГ, которые и закупались для лучших клиник Москвы и Ленинграда за валюту. Но в связи с экономией последней отделу медицинской техники, в котором он трудился, была поставлена задача разработать отечественный аналог, не уступающий зарубежным.

Прибор был практически готов для опытной эксплуатации. И вот из-за мелочи, колечек, дело встало. Таким образом, надо ехать, договариваться о поставках, согласовывать техническую документацию, заключать договор.

Вообще, научно-исследовательский институт, к которому принадлежал отдел медтехники, занимался куда более серьёзными делами – разрабатывал оборудование для атомных подводных лодок. А «медицина», составлявшая дай бог один процент от объёма разработок, была неким «бесплатным приложением», служившим для налаживания связей в лучших профильных клиниках страны. Чтобы, в конечном итоге, при необходимости пристраивать туда на лечение многочисленное институтское начальство среднего и высшего звеньев, находящееся в пред- и послепенсионном возрасте. И, естественно, обладающее набором сердечно-сосудистых и прочих заболеваний.

Завод назывался «Красный химик». Название не лучше и не хуже других (был же в столице НИИ ХУЯ – «Научно-исследовательский институт химических удобрений и ядов», и ничего).

Раздражало же то, что командировка была совсем не подготовлена – ни маломальских связей на месте, ни хотя бы фамилий тамошнего начальства. И где главный конструктор заказа Тверской этот заводик с его силиконовыми колечками откопал? Или чего-то не договаривает?..

Хорошо хоть, что вся эта байда не на зиму выпала. Июнь в Ленинграде стоял на редкость хороший.

Добираться надо было одну ночь на поезде до областного центра, а там еще час на электричке. Он вышел на вокзальную площадь городка Ф. Свежевыкрашенный в темно-зеленое гипсовый Ленин. Несколько старинных каменных особняков в центре, а дальше уже маячили деревянные окраины. Справа виднелся серокирпичный квартал пятиэтажек постройки годов шестидесятых. Типовой российский райцентр, тысяч на десять-пятнадцать жителей. Он расспросил дорогу до «Красного химика», бывшего, видимо, «градообразующим предприятием».

В бюро пропусков минут десять ушло на расспросы, откуда он и зачем. Наконец, куда-то позвонив по местному телефону, выписали пропуск.

– Куда мне? – спросил приезжий.

– Это вам Конфетцева надо!

– Что мне надо? – не расслышал он.

– Конфетцев, зам по производству, корпус управления, первый этаж.

Зачем было сделано последнее уточнение, он не понял, потому что «корпус управления» представлял собой дряхлое каменное строение высотою ровно в один этаж. В прошлом, наверное, склад какого-нибудь местного купца.

Он вошел, походил туда-сюда по коридору, нашел соответствующий кабинет.

Зам по производству оправдывал свою фамилию – был кругленьким, гладким, каким-то даже аппетитным. Говорил сладким тоном. Выслушав просьбу командированного, он, опытным глазом оценив его относительную молодость и некоторое слегка демонстрируемое превосходство жителя «северной столицы», сладостно развернул перед ним картину полной невозможности обеспечения ангиографа этими самыми силиконовыми колечками, которые Конфетцев называл не иначе, как «изделие 85 энэм дробь эс».

Производство расписано на годы вперед, документация разработана не ими, а основным заказчиком, и тот наверняка будет против использования«изделия»в сторонних целях. А то, что ваш НИИ нуждается лишь в небольших количествах «85 энэм дробь эс», работает как раз против вас – «Красный химик» в мелких заказах никак не заинтересован.

– Ну, допустим! – начиная раздражаться, перебил командированный. – Кто основной заказчик? – мы попробуем с ним всё согласовать. Интеграция там, кооперация...

Конфетцев подивился этакой наивности:

– Как же я могу сообщить вам подобные сведения? Вы ведь работаете в Ленинграде, в номерном НИИ! – сами должны такие вещи понимать. Разработчик, естественно, засекречен.

Поняв, что дальнейший разговор с замом бесполезен, приезжий твердо заявил, что хочет попасть на прием непосредственно к директору.

– Игорь Палыч на партхозактиве в области, будет не ранее завтрашнего дня, – ласково, сознавая полную победу над залётным выскочкой, протянул Конфетцев. И, чтобы добить жертву, прибавил:

– Дело ваше, конечно, но от него вы услышите всё то же, что и от меня...

– Посмотрим, – упрямо сказал приезжий. – Кстати, мне бы в гостиницу устроиться. Не поможете?

– Я городской гостиницей не командую, – с признаками нетерпения и даже грубовато ответил Конфетцев. Но спохватился и сбавил обороты: – Либо попробуйте сами, либо зайдите в отдел быта. В их ведении находится заводское общежитие, одну комнату в нем, насколько я знаю, держат для командированных.

(«Ну вот, теперь еще и общежитие!..»)

И вдруг неожиданно, отчетливо и грассируя по-ленински, Конфетцев, словно поймав снизошедшее вдохновение, выговорил:

– Не смею более задерживать. Всех благ, сударь мой!

Командированный вышел из кабинета, внутренне вскипев. Достал его не столько даже облом с колечками, сколько эта последняя выходка зама. «”Всех благ, не смею задерживать...” Ну что за фигня! Что у них в головах?!»

Немного успокоившись и решив, что синица в руке лучше, он нашел отдел быта.

«Комната для приезжих свободна, – подтвердила начальница отдела, толстая тётка лет пятидесяти, но комсомольского вида. – Вам нужно взять у нас направление и оплатить одни сутки на кассу (“на кассу”!). А в случае необходимости продлить». И обратилась к своей единственной («отдел»!) сотруднице: «Галина Александровна, оформите, пожалуйста!»

Он поблагодарил и подошел к столу Галины Александровны. Та взглянула снизу вверх и зачем-то встала. Стройная, чуть раскосые глаза, лет тридцати. Только вид будто чуть пришибленный. Гоняет ее, наверное, эта бывшая «комсомольская богиня».

Сотрудница выписала кассовый ордер:

– Оплатите рубль семьдесят в кассу, через дверь направо, и возвращайтесь. Я пока выпишу направление. Только поторопитесь, до конца рабочего дня десять минут.

Когда он вернулся, начальницы уже не было, – ускакала, видимо, пораньше. Получив направление, он спросил:

– И куда?

– Это близко, но трудно объяснить. Я сейчас уже закрываю и могу вас проводить. Давайте отмечу пропуск.

Они вышли из проходной, сопровождаемые взглядами. Пошли по тропинке среди лопухов и дудок, по досточке перешли гнилой ручей-выползень. И сразу оказались в районе пятиэтажек, которые он видел от вокзала. В подъезде одного из домов и находилось общежитие завода.

«Это к нам, из Ленинграда», – сказала Галина Александровна комендантше, и он отдал бумажку.

Поднялись в унылую типовую комнатку на две койки. Он поставил сумку на стул и огляделся. «Просидеть здесь весь вечер? Хоть бы сосед какой-никакой...» И, недолго думая, сказал:

– А давайте, Галина Александровна, теперь я вас провожу. До дому.

Она согласилась. Опять шли какими-то задворками. Пока шли, стемнело. Минут через двадцать добрались до двухэтажного деревянного барака о трёх подъездах. Он стоял на отшибе, кругом был кустарник. Тускло светилось несколько окошек. «Вот здесь я и живу», – сказала она.

На прощание он неожиданно для себя притянул ее за плечи и поцеловал в губы. Она вдруг прижалась к нему и зашептала:

– Ко мне нельзя, мы с мамой вдвоем в одной комнате... Давай здесь...

Она потянула его в гущу кустов. Они продрались сквозь заросли и очутились как бы в небольшом естественном шалаше, посреди которого стоял топчанчик – старый пружинный матрац на подложенных кирпичах. И трехногий стул рядом. Удивлению его не было предела, но он не отступил...

«Галя! – уже через несколько минут захлёбывался он. – Галя...»

Похолодало. Они поднялись с продавленного «ложа любви». Ну и ну!..

Он засобирался в общагу. Уже прощаясь, сказал:

– Как-то всё внезапно...

Она ответила просто, но исчерпывающе:

– А ты поживи здесь!..

И, уже напоследок:

– Ну, дорогу, надеюсь, сам найдешь, – резко и с иронией. От ее служебной забитости не осталось и следа.

На следующий день, придя на завод, он узнал, что директор «Красного химика» не появится до конца недели. Больше в Ф. делать было нечего.

Он заглянул в отдел к Гале, вызвал ее в коридор, не обращая внимания на недоуменные взгляды «комсомолки». Сказал, что уезжает сегодня во второй половине дня. «Зря приезжал!» – вырвалось у него в сердцах. «Почему?» – поинтересовалась она, и он рассказал о колечках.

Она вызвалась проводить его вечером до электрички. Он отметил командировочное удостоверение и отправился в общежитие собрать вещи.

На вокзале она сунула ему в руки целлофановый пакет. «Потом посмотришь», – сказала. «Уж не бутерброды ли?» – подумал он, вспомнив торричеллиеву пустоту прилавков привокзального продмага.

– Ну, приезжай в гости! – сказал без энтузиазма.

– Пригласишь – приеду.

– Вот и приглашаю.

Она улыбнулась:

– Так не приглашают...

«Действительно, что это я...» – спохватился он. И, секунду поколебавшись, дал ей номер своего телефона.

В электричке открыл пакет. Он был полон силиконовых колечек. На дне виднелся скомканный клочок бумаги. Записка, что ли? – он развернул и прочел: «Сертификат упаковочный. Изделие 85НМ/С».

Главный конструктор Тверской высыпал содержимое пакета на стол. Колечки с готовностью раскатились по столешнице.

– Ну, ты даёшь! – обрадованно воскликнул он. – На два года вперед программу производства обеспечил! Честно говоря, не думал, что у тебя получится. У них там зам по производству, с кондитерской фамилией, – тот еще хмырь...

– Так вы с ним знакомы?..

– Сталкивались на комиссии минздрава, они кое-что для медицины лепят, – уклончиво ответил Тверской. И примирительно добавил:

– Не бери в голову. Не хотел тебя заранее накручивать...

(«Лучше бы накрутили!» – подумал он. Перед мысленным взором всплыла сладко улыбающаяся физиономия Конфетцева, в ушах заскрежетало его издевательское грассирование.)

– А как же с документацией? – спросил, – эти чёртовы фитюльки надо в спецификацию вводить...

– Что-нибудь придумаем! – главный конструктор не терял всегдашнего оптимизма. – Разработчика по своим каналам попробую пробить. А пока – растачиваем желобки на поршнях, ставим уплотнительные кольца и рассовываем опытную партию по клиникам. Что там через два года будет – одному богу известно!

Тверской был человеком опытным и как в воду глядел. Через два года, в 1990-м, он уже проживал в израильском городе Араде.

В Ленинград, вскоре вновь ставший Санкт-Петербургом, Галя так и не приехала.

Первый отечественный ангиограф в серийное производство не пошел. Отдел медтехники благополучно прекратил свое существование.

Год спустя после отъезда Тверского, увольняясь из института и ревизуя свой рабочий стол, бывший «рюкзак» нашел в ящике завалявшееся силиконовое колечко (изделие... как там его?) и сунул в карман. На память.

2014

«ЧЕРНЕЕТ ДОРОГА...»

– Поедешь ты или нет? – уже начав раздражаться, вскричал Генрих Груббе и грозно блеснул стеклянным глазом. – Трудно мою просьбу выполнить?!

Лугин понял, что более лучше не препираться. Поэта-фронтовика Груббе, штатного сотрудника Дома писателя имени Маяковского и члена комиссии по работе с молодыми литераторами, одним из каковых являлся и Лугин, все побаивались.

Груббе потерял глаз на фронте. Пуля попала в висок. Почти наверняка смертельное ранение, особенно в условиях боя. Но санитарка, вытащившая его из-под огня, хирург военно-полевого госпиталя и это самое «почти» спасли ему жизнь. Хотя глаза Груббе лишился. Всё это он описал в одном из своих стихотворений.

Каково было ему, потомку обрусевших немцев, с такими именем и фамилией на войне? – странно, что СМЕРШ не прикопался...

Груббе просил Лугина съездить по одному адресу на Якорной улице («Ведь в двух шагах от тебя!») и посмотреть, что там и как, поговорить, обсудить стихи. С Якорной приходили объёмистые пакеты со стихотворными рукописями от девушки-инвалида.

Минут пять назад Груббе поднялся из буфета огорчённый, сел за письменный стол и досадливо выдохнул:

– Опять Реза как дереза!

Лугин знал, что Груббе имеет в виду своего друга, крымско-татарского поэта Резу Халидова (как тот сумел после возвращения с фронта избежать депортации, подобно большинству своих соплеменников, было загадкой). Приближалось 9 мая, и Халидов, придя в Дом писателя, затащил Груббе в буфет. Там, однако, заметно переусердствовал, – да так, что с вахты пришлось вызывать ему такси.

Утвердившись за столом, Груббе начал «делать дела». В принципе человек незлой, он был весьма сварлив, а тут Лугин попался ему под горячую руку. Да еще, переоценив градус Груббе, стал отнекиваться от неприятного поручения. В общем, приходилось соглашаться.

Метко прицелившись, одноглазый поэт безошибочно выдернул из монблана рукописей в углу за спиной толстый коричневый конверт нестандартного формата, пробормотав при этом «Сама склеивает, мать ети...», и протянул его молодому поэту:

– Вот, последнее. Бери с собой. Без звонка поезжай, я обещал, что сегодня человек будет. Да посмотри по дороге!

Тут надо сказать два слова о «молодых литераторах» в целом и о Лугине в частности.

Работал Лугин инженером в НИИ, и при этом был членом Клуба молодых литераторов при ленинградской писательской организации. В клуб этот объединили «продвинутых» поэтов и прозаиков, по возрасту пока укладывающихся в размытые рамки «молодой» и переросших уровень лито. Уже имевших публикации, а то и первую книжечку, обычно являвшую собой тощенькую «кассетную» брошюрку страничек на двадцать. То есть это были кандидаты на вступление в вожделенный Союз писателей СССР. Но это дело надо было еще «отслужить»...

Лугин читал стихи на литературных вечерах в Доме писателя, сдавал рукописи в коллективные сборники, участвовал в молодежных конференциях. Даже выезжал на платные выступления по путевкам отдела пропаганды писательской организации. В места, правда, весьма хреновые, куда уважающего себя члена СП ни за какие коврижки не заманишь.

Но заявки в бюро поступали из самых необычных учреждений, и надо было их удовлетворять. Так, в последний раз Лугин выступал в лечебно-трудовом профилактории где-то за Павловском. В ЛТП запирали отъявленных алкоголиков, и режим там был тюремный.

Взамен за все эти «привилегии» требовалось выполнение некоторых поручений. К примеру, обзванивание по адресному справочнику союза с оповещением о продуктовых наборах. Или по-

сещение одиноких пожилых писателей. Не слишком обременительно, а иногда и небесполезно в плане установления новых связей.

Случались, впрочем, и казусы. Однажды, изрядно перебрав у одной гостеприимной маститой поэтессы, Лугин «впал в состояние» и, раздевшись догола, бегал на четвереньках, крича «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй». И при этом действительно лаял.

Но, слава богу, поэтесса, будучи человеком с юмором, его энтузиазм оценила и жаловаться на нового Тредиаковского не стала.

Лугин спустился в буфет, принял сто грамм для поднятия настроения и отправился на задание.

Но, оттягивая визит, он решил по пути ненадолго завернуть к одной знакомой. Там он имел неосторожность, вылезши из постели, выпить подкисшего домашнего вина, так как других видов алкоголя в хозяйстве не оказалось. Его тут же «пробило». Задание оказалось под угрозой срыва.

«Как однообразна человеческая жизнь! – размышлял Лугин, скучая на унитазе. – Сплошь физиологические акты. Только один закончил – уж и следующий подоспел».

Настроение еще больше испортилось. Желудок, однако, после нескольких таблеток активированного угля более-менее пришел в норму.

В троллейбусе Лугин достал рукопись из конверта. Аккуратные бледные стихи, кирпичики четверостиший. Обилие эпиграфов из поэтов Серебряного века. Кроме них, зацепиться почти не за что. Всё каллиграфически переписано от руки.

Он вышел под мелкий дождь, дошел до пятиэтажки серого кирпича, позвонил в квартиру третьего этажа.

Дверь ему открыла худая изможденная женщина лет сорока. Он представился. «Проходите,– сказала она тишайшим голосом. – Как раз обедать заканчивают...»

Еще в коридоре Лугина стали обволакивать «ароматы». А при входе в комнату его принял в себя крепкий настой из запахов пищи, опрелого тела, ношеного белья и еще бог знает чего. Запах инвалидности. Но отнюдь не запахи прибили его...

По стенам небольшой прямоугольной комнаты стояли две кровати, а в них, обложенные подушками, в вертикальном положении помещались два «тулова». Это слово сразу пришло на ум Лугину, и отделаться от него он уже не смог.

Тулова были похожи: с большими головами, сидящими как бы без шеи, гипертрофированной грудной клеткой, выпирающей ребристым днищем морского ялика, с короткими ручками, без ног. Отличало их то, что одно принадлежало юной девушке, другое – старухе...

На табуретках перед обеими стояли пустые тарелки. Обед, очевидно, был уже закончен.

Девушка, выжидательно и немного испуганно глядя на визитёра, в нетерпении крикнула женщине, открывшей Лугину:

– Мама, пожалуйста, убери поскорей посуду! И у бабушки тоже.

Та освободила для Лугина табуретку, протерла тряпкой. Он осторожно сел у кровати девушки.

«Мама...» Значит, эта женщина, в глаза которой лучше было не заглядывать, приходилась матерью одной и дочерью другой. И в генах своих несла какую-то жуткую наследственную болезнь, «родовое проклятие», передававшееся через поколение. Сама же не была им затронута.

(«Не была затронута»?.. – еще как была! Мечется между двумя родными беспомощными людьми: вынести судна, помыться, завтрак, обед, ужин, снова судна... Стирка, магазин, уборка. Надо, надо, надо... Каждый день, изо дня в день. Мужа, видимо, нет – долго этакой каторги не выдержал.

Но старуха-то какова! – подивился Лугин, – нормальную дочь родила! А главное, каким-то непостижимым образом «познала таинства любви», как пишет каждая вторая дилетантствующая поэтесса. Чудеса!..)

Однако надо было приступать к разговору. Лугин достал из портфеля конверт, собрался с мыслями и начал мямлить.

Девушка, вскидывая на Лугина черные выразительные глаза, внимательно слушала. Старуха из своей кровати сердито посверкивала на обоих. Была, очевидно, недовольна внезапной помехой послеобеденному тихому часу.

– Вы, на мой взгляд, слишком злоупотребляете эпиграфами, подчас они слишком объёмны и словно подавляют текст самого стихотворения, – несколько оправившись, веско говорил Лугин (должен же он был что-то говорить). – Вот, например, из Ахматовой: «Чернеет дорога приморского сада, желты и свежи фонари...» И тэдэ. Восемь строк, всё стихотворение целиком. Многовато.

И неосторожно добавил:

– Хотя, помнится, в оригинале «темнеет»...

Внезапно она вскинулась и начала горячо возражать:

– Нет-нет, именно «чернеет»! Это Вертинский в своей песне изменил. И еще в двух местах испортил. Анна Андреевна была очень недовольна...

– Да-да, припоминаю, вы правы... – пробормотал Лугин.

Она, тем не менее, продолжала, словно только и ждала этой возможности выговориться:

– Понимаете, «темнеет» – это когда становится темнее и темнее, а «чернеет» –значит, дорога уже настолько черна, что выделяется даже из окружающей тьмы... Полная безнадежность... Вы понимаете?..

«Какая, в конце концов, разница? – темнеет, чернеет...» – продумал Лугин и не стал ввязываться.

Постепенно разговор иссяк. Лугин томился. Он отказался от чаю и собрался уходить.

На прощание пообещал, что непременно отберет несколько стихотворений из рукописи и передаст в редколлегию ежегодного альманаха «Молодой Ленинград».

– Спасибо! – сдержанно сказала она. – Вы не представляете, как это для меня важно...

Уже в дверях мать поэтессы окинула его взглядом, каким, должно быть, смотрят сокамерники на выходящего на волю.

Спускаясь, он подумал: «Третий этаж... Лифта нет. Каких-либо съездов, естественно, тоже. Действительно, тюрьма... »

Неподалеку от дома он заглянул в знакомый дешевый разлив, заказал двести граммов водки и полстакана томатного. Потом решил добавить еще сотку. Расплачиваясь у стойки, неожиданно для себя спросил буфетчицу Раю: как, по ее мнению, лучше – темнеет дорога или чернеет?

«А как, бля, в контексте?» – выкрикнул из-за соседнего столика незнакомый эрудит.

Рая уклончиво улыбнулась и ответила:

– По мне – пусть лучше светлая будет...

Через пару дней Лугин, избегая лишних подробностей, доложил Груббе о проделанной работе.

– Зря ты ей «Молодой Ленинград» посулил!– подосадовал тот. – И так вас полно, автобус не резиновый. Хоть одно-два годных стихотворения можно там наскрести?

– Ну, вот, например... – Лугин протянул листок.

Груббе прочел вслух:

Две корзины, старый нож,
Чёрный хлеб, щепотка соли
Да внезапный летний дождь,
Что застал в открытом поле.

Ржавый обруч на бадье.
И в заброшенном колодце,

В темной лиственной воде –
Первая звезда смеётся.

– Ничего зарисовочка, может пойти, – резюмировал он. – Живо, с натуры...

«С натуры – это вряд ли...» – подумал Лугин.

Через некоторое время он забыл и о девушке-инвалиде, и о ее стихах, – как о неприятном эпизоде, нарушившем веселое течение жизни. Как ее звали, добрались ли в конце концов ее стихи до печатного станка? – нет, со временем ничего в памяти не осталось...

В конце восьмидесятых годов сбылась мечта Лугина – он вступил в Союз писателей. Но почти сразу же всё и развалилось. Канули в небытие ежегодные бесплатные путёвки в Комарово, Малеевку, Коктебель, Дубулты. Как и сборнички стихов членов союза в Лениздате (раз в пять лет на среднестатистического пиита). Писательские «блага» остались лишь для тех немногих, кто стоял у распределительных вентилей «союзов писателей», образовавшихся на обломках единого СП СССР.

Лугин продолжал тянуть инженерную лямку. Промелькнули девяностые, начались «нулевые», затем десятые. Лугину перевалило за шестьдесят. Жил по-пенсионерски, один.

Однажды ночью, проснувшись от острого прокола в сердце, он внезапно понял, что дорога, действительно, чернеет...

2014

Марина ПАЛЕЙ

***

по глазу – бритвой – разрез будет пенный, неровный –
словно моторкой – по глади озёрных вод
поделим глазное яблоко – запретный плод
для Близнецов, Козерога, Овна –

и прочих, кого не минует хохочущий брадобрей...
уже даны указания осветителю и помрежу
и я шепчу свою реплику: убей ты меня, убей
а ты шепчешь свою: я и курицу не прирежу

Павловск

I.
На том плацу – пустынном, аккуратном,
Далёко лип и мраморных киприд,
Игрушечный курносый император
Почти что с детской шпагою стоит.

Там солнце за его спиной садится,
Манжетой жёсткой сдавлена рука.
И тонким хвостиком висит косица
От кукольного парика.

Надменно опирается на шпагу,
А всмотришься – он болен слаб и зол:
Тяжки – и маскарадная отвага,
И невзаправдашний камзол.

Как он попал на этот постамент?
Так мальчик забирается на крышу –
и вдруг не слезть назад.
Ещё момент –
И кажется, я тихий плач услышу

Марина Палей родилась в Петербурге. Печаталась в журналах «Новый мир», «Знамя», «Зарубежные записки», «Волга», «Нева», «Урал» и др. Автор множества книг, изданных в России и за рубежом. Проза переведена на английский, финский, немецкий, шведский, японский, итальянский, французский, нидерландский и др. языки. Финалист премий «Букер», «Большая книга», им. И.П. Белкина (дважды). Лауреат «Русской премии» – 2011 (роман-притча «Хор»). Живёт в Нидерландах.

2.
Заколочены окна, торчат на крыльце чемоданы.
На прощанье бросается в ноги проколотый мяч.
Надышаться бы до смерти этим горчащим дурманом,
Отлетающим к небу, как души покинутых дач.

Вот и тихо. Лишь муха изводит себя в паутине,
Словно в гуще верёвок припадочный бьётся звонарь.
Бельевая прищепка. Скамейка. Пустая корзина.
И последнее яблоко – маленький жёлтый фонарь.

Земледелие

1.
это был проклятый богом и чёртом двуспальный пустырь –
кровать в гулкой комнате для гостей
над ней, со школьными двойками лебедей,
висел детский коврик для всех нерождённых детей –
словно в архиве мёртвых – мёртвая же цифирь

2.
ежели выпадало хозяйке-вдове со странничком переспать
– ну так, от скуки, спьяну и без затей –
кровать-пустыня становилась внезапно узка,
вся в рытвинах и похабных ухабах, болотистая кровать,
словно змея, словно в самом истоке своём заиленная река,
падла, падаль, тюряга, пустырь
а наутро гость резко отваливал – упырём-упырь

3.
в изголовье кровати зеленело в зелёное море окно,
а в изножье кровати зеленело в зелёную рощу окно
но на самом пустыре не росло ничего, совсем ничего
– на той кровати в комнате для гостей –
даже пырей

4.
да, это был двуспальный голимый пустырь,
сварганенный, как заброшенная промзона, самой жизни назло
ни вдоль, ни по диагонали, ни по периметру и ни вширь
на том пустыре ни черта не росло

5.
...он всаживал, всаживал, всаживал плуг в эти забытые богом камни
он всаживал плуг свой в камни, как нож в свежайшее масло,
и не оставлял там камня на камне
и перебарывал, перебарывал он булыжники в живородную массу

6.
то есть: он перекодировал, переколдовал кладбищенский склеп –
в пещеру Женщины, в таинственный грот Цереры
и, на пике любви, надежды и веры,
он засеял семенем, он оросил поцелуями и слезами
то, что видит лишь тот, кто, как Ванга, слеп,
то, что хранится в закрытом от сглаза людского сезаме

7.
и вот вдова входит назавтра в ту комнату поутру
и видит: лебеди плещутся в коврике детском настенном,
и, вдруг (слово плохих беллетристов – и всё же оно бесценно),
да: именно – вдруг –
видит: на пустыре кровати бушует затканный разнотравьем луг –
и по нему бегают белки, кролики, даже маленькие кенгуру

8.
а хор луговой поёт – ромашками, маргаритками, незабудками, васильками,
и она, хозяйка, гладит головушки их молодыми своими руками,
а лебеди плещутся, плещутся в коврике детском настенном,
а ей, хозяйке, уже по колено – джунгли крапивы, бурьяна и хрена

9.
а в центре кровати царит молодая яблоня, словно дива в любовном кино,
и хозяйка – глядя на море в окно и на рощу в другое окно –
срывает яблоко – только одно, одно,
да: яблоко – только одно, одно!
да зато – самое красное

***

в этом мире (в этой войне) – чем скорее сойдёшь с ума,
тем отрадней для ангелов, а для нечистых – тем паче
держи синицу в руках! не лови сома! –
в облаках его нет; не полагайся на вой собачий,
ведь он – то же самое, в сути, что волчий вой,
не надейся ни на осиновый, ни на крупнокалиберный ствол,
ни на кол, ни на Харонов обол –
ни на какую милость
отомри, отомри, то есть проснись на свету – собой

...а каким это значит «собой»? –
вам и не снилось

Катя КАПОВИЧ

Рассказы

СВАДЬБА

Ирина Матвеевна Зябликова, маленькая женщина того деликатного сложения, которое у французов называется «птит», прилетела к дочке на свадьбу и привезла младших девочек с собой. У нее тонкие лодыжки и короткий, оправдывающий фамилию, вздернутый нос, которого она немного стыдится.

Дочь в Америке похорошела. Они долго едут в такси, дочь рассказывает про свадьбу. Свадьба будет роскошной, на берегу океана. «Гостей будет ломища, Паша оплатил билеты!» – хвастается Алена. Захлебываясь от гордости, она рассказывает матери про то, что в конце торжества за ними приплывет парусник, на котором они отправятся в свадебное путешествие. Она называет города, отели, где они будут останавливаться. Ирина Матвеевна улыбается. Она вспоминает, как много лет подряд стирала в ванной, на руках, одежды дочки. Никогда она не доверяла стиральной машине. Та рвет вещи, истрепывает хлопок, шелк. Потом она точно так же стирала платьица младших. Она смотрит на свои руки. Теперь они отдохнут, эти усталые красные руки. Ах, как хорошо, что Алене не придется так работать. Муж у нее надежно устроен. Нет, что ни говори, а девочке ее повезло!

Но перед свадьбой Алена почему-то все утро сидит на подоконнике в одной комбинации. Ее длинные каштановые волосы распущены, падают на грудь. Ирина Матвеевна слишком занята с младшими сестрами, чтобы уделить ей внимание. Их надо одеть, причесать. Одиннадцатилетняя Зина вертится, роза с ее платья падает на пол. Ирина Матвеевна, уколов палец, подкалывает атласную розу к поясу.

Наконец они одеты и одна за другой выбегают из комнаты.

– А помнишь, мама, Сашу Рудного? – неожиданно спрашивает Алена.

– Помню, – отвечает Ирина Матвеевна рассеянно, думая про себя: что за Саша Рудный?

– Я его тоже пригласила, а он не приехал!

– Ничего-ничего, – утешает мать.

Алена еще ниже опускает плечи, вздыхает и все смотрит в окно, и теребит в пальцах локон.

– А помнишь, как он носки в прихожей менял? – спрашивает она, улыбаясь воспоминанию. – Смешной! Боялся, что они пахнут!

В дороге жених много говорит о политике. Он говорит о демократах, которые непременно победят на выборах. Сам он, хоть ему не выгодно финансово, голосовал за демократов. Видно, что

Катя Капович родилась в Молдавии, училась на Урале, первую книгу стихов издала в Израиле, в Америке живет с 1992 года. Стихи публиковались в журналах «Воздух», «Арион», «Знамя», «Новый мир», «Звезда» и др. В 2001 году за сборник английских стихов «Gogol in Rome» удостоена премии Библиотеки Конгресса США. Лауреат Русской премии 2013 года в номинации «малая проза», живет в Кембридже, работает редактором англоязычного журнала Fulcrum, преподает литературу и ведет мастер-классы. В «Волге» публиковались стихи (№9-10, 2013).

он человек умный, с принципами. Ирина Матвеевне неловко. Она, чтоб ее не выгнали из школы, проголосовала, за кого ей велели. Как гадко! Потом Павел сообщает, что жить они с Аленой непременно переедут в пригород.

– В пригород? – переспрашивает Ирина Матвеевна.

– О школе надо подумать! – говорит Павел назидательно. – В городе только в частную можно отдавать. Нет, в пригород, пригород!

Вот они и приехали. На берегу моря разбит огромный шатер. Вокруг шатра стоят жаровни, бегают повара, обслуга. А поодаль стоят специально нанятые охранники и никого из посторонних не пускают к месту торжества. С собой Ирина Матвеевна привезла фартук, который, видать, не придется надевать. Столы ломятся от еды. Вегетарианский стол. Рыбный. Стол с фруктами.

Ее представляют гостям. Она прикладывает руку к сердцу, догадываясь, что они хвалят Алену. Они складывают губы в трубочку и издают голубиный вздох, и она догадывается, что на сей раз они умиляются сестрами. Она улыбается, улыбается.

Сегодня жарко, а будет еще жарче. От жаровен в воздухе колеблется мираж. Ирина Матвеевна, которая устала кланяться и улыбаться, вдруг видит пруд. Студенткой она копала его, потом они разгружали камни, мостили берег. Там ей случайно разбил камнем бровь Витька Солодов. Пруд назывался «Комсомольское озеро». Она вспоминает Витьку, прикладывая руку к брови, нащупывает шрам. «Ирка, Ирка!» – она слышит Витькин голос и вот-вот очнется от сна.

Но это только бьет музыка. Свадьба уже в полном разгаре. Музыканты играют, и пары молодые и пожилые танцуют на красном ковре, которым устелен деревянный пол шатра. Ее дочь в ослепительном малиновом платье, выше и стройнее всех, плывет по кругу в объятиях мужа. Ирина Матвеевна счастливо смотрит на дочь. Гремит музыка, гремит. Ирину Матвеевну подхватывает под руки полный человек в зеленых штанах и большой оранжевой кофте. На нем, когда он взмахивает руками, гремят железные значки и фальшивые медали. Он ходит вокруг Ирины Матвеевны вприсядку. «Казачок!» – кричит он. На минуту она радуется: «Русский?» «Русска нет! Американ! Казачок, казачок!» – кричит он, утирая потный лоб ладонью и снова хватая ее за руку. Она крутится и улыбается ему. Она не знает, что делать с руками, ногами. Ноги устали в итальянских туфлях на высоком каблуке. А народу собралось много, и все они хлопают им – и жених, и родители жениха.

Приданое дочери составлял чемодан с простынями, махровыми полотенцами и пододеяльниками, которые Ирина Матвеевна собирала много лет. Чемодан так и остался нераскрытым. У дочери все есть: постельное белье, пуховое одеяло, полотенца. Наконец Ирине Матвеевне удается избавиться от ухажера-плясуна. Она, чуть не упав на красном плюшевом ковре, пятится и все продолжает улыбаться. О, это проклятая улыбка, прилипшая к лицу! Никак Ирине Матвеевне ее не отодрать. Обернувшись и видя, что ее никто не преследует, она выходит из шатра и по тропинке идет к океану. Вокруг бродят охранники, они одеты в темно-синие рубашки, под мышками круги пота. Ирина Матвеевна им тоже улыбается, прикладывает руку ко лбу: ах, как жарко! Раскаленное солнце висит над блестящей острой травой. Сейчас, сейчас ей будет лучше. Она уже скинула туфли и бредет по горячему песку босиком. Вот сейчас бы скинуть и душное платье и нырнуть с пирса в морскую воду. Но как скинешь платье, когда вокруг столько людей. Охранники смотрят на нее удивленно. Куда она идет и зачем? Она и сама не знает, куда и зачем она идет. Подальше от громкой музыки, от человека в зеленых штанах.

Скоро подрастут и сестры Алены и тоже уйдут из дому. Она останется одна. Она садится на камень и смотри на океан. Музыка теперь звучит далеко, все заглушают волны. Они наплывают на острый берег – вжик.. «Вот тебе и вжик!» – вслух произносит Ирина Матвеевна. Нынче она – учительница французского, а потом она выйдет на пенсию, и все ее забудут. И тут она вдруг вспоминает

этого самого Сашу Рудного, смешного, в коротком пиджачке. Он приносил Алене первую вишню в пакетике, свернутом из простой газеты. Она еще сидит, морщит лоб, пытаясь вспомнить что-то.

Ей пора возвращаться. Она снова надевает туфли и идет через заросли травы к шатру. Молодые охранники не хотят ее пропускать. Они машут руками, показывают, что туда нельзя, там свадьба. Та смена, что была раньше, уже ушла, а эти ее не знают. Она прикладывает руку к сердцу: она мать, мать, понимаете? Они качают головами, складывают руки крестом, показывая, что вход запрещен, и жестом показывают, что она туда должна идти, туда, через траву к шоссе.

Иринам Матвеевна послушно идет к шоссе. Жарко, трава колет лодыжки. Туфли проваливаются в сухой песок. Каблук она сломала. Шестьсот рублей. Ей приходиться красться, чтобы ее не заметили и не прогнали. Наклонив голову, она забирается в самую гущу травы. Музыка гремит громче, а потом вдруг стихает. Застыв перед дверью шатра, Ирина Матвеевна оглядывается и видит, как к берегу на широких парусах бесшумно подходит двухмачтовая яхта.

ЯБЛОКИ

Испекли бараний бок. А к вечеру их маленькая гостиная заполнилась людьми.

– Хорошо сидим, – повторял муж Олечки, хотя разговор явно не клеился.

– А помните Лапина? – спросила фотомодель Ната. Она в коротком, обнажающем ляжки платье, с дымчатым шарфом на груди сидела в кресле, ее розовые от холода колени волновали мужчин.

– Что случилось? Не понравилось заграницей? – спросил кто-то.

– Нет, просто приехал в гости, – сказала Ната и загадочно подула себе на шарф.

– Он ведь когда-то чуть не покончил с собой, – вспомнила жена Лисицкого Тамара, – из-за несчастной любви!

Будто это из-за нее Лапин чуть не покончил с собой, она сильно зарделась.

Желтое лицо Лисицкого брызнуло смехом.

– Из-за чего? Из-за несчастной любви!

– Ну, да... – ответила Тамара уклончиво. – А помните то прекрасное озеро, на которое он нас возил? Харизматичный был человек.

Харизма, харизма... Слово залетало по комнате.

Они стали вспоминать озеро и уточнять маршрут, и, как будто прямо же сейчас собирались туда ехать, рисовать на салфетке дорогу.

– Ничего не вижу в этом прекрасного, – отвечал Олечкин муж.– У него ведь двое детей? Какая безответственность!

– Я фильм «Бег» пересмотрел, – вдруг вспомнил Семенов. – Там Евстигнеев все повторяет: «А ты азартный, Парамоша!» Я как раз тогда Лапина вспомнил. Он заводной был парень. Ха-ха... Может, соберемся, как в былые в времена?

Снова налили, поели бараний бок. Беседа потекла в другом направлении, про Лапина забыли.

– Подождите, – воскликнула Оленька, – а кто ж играл Черноту? Лавров?

– Да нет же, какой Лавров! Ульянов играл Черноту! И очень хорошо играл! – ответил муж.

– Не может быть... А мне почему-то помнилось, что Лавров...

– Тоже покойный, царствие ему небесное! – сказал муж и, склонившись к ней, прошептал: «хрену принеси».

Потом вся компания пошла на перекур, Оленька осталась в гостиной с Томашем. Тот был человеком умным, но Оленька его побаивалась.

– Вы не курите? – спросила она робко.

– Вообще-то по-прежнему тянет...

Он пожал плечами.

– Да-да, конечно!

Она вспомнила, что он бросил, постучала пальцами по столу, снова опасливо взглянула на Томаша:

– Тяжело, наверное, бросать?

– А вы, Оля, ведь с ним часто виделись? – спросил тот вместо ответа.

Он был чехом, говорил немного с акцентом, хотя прожил в Москве бог весть сколько лет.

Она взволнованно поправила скатерть.

– Да, хорошо, что он приехал, и одновременно странно это, – сказал Томаш, снова беря рюмку в свои короткие пальцы. – Вы когда его видели в последний раз?

– В последний раз? Это было, кажется, шесть с половиной лет назад, в октябре. Кажется, – быстро добавила она.

– Он вам ничего не говорил?

– Про что? – спросила Оленька чуть испуганно.

– Про женщину, из-за которой он пытался...

– Нет, – сказал она быстро.

Неожиданно голова сына Димы показалась из-за плотной шторы. Он вышел, держа в руках новый фотоаппарат.

– Ты что здесь делаешь? – вскрикнула Олечка, которая не подозревала, что в комнате, кроме них с Томашем, находится кто-то еще.

– Папа сказал, что вы – знаменитый фотограф! Я тут хотел показать...

Он протянул фотоаппарат.

Томаш бросил на Оленьку взгляд и стал медленно профессионально рассматривать кадры.

А ей вдруг безумно захотелось чаю. Крепкого черного чаю, и чтобы в нем непременно плавал лимон. Чай у них обычно заваривал муж по своему особому методу. Она поставила полный чайник на плиту и опустилась на стул. У нее болела голова.

Вернулись гости, снова резали баранину. Она неохотно присоединилась к ним. Когда все потом ушли, оба, и она, и муж, были рады. Собирали со стола, но до конца убрать не хватило сил.

– Что ж ты хрену не подала к столу? – спросил муж, укладываясь спать.

Утром он ходил обеспокоенный: на их застекленном балконе образовалась наледь, могла померзнуть картошка. Потом он вспомнил вчерашний разговор про Лапина. Это и обсуждалось за завтраком:

– А все-таки я не верю, что из-за женщины. Наверняка было что-то еще, о чем мы не знаем. Может, долги? Меж нами говоря, он был мотом. Двое детей! Все-таки ничего нет лучше зеленого чая. Ты как считаешь?

– Да, – сказала Оленька. – Зеленый чай...

– Я не про это. Я про Лапина.

– А... – сказала она. – Я не знаю. У меня что-то голова болит.

Муж отхлебнул чай и покачал головой:

– Ну ладно, Лапин не Лапин – возьму-ка я Димку сегодня в бассейн.

Когда муж с сыном ушли, она пошла в гостиную. Стулья в ней по-прежнему стояли в порядке вчерашних гостей. На столе осталась какая-то еда. Она ничего не стала прятать в холодильник, просто все, что было на столе, вытряхнула в мусорное ведро и с мешком в руке подошла к двери. Потом передумала, поставила мешок в прихожей, накинула плащ и вышла. Подошел троллейбус, старый, дребезжащий, но, слава богу, пустой; ей не хотелось ни с кем встречаться взглядом. Она подумала, что, наверное, еще очень рано, раз троллейбус так пуст, и, взглянув на часы, поняла, что уже перевалило за полдень. У вокзала она пересела на загородный автобус.

Когда она выходила в знакомом пригороде, параллельно с ней из-за туч выкатилось маленькое розовое солнце. В те дни она не присматривалась и теперь плохо узнавала местность. И она, и

Лапин выросли в пригороде. Одни и те же длинные, безрадостные поля были в окне. Может, они даже и встречались когда-то в детстве. Рядом с ней по дороге бодро шла высокая старуха. Она несла в руке потрескавшуюся клеенчатую сумку. Оленька спросила ее, открыт ли старый переход за хлебным магазином. Переход сократил бы ей путь, он соединял главную улицу с теми домами, в одном из которых жил Лапин.

– А что ж с ним сделается? – удивилась старуха. – Открыт, конечно.

Старуха маленькими глазами посмотрела на нее:

– Идешь к кому-то?

– Да.

Она хотела пойти быстрей, но старушка тоже прибавила шагу. Ей, видимо, скучно было идти одной, и она надеялась разговором сократить себе путь.

– К кому же? Я, может, знаю?

– Вряд ли. Лапин его имя.

– Нет, – сказала та. – Такого не знаю. Где он живет?

– Он, собственно, там не живет давно.

– Ну тогда точно не знаю, – сказала старушка, совсем не удивившись странному ответу.

Они пошли молча, и, постепенно смиряясь с ее присутвием, Оленька снова забылась воспоминаниями. В конце пути старуха снова заговорила с ней:

– Я, деточка, если что, сдаю комнату, и у меня все чисто и недорого. Летом в огороде крыжовник и смородина, а осенью – яблоки... Если будешь искать дачу, то вот тебе адресок.

Старуха, к Оленькиному удивлению, протянула ей визитную карточку. Оленька посмотрела – баба Ира.

На развилке у магазина они распрощались, Оленька повернула налево и пошла между двумя заборами. Дома за ними были облицованы новым деревом, всё казалось другим, более нарядным, но ей почему-то стал грустно и жалко того старого коричневого дерева с ветхими узорными наличниками.

Первый раз она пришла к Лапину после того, как узнала, что у мужа кто-то был. Какая банальная связь, с горечью подумала она. Муж ей говорил, что очень устал и хочет отдохнуть. На двоих денег у них не было, и он поехал один. Она-то нигде не работала. Случайно прочтя электронное письмо, она горько задумалась над участью обманутой жены. Хотела позвонить мужу, потребовать объяснений. Все это было абсолютно не нужно, сразу же поняла она.

Лапин, было похоже, испугался, когда услышал ее голос за дверью. От неловкости начал расспрашивать о муже. «Он в Турции», – ответила она и стала расстегивать платье.

Он остановил ее и, усадив в кресло, присел рядом на корточках, слегка касаясь головой ее колен:

– Я был бы счастлив, если бы ты это делала, потому что любишь меня.

Он подождал и, не услышав ее ответа, снова прикоснулся головой к ее холодным коленям:

– Что происходит?

Она расплакалась и все рассказала. И, конечно, он ее утешал и, конечно, это помогало.

Вернулся муж и, ничего не замечая, принялся обустраивать их новую квартиру. Поставил зеркало в спальне. Она смотрела в зеркало: какая я красивая и зряшная! На кровати образовалась разделительная складка. Его половина была чуть более пролежанной. Ночами Оленька мечтательно смотрела в потолок. Иногда вставала и выходила на кухню, или вдруг замирала у двери в комнату сына, прислушивалась к дыханию. Не может ли ее измена отразиться на его здоровье. Мальчик спал крепким сном.

Они с Лапиным продолжали встречаться до поздней осени. Иногда она боялась, что их кто-нибудь увидит, ведь на это озеро он когда-то таскал всю честную компанию. Озеро и впрямь было особенным. Здесь пышно росла трава и квакали невидимые, но очень голосистые лягушки, вечерами пели соловьи. Потом однажды она задержалась у Лапина слишком поздно, ни автобус, ни электричка уже не ходили. Порешили, что она останется ночевать, а утром вернется с первым

поездом. Утром выяснилось, что муж не ложился. Она прошла на балкон. Он сидел там, перед ним была пустая бутылка из-под виски. При этом он был совершенно трезв, как бывают трезвы люди, у которых сильная боль уничтожает действие алкоголя. Он рассказывал про свою связь, плакал, обещал, что это не повторится.

– Подумай о Димке! Подумай на секунду, что будет со мной, с нами, – быстро поправился он.

Она позвонила Лапину, попросила о встрече. Это был ноябрь, но было солнечно и тепло, как летом. Лапин встретил ее в саду. Она говорила, что не может быть с ним. Он стоял и срывал яблоки. Когда она уходила, он протянул ей одно. С этим яблоком в руках она и вернулась домой.

Лапина она больше не видела. Потом жизнь пошла своим чередом. От каких-то общих знакомых она слышала, что Лапин продает дом, но дом был старый и не продался. Потом Лапин уехал в Чехию, оттуда еще куда-то. Муж никогда у нее не спрашивал, с кем она встречалась. Она была ему за это благодарна. Через полгода в кармане его плаща она обнаружила розовый, пахнущий духами телефон.

Дойдя до знакомой калитки, Оленька зачем-то встала на цыпочки и достала пальцами огромную ветку, которую притянула к себе. Эта единственная торчащая над забором ветка что-то напомнила ей. Дерево ушло на то, чтобы выросла такая ветка. Яблоки в основном лежали на земле, одно только завядшее, сморщенное зачем-то удержалось между сучьями.

Андрей ТАВРОВ

ШЕСТИСТИШИЯ

Пояснения к циклу

Это стихи из цикла, отчасти ориентированного на поэтику «И-цзин», китайской «Книги Перемен», опирающейся на гексаграммы, состоящие из шести линий (мужских и женских).

Графика письменной речи всегда соответствовала 3-м из основных для Европы стихий – воде (речь-реченька), воздуху и земле. Т.е. запись располагалась, в основном, слева направо (или справа налево) и сверху вниз. «Огненный» (всегда восходящий) вектор в письменности стопроцентно отсутствовал. Мне показалось интересным последовать в том направлении, на котором строится код гексаграмм – снизу вверх.

Ведь так горит костер, так растут цветы и деревья, люди и животные. Так летают птицы. К «пространству восхождений» такая запись так же имеет отношение.

Архаичность письма естественно предполагает отсутствие прописных букв и знаков препинания, как это практиковали авторы берестяных грамот и других архаических текстов на Востоке и Западе. Здесь подобная графика и правописание не являются сигнификацией, отсылающей к тому или иному «современному» тренду. К авангардному письму поэтика «гексаграмм» также не имеет отношения по тем же самым причинам.

Со временем я попробовал построить из таких гексаграмм-строф более протяженные вещи, тоже написанные снизу вверх, и понял, что практика стала еще интересней, трещинки в эмали стихотворения засветились новыми смыслами и зияниями, а протяженность, удлиняя «время роста», дала момент некоторого безумия, сходного с «безумием» природы. Я назвал эти стихотворения «Канцоной Кавальканти» и «Плачем по усопшей Донне».

Эти стихи также читаются снизу вверх – каждое.

Александру Колдеру в свое время было важнее поменять точку опоры скульптуры, чем Гогену локус живописи. Собственно, это подготовка к невесомости, к которой подбирался и Гауди, собирая модель своего собора Sagrada Familia в положении «вверх ногами» (сохранилась фотография). Такое желание говорит не о внешних вещах – сделать, как никто до меня, а о стремлении к контакту с силами фундаментальными, «выпрямляющими мертвецов». по выражению поэта, задействованными в росте и преодолевающими гравитацию.

Сила, заставляющая строить гексаграмму снизу вверх, – та же сила, что находится в рыбном пузыре, влекущем окуня выше или ниже, в крыльях на пяте Гермеса и в «органе вдохновения», не только переворачивающем пространство, но и останавливающем время.

Заглавия и посвящения стихотворений, в силу названных причин, находятся ниже самого стихотворения.

Андрей Тавров окончил филологический факультет МГУ по отделению русской филологии. Работает на «Радио России». Член Международного Пен-центра и Союза писателей Москвы. Главный редактор поэтической серии издательского проекта «Русский Гулливер», главный редактор литературного журнала «Гвидеон». Автор 12-ти поэтических книг, романов «Кукла по имени Долли» и «Мотылек» (оба 2008, изд-во ЭКСМО), «Матрос на мачте» (2013, «Центр современной литературы»), книг эссе и статей «Реставрация бабочки» (2011), «Свет святыни» (2009, обе – «Ассоциация Духовное возрождение»), «Письма о поэзии» (2011, «Центр современной литературы»).

*

и дирижабль как Данте стынет в небе
вынь из себя себя из слова все слова
вынь яблоки из яблока вынь лица из лица
из пустоты поет единственная вне времен
включая ту последнюю что видишь
вынь говорю из птицы лишних птиц

/ЛИШНЕЕ/

*

как белое ружье без крови
и на холме слоны лежат
он в солнце втоптан девою разжат
в окне солдат лежит и умирает
еще аккордеон под окнами играет
из воздуха грудную кость достань

/СЛОНЫ/

*

бабочки перевернутого слова
бабочка без обратной
что человек без ребра куда вошел
до центростремительной створки
стягивающего речь до тела
моллюска мычание внутрь

/МОЛЛЮСК/

*

ной сетке на миг в какой из ячеек спрятан гребень
мощными ногами внезапен как мяч в баскетболь-
обезглавленный петух бежит по кругу перебирая
бронзовый муж колеблется свершая святой обряд
белой арки девичьих ног в сгущенной ее пустоте
чиста одежда навсикаи пальцы белы белы от ручья

/НАВСИКАЯ/

*

не красный куб это не красный куб
колокольчик синий алтарь колокольчик не
синий колокольчик синий синий не
это не куб это не красный не куб это
красный куб это не красный не куб
красный куб это красный куб это

/КРАСНЫЙ КУБ/

*

нужна рука и шелест сарафана
сам воздух не застрелится ему
сумой в обрывистом как ласточка пути
князь Му дороге был конем себе другим
червь червю был как череп и как чрево
оса осе осой была грозой

/САРАФАН/

*

с одной головой ветер вытянут в ноздри
слипшемся шаге похожа на бег иноходца
танцующая танго пара в широком
духа в осень Навсикии с бельем у моря
на тележках провал синего воз –
трибуны пусты переговариваются жокеи

О. Асиновскому

/ТАНГО/

*

звездой как частью сдвигая общность всего
и нежно перемещая выждав вместе с
Венерой ли Сатурном) или бесстрастно
ды (Марса в констелляции скажем с
бо отрывая его от породившей звез-
две возможности перемещать слово ли-

/ARS POETICA/

*

вновь воздух так и с лицами со всем
а в воздух вдвинута байдарка и в нее
с волной такое не пройдет не тот состав
в байдарку воздух в воздух вновь байдарка
в байдарку в воздух вдвинута байдарка
в байдарку вдвинута байдарка вдвинут воздух

/СОСТАВ/

*

выпуклый каин с выпуклой связкой в луне
каин связка костей и еще связка каина
и связка во свете в связке света и сам

в связке и она тяжелее чем каин в тени
кою четверть каина и еще на четверть головы
каин со связкою выпуклый каин со связ-

/ФАЗЫ ЛУНЫ/

*

и смертью – с полетом как ты один на один с тобой
целиком что ни миг один на один с Богом
как яйцо с черной изнанкой куда он откладывает себя
как гром и молния его впалая сторона
дрозд не есть дрозд он становится им что ни миг
погляди как дрозд становится дроздом –

/ДРОЗД/

*

взрываясь режет вены играет небом
эта птица не видит красную березу
кинь связку ключей проломится в точке стяженья
как витринное стекло в блеске несут с четырех сторон
смотрит на себя из четырех углов
птица собранная в прозрачный квадрат

/КВАДРАТНАЯ ПТИЦА/

*

струясь на мосту над рекой
пугая струится вещь говорит
бая похож на кокон на по-
возвышаясь и иссякая лю-
как эта как эта чжун-ни
чжун-ни[1] говорит любая

/КОНФУЦИЙ УЧЕНИКАМ/

*

дракон над миланом ноготь леонардо несет в зубах
а в поэзии недостаточно жизни с ее втягивающими эффектами
дева на холсте влечет к ласкам и совокуплению
живопись выше поэзии говорил потому что
и вот окрепла в бороду завилась в лицо
небесная лошадь сошла дыханием с медного зеркала

[1] *одно из имен Конфуция*

*

состоящую из буквы вдоха и пропажи
в обратном костре ты видишь вещь как она есть
мне не поймать себя как дереву собственную листву
сдвигаются формы как слюда на мотоцикле под ветром
обратный костер горит вогнутый василек голубь
ангела белая баржа смещается под мостом

*

умер от инфлюэнцы зимний дракон глубок
в форме окопа женщины и осколка в лицо
мотор – из земли которую он прорыл
на хвост пошли ногти и единорог из клюни
из костей грудины и снов собрал он крепления крыл
он строил аэроплан из собственной слюны

/АПОЛЛИНЕР/

*

жокея треплет в обе стороны как флаг
хрящей и жил сирень в трубу поет
оно из праха удлиняет шаг
стекла коня превозмогая вес
от ставшего аквариумом без
четырехногое пространство отстает

*

сгущают меня в свет существовавший прежде себя самого
поползни дрозды альционы зимородки говорит гораций
меня сгущают в световую пригоршню птицы
невидимый свет унесла на плече дева астрея связанный в узел
Земля выдувает титана мышцы горы обратные с кровью глаза
брус деревянный киля выдавливает холм моря

/АСТРЕЯ ЗОЛОТОЙ ВЕК/

*

художник взглянул на птаху себя мальчика наказали
и в боге есть особенно в глазах прозерпины
коромысло есть в яблоке чтобы ствол стоял
на картине не висящей на стене их не видно
о эмма глаза твои голубиные в четыре угла снятый шагал
за стеной на той стороне стены на стене

/ЖИВОПИСЕЦ НЮРЕНБЕРГ/

*

водоворот совьет как горло антигоны
и озеро длиннее ног и лопасть
чем облака и озеро белее рук
поет но впала грудь и озеро сил нет
рулетку озеро катастрофы хор как озеро
озеро разматывает вестник из-под языка

/ОЗЕРО/

*

чтоб морю здесь себя не расплескать
и крабу наклониться коромыслом
а в черепе лучи и сталактит
и ласточки внутри кричат как дети
и столп растет из камня и ребра
борт лодки брат и ангел бородат

/СТОЛПНИК/

*

язык где лодка есть лодка есть но отсутствует
на языке птицы кричащей к ней сверху
на языке глухонемых хотя ближе и даже
и на французском не лодка не лодка и даже
не лодка не лодка не на японском
лодка на китайском не есть лодка на русском

/ЛОДКА/

*

голос мой потрясает звезды и выпрямляет траву
и я чтоб не умерла щебечу тренькаю и свищу до времени и до птиц
хрупкий камень лиц крошится движеньем неважно в кафе или в конторе
внутри рта умирает дракон а также внутри глаз и дельфина
и юбка проваливается в юбку как камень в колодец
голые колени проваливаются в голые колени пята в пяту

/ПТИЧИЙ ПРОРОК/

*

первое видит хозяйка кафе дальше святой последнее зрит никто
но под первым слоем множество истончаемых погребальная маска догадка
скульптор лицевых мышц – блаженство общее в выражении
для духа и оргазма

камыши отражаются в воде как они есть и челнок а рыбак нет
если лицо это портрет кто его лепит какой внутренний скульптор
тереза изнемогающая в экстазе слева как войдешь вместе с голубиным лучом

/ЭКСТАЗ СВ. ТЕРЕЗЫ. БЕРНИНИ/

*

небо растет до себя снизу мышцу в цветок переводит терн
в левиафана шар в вергилия куб с ребенком как пагода
в комара вложен конус в пчелу пирамида
старец на третьем сдался а сила объяла небо
на втором постарел а мощь все та же
на первом юноша с волевым подбородком

/ТРИ АВТОПОРТРЕТА РЕМБРАНДТА В УФФИЦИ/

*

звездный от чела до чела
щи есть благо звездный путь
сторона любой живой ве-
при помощи оборотная
помнить их не в крестьянке – в донне
все качества соединив вос-

совершающим человека
аурой колебаньем луча
через Марс дева рожденная
бушком Афродиты от Хэсэд
играет с ласточкой с воро-
гвидо бедный слепой и глухой

свобождается в сердце светом
готовки до свершенья прообраз вы-
провождающий человека от за-
небосвод сияющий в эфире путь со-
положение проявление через
выше чем страсть важно рас-

ность сам погибнет от лихорадки
причина ссылки в заболоченную мест-
попроще – сонет приор данте –
человек и есть канцона или что
и та чье имя тридцать плещет парус
гвидо мессир в лазури монна ванна

воинствен но все же нежен
лагается от Марса возникая
эйдос с волей слит двояко amor распо-

уличен в чернокнижии что ж платонов
санта маджоре баптистерий[2] прежде
гви́до сделавший речь кораллом

Кристине Лариной

/КАНЦОНА ГВИДО КАВАЛЬКАНТИ/

*

через голову майки в крови отравленной гидры
гнутся к рулю на финише словно сдирая с себя
сосцы и велосипедисты в блеске спиц
ветер трогает волосы грудь твердеют
на мосту из белого камня в солнце
и 600 лет спустя дамы тех времен в солнце

рысь и какаду петрарка ручей
грифы цесарка бегемот мантикора
на площади нынче зверья! жирафы гиппо-
жи морщит ветер стеклом сколько ж
скрипит и плачет городские лу-
вот речка и отроки и девы и мост

шуршащими как прежде ты – косой
и все играет ветр кустами изумрудными
как сириус и ветер как палач
зеркальна глубь мадонна глаз твоих
о донна в красном одеянье раненный олень
отвесной и навзрыд слюды огонь

друг друга не догонят вопль торговца
ни зеркало ни белое лицо
ка слез и ночь чужда чужда мне
ногой ноги и соловей как лод-
кровавит мне рубашку не догнать
рыдают складки платья рана

крючок от арбалета тянет выстрел
приходит смерть и коготь словно
стеклянный и родной как рысь
хрусталь невыплаканный плач
не взять за подбородок тяжесть камня
трава холма прозрачней птицы

/ПЛАЧ ПО УСОПШЕЙ ДОННЕ
МЕССИРА ПЕТРАРКИ/

[2] *Одно из немногих зданий, со времен Данте уцелевшее в современной Флоренции.*

Михаил БАРУ

ПРИНЦИП НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

В середине августа, когда уже понятно, что чуда не случится и лето все равно кончится, открывается сезон охоты на уток. Еще за две или за три недели до этого на берегах небольших речек, озер и болот появляются новые, с иголочки, охотники этого года. Им еще рано охотиться. У охотника этого года ствол на ружье даже и не начал раздваиваться, у него спаниелю еще три месяца отроду и работает он только по разноцветным, пронзительно пищащим, игрушечным резиновым уткам, но он уже может выгуливать свое снаряжение – дудеть изо всех сил в манок с двойным пищиком, доставать из нового чехла новое ружье, прицеливаться в ворон и, сидя в укрытии, со специального пульта дистанционно управлять частотой взмахивания крыльев механического селезня, купленного за несусветные деньги в охотничьем магазине. Учится будущий охотник хлопать себя по бедрам, кричать «Дуплет! Дуплет!» и даже, хоть это и не очень приятно, не глотать, а выковыривать из щелей между зубами мелкую дробь, которой заботливая жена в учебных целях предусмотрительно нашпиговала привезенную из дому запеченную курицу. Правду говоря, выковыривать дробь все равно лучше, чем учиться выкуривать медведя, хотя бы из пустой прошлогодней берлоги, тыкать в нее длинной жердиной и при этом изо всех сил еле слышно кричать пересохшим горлом: «Выходи по-хорошему!»

***

В самом конце лета или начале осени, когда от неимоверного количества выкопанной, перебранной, вымытой, просушенной и затаренной в мешки картошки у дачника ломит от усталости не только спину, но даже черенок лопаты, когда опустеют теплицы и большая часть грядок, когда от банок с клубничным, черничным, вишневым вареньем, солеными огурцами, помидорами, патиссонами и маринованным луком, которыми забит подвал, вспучивается пол на веранде, когда дельфиниумы, астильбы, флоксы и другие многолетники разделены на трехлетники, двухлетники, однолетники и от последних аккуратно отрезаны даже крошечные трехмесячники, двухмесячники и микроскопические однодневки и рассажены по разным углам сада, когда... Короче говоря, в самом конце лета или начале осени, когда небо с самого утра обложит тяжелыми ватными тучами и пойдет шуршать, моросить и накрапывать мелкий, противный и надоедливый дождь, усядется дачник в свое продавленное кресло в углу, станет пить крепкий чай из полулитровой кружки, грызть окаменевший тульский пряник, читать пыльные и старые, чудом не сданные в макулатуру и не выброшенные на свалку советские журналы, отгадывать кроссворды с древними, уже полузабытыми советскими словами и слушать радиоприемник.

Дачный радиоприемник не имеет ничего общего с городским. Внутри городского приемника, который на самом деле плоский, тонкий и вообще смартфон с крошечными наушниками, только курсы валют, реклама прокладок, недвижимость, депутаты, коррупция, фьючерсы, акции, реклама прокладок, политика, реклама прокладок, коррупция, реклама прокладок, политика, коррупция... В дачном ничего этого нет. У дачного приемника, который на самом деле старая-престарая радиола и

Михаил Бару родился в 1958 году в Киеве. Окончил Российский химико-технологический университет в Москве. Химик и инженер, кандидат технических наук. Стихи и проза публиковались в журналах «Арион», «Знамя» и др. В «Волге» публикуется с 1999 года. Автор нескольких книг стихов и прозы, в том числе «Обещастье» (2005), «Следы птиц» (2007), «Один человек» (2008), «Цветы на обоях» (2009), «Записки понаехавшего, или Похвальное слово Москве» (2010), «Тридцать третье марта, или Провинциальные записки» (2011), «Дамская визжаль» (2011), «Повесть о двух головах» (2014). Составитель первой российской антологии хайку и трехстиший «Сквозь тишину» (2006). Живет в Москве.

вообще старше городского лет на тридцать, а то и на сорок, зеленый моргающий глаз, белые громко щелкающие клавиши, большие ручки, которые так здорово было крутить в детстве[1]. Тогда казалось, что там, под стеклянной светящейся шкалой с названиями близких и далеких, наших и не наших городов, где-то в глубине деревянного лакированного ящика с теплыми светящимися лампами и спрятаны все эти шумные города, машины, корабли, самолеты и люди – только очень маленькие. В те далекие времена все они там хоть и с трудом, но еще могли умещаться. В одном из углов приемника жил радиотеатр. Тот, который у микрофона. Там, в этом волшебном углу, время от времени шумело море, страшно скрипел грот-марса-рей под тяжестью повешенного пирата, с помощью двух половинок кокосовой скорлупы или картонных стаканчиков изображали топот копыт, д'Артаньян так страстно и так по-французски целовал Констанцию Бонасье, что у динамиков втягивалась внутрь прикрывавшая их декоративная ткань, хитроумный Мегрэ допрашивал убийцу, Холмс гулко стрелял доской по столу в рычащую собаку Баскервилей, и прекрасная Сибила Вейн юным голосом Марии Бабановой говорила Дориану Грею:

– Как скверно я сегодня играла, Дориан![2]

С тех пор мир стал таким большим, что теперь помещается только во всемирную паутину внутри компьютера, а приемники делались все меньше и меньше, пока не превратились телефоны или исчезли совсем. С тех пор кончился дождь, выглянуло солнце и давно пора идти собирать с грядок свекольную ботву, чтобы потом утащить ее на компостную кучу.

***

Идет холодный дождь, а еще три часа назад была страшная жара, какая бывает в начале августа, и осовевшие от нее воробьи молча сидели на коньке собачьей будки с открытыми клювами. Сквозь шпалеры в беседку заглядывают мокрые, взъерошенные ветром золотые шары и темно-синие клематисы. На столе лежит зеленое яблоко, стоит недопитая бутылка красного чилийского вина, половинка арбуза на тарелке и блюдце с черными косточками, по которым, ежесекундно поскальзываясь всеми шестью ногами, падая и снова вставая, неутомимо ползет оса. Дождь шумит, но не веселым и разноцветным летним шумом, а монотонным и белым, какой бывает только осенью. Воздух, который еще днем был влажным, душным и тяжело пах флоксами, становится свежим, мятным, немного зябким и наполняется мурашками. Оса наконец добирается до края блюдца, переваливается через него и падает прямо в щель между досками стола, на пол, на крышку люка от погреба, в холодной пыльной темноте которого двухдневные огурцы в маленьких банках, переложенные листьями хрена, лавровым листом, зубчиками чеснока и ветками укропа, мало-помалу превращаются из малосольных в соленые, а в больших, трехлитровых, настаивается сладкий смородиновый компот с апельсинами. В самом углу, уже оплетенная паутиной, стоит бутылка с готовой к употреблению земляничной настойкой. Почему-то ей кажется, что про нее забыли.

***

Осеннее утро. На почерневших от холода лепестках георгинов и хризантем, на кончиках метелок садовой осоки, на шляпках ржавых гвоздей, торчащих из досок покосившегося забора, повисли большие прозрачные капли. Листья, оторвавшиеся еще ночью от своих веток и запутавшиеся в бес-

[1] На крышку старого радиоприемника можно положить кружевную салфетку и поставить на нее маленькую хрустальную вазу с конфетами «Кара-Кум» или фарфоровую русалку или мраморных слоников. Старый радиоприемник греется во время работы и вместе со свистящим чайником на плите составляет не менее сорока или даже пятидесяти процентов домашнего тепла и уюта. Вокруг него можно собраться. Попробуйте поставить на свой смартфон слоников или накрыть его кружевной салфеткой. Да хотя бы попробуйте собраться вокруг него... То-то и оно.

[2] Как я потом узнал, на самом деле, Сибилу Вейн озвучивала совершенно другая актриса, а восьмидесятилетняя Бабанова читала текст от автора, но прошло уже лет сорок с того дня, как я впервые услышал этот спектакль, и в моей памяти теперь ничего не исправить. Чернила, которыми там написана фамилия Бабановой напротив фамилии Вейн, не выцвели, но окаменели. Их не вырубить и топором.

численных волокнах густого тумана, застыли в воздухе. Сейчас солнце поднимется повыше, растопит туман, и листья, сначала верхние, а потом нижние, опустятся на покрытую студеной росой траву.

***

Мало кто знает, что сразу после дня осеннего равноденствия уют под одеялом, если его описать как разницу между температурой под одеялом и вне его, деленную на окукливаемость, начинает расти в геометрической прогрессии и превышать уют вне одеяла. К февралю он достигает таких величин, что работа по вытаскиванию взрослого, а тем более ребенка из-под одеяла, если выразить ее в джоулях на квадратный сантиметр голого или даже прикрытого байковой пижамой тела, становится равной... Короче говоря, многие не вылезают из-под одеяла до самого апреля. Если, конечно, время от времени приносить им в постель новые книжки, горячий чай и разрешать стряхивать крошки от печенья с простыни прямо на пол.

***

Грибов этой осенью пропасть. Как перед войной[3]. В нашей деревне солят, маринуют и сушат только ножки, а шляпками кормят скотину. На прошлой неделе пошла первая волна белых – цунами, а не волна. Белые идут ночами. Аккурат через нашу деревню, через ручей, через поле, через березовую рощу в дальний лес. Такое бывает в грибные года. Редко, но бывает. По разным причинам, которых не только ученые, но даже и старожилы не знают. Деревенские в такие ночи не спят. Особенно старики со старухами, у которых все равно бессонница. Сидят у своих калиток с корзинами и даже мешками. Такой сбор у грибников, как и у охотников, называется скрадыванием. Охотники так добывают осторожную дичь. Только охотники долго идут по следу с собаками, плывут на лодках и скачут на лошадях, а здесь дичь сама идет мимо, и надо только надеть на себя белый халат и коричневую шляпу для маскировки, сидеть тихонько и время от времени хвать отставшего или уставшего, или свернувшего не туда, или просто натершего ножку от долгой ходьбы... Часам к четырем утра у всех уж были корзины полны, а у Файки-самогонщицы[4] и мешки. И тут вышел тракторист Пашка Воронкин. Ну, как вышел... Упал с крыльца, на которое он вышел. Он бы, может, и не вышел, он бы, может, так и лежал бы в сенях, где ему жена постелила грабли и чугунную сковородку, но у него пересох радиатор после вчерашнего. Вот Пашка с крыльца и нае... в смысле вышел во двор напиться. Как увидел он грибы, текущие по деревенской улице сплошной рекой... Оно бы, может, и обошлось, не стань он с ними разговаривать, а когда они не стали отвечать, не начни их оскорблять по-всякому, не открой калитку и не выйди на улицу... Утром Катерина, его жена, вышла во двор, а Пашка уж и не дышал. Даже перегаром от него не пахло. Только белыми грибами. Изо рта, из носа, из ушей, из... отовсюду грибы торчали... Затоптали они его. Затоптали и ушли в дальний лес.

***

Зимний лес – гулкое, как выстрелы, карканье ворон, снег с еловой ветки, упавший за шиворот, следы, в которых не видно дна, пар от мокрых рукавиц и параллельные, то и дело пересекающиеся кривые лыжных следов; весенний лес – запах черной, еще мерзлой, земли, текущий во все стороны, захлебывающийся талой водой, ручей, тонкая белая полоска синей от холода кожи между свитером и джинсами, а на ней крупные пупырышки, которые только губами и можно растопить; летний лес – горячие капли золотистой смолы на медной коре, волосы, пахнущие шашлычным дымом, белый, в ромашках, сарафан, испачканный красным сухим вином и щекочущая сосновая иголка, которую никак не достать, если не расстегнуть две тысячи мелких, как божьи коровки, пуговиц, стремительно расползающихся под пальцами по спине и груди; осенний лес – длинный и тонкий солнечный луч с

[3] Старики говорят, что перед войной тоже была пропасть грибов. С тех пор и пошла такая присказка. Если чего больше, чем обычно, или удивительно сверх меры, то это как перед войной. Скажем, Серега Сморкалов на свадьбе нажрался, как перед войной, или Танька Баламутова родила тройню, как перед войной, или ямы на дороге щебенкой власти засыпали, как перед войной.

[4] Файка грибы не солит и не маринует – она на них настаивает. Белую грибную с перцем или подосиновую горькую с полынью и корой дуба, или красную падучую на мухоморах и осенней паутине.

нанизанными на него березовыми и осиновыми листьями, одна-единственная, самая маленькая высохшая палочка в телефоне, невыносимо долгие, бесконечно далекие гудки, и больше ничего.

***

Общеизвестно, что кузнечики, рожденные бабьим летом, замерзают от ночных холодов раньше, чем успевают дорасти до половой зрелости. Мало кто, однако, знает, что такие кузнечики поют совершенно иначе, чем половозрелые, у которых после первой линьки голос ломается. Их пение тоньше, пронзительнее и жалостнее пения взрослого кузнечика в три или даже в пять раз. Увы, наше русское ухо этих различий совершенно не замечает, а вот китайцы, японцы, корейцы и особенно вьетнамцы мгновенно улавливают разницу. Вьетнамцы и вообще почти понимают язык кузнечиков потому, что сами говорят на воробьином, от которого до языка кузнечиков буквально один скок. В Китае и Японии осенние кузнечики-девственники ценятся даже больше цикад, и их часто вешают у себя в храмах и кельях буддийские монахи или берут с собой в дорогу в крошечных клетках, сплетенных из рисовой соломы, паломники. Хитрые японцы даже оцифровали пение осенних кузнечиков самым тщательным образом, но... оказалось, что в записи вся разница куда-то пропала. Все же, надо сказать, что наши дети и незамужние девушки каким-то образом чувствуют... но объяснить не могут. Иногда даже их сестра, хоть бы и замужняя, услышав пение осеннего кузнечика, задумается о чем-то, смахнет украдкой крошки с передника и пробормочет про себя... или промолчит, а только закусит губу до крови. Что же до нашего брата, то он ничего не чувствует. Разве только желание опохмелиться.

***

Когда наварят яблочного варенья из райских яблок с хвостиками, из яблок без хвостиков с мандаринами, из яблок с корицей и лимоном, из яблок с имбирем, из яблок с изюмом, когда насушат три мешка яблочных долек, когда наварят несколько килограммов густейшего яблочного повидла для того, чтобы начинять им потом булочки, пончики и трубочки[5], когда переложат соломой и спрячут в погреб три ящика штрифеля, два ящика мельбы и один – антоновки, когда, уже падая от усталости, выжмут и закатают в банки еще пять литров яблочного сока и все равно останется корзина, а то и две яблок – вот тогда пекут шарлотку. Дачная шарлотка – пирог домашний. Его обычно подают не к праздничному, а к кухонному столу и едят молча, еле шевеля языками от усталости. Иногда к шарлотке прибавляют рюмку-другую вишневой наливки. Не столько для удовольствия, сколько для проверки – хорошо ли она настоялась и в полной ли мере чувствуются в ней гвоздика, корица и ваниль. Если наливка еще не готова и ароматы, составляющие ее букет, еще не раскрылись так, как должно, то к первым двум-трем рюмкам прибавляются еще две для определения точных сроков ее готовности. Чаще всего для достоверного определения сроков готовности наливки требуется не одна, не две, а три дегустации, и тогда к первым трем-четырем рюмкам прибавляются еще две, потом еще две, не считая тех, которые требуются для того, чтобы определить отдельную готовность каждой отдельной рюмки или всей бутыли в целом. Слипается просто от усталости если целый день на бровях еще бы им не заплетаться когда сроки дегустации горят и тут жена голыми руками...

***

Чем деревенская бессонница отличается от городской? В городе лежишь, лежишь... и лежишь, а в деревне, особенно зимой, можно встать и пойти к остывающей печке, открыть заслонку, поворошить кочергой подернутые пеплом угли, подложить дров, подождать, пока они разгорятся, покурить, послушать запечного сверчка, поговорить с ним, поспорить и даже поругаться, помахать руками, разгоняя табачный дым, открыть форточку прямо в лунный свет и жемчужный сверкающий Млечный Путь, закрыть форточку, замести подальше за печку задутые колючим ветром через форточку на пол холодные зимние звезды, разбудить почти уснувшего сверчка и повторить ему, что он все равно не прав, открыть дверь на холодную веранду, постучать указательным пальцем по клетке с чутко дрем-

[5] *На самом деле повидло чаще всего варят для того, чтобы оно, совершенно забытое, простояло в подвале два или три года. Потом его достают, выбрасывают и варят новое, которое, в свою очередь...*

лющим чижиком, сказать ему ну, спи, спи, поскрипеть полами на кухне, вернуться в спальню, лечь в постель, укрыться своей частью одеяла, пробормотать жене, что звенела рюмка, в которую мы обычно капаем валокордин от бессонницы, а вовсе не та, про которую она подумала, закрыть глаза, посмотреть на стадо вновь прибывших, еще не пересчитанных овец, ужаснуться, открыть глаза, встать и снова пойти к печке, выгрести из-за ее угла заметенные, чуть оплывшие от тепла звезды и смотреть не отрываясь, как они переливаются алмазными голубыми и зелеными гранями, как подмигивают двойные и как своим упрямым мертвым лучом светит прямо тебе в глаз крошечный белый карлик.

***

Намазать охотничьи лыжи мазью, прогреть их строительным феном, тщательно растереть мазь, надеть пуховик, меховую шапку-ушанку, толстые овчинные рукавицы, валенки, замотаться шарфом, взять с собой собаку, идти сквозь мутную морозную мглу по заснеженному полю против ледяного колючего ветра, падать, снова идти, тереть замерзающие щеки и нос, дойти через пять километров до леса, перевести дух, отобрать у собаки раскопанную из-под снега веточку обледеневшей пастушьей сумки, спрятать ее в теплый внутренний карман на груди, снова идти против переменившего направление ветра пять километров до дома, ввалиться в дом, велеть жене стащить с себя валенки, сесть за обеденный стол перед тарелкой горячих щей, выпить рюмку лимонной водки, понюхать вытащенную из нагрудного кармана немного влажную, успевшую оттаять веточку пастушьей сумки и аж заколдобиться...

***

Если к концу зимы, вместо того чтобы зевать до вывиха челюсти по дороге на работу, а предусмотрительно, как умные люди, которые обо всем думают заранее, подхватить где-нибудь в трамвае насморк или просто кашлять изо всех сил в присутствии приглашенного на дом участкового терапевта, то можно остаться дома, напиться до седьмого поту чаю с малиновым вареньем, лимоном и липовым цветом, молока с медом, водки с перцем, надышаться картофельным паром, закапать в нос луковый сок, почувствовать вкус и запах лука даже кончиками пальцев ног, понаставить на груди и спине горчичников, нарисовать йодную сетку, обмотать горло толстым шарфом, надеть двойной вязки шерстяные колючие носки, в которые предварительно насыпать сухой горчицы, забраться под ватное одеяло, забыться беспокойным сном и среди множества серых и однообразных, как городская снежная каша, снов вдруг увидеть на несколько секунд синее море, белый прибой, зеленые пальмы, желтый песок и маленькую, с радужными и жемчужными перьями, высокой волнующейся грудью и длинными загорелыми ногами птичку, щебечущую: «Мужик, ты ошибся сном – он не твой. Сейчас подействует жаропонижающее, и ты быстро вернешься в свой, на совещание у директора. Вот сейчас тебя вызовут к доске с таблицами и графиками квартального отчета. Не забудь – из одежды на тебе только пиджак, рубашка и галстук, а ниже пояса ты голый. Ну, давай, иди. Начальник уже ждет тебя. С его длинных клыков капает желтая ядовитая слюна. И не вздумай оглядываться!»

***

Зима ушла. Бросила в лесу потемневший снег и тонкий лед и ушла налегке, взяв с собой только ледяной ветер и несколько самых верных самых снежных туч. На полянах вскрылась растаявшая наполовину несусветная путаница мышиных ходов. Вот здесь ход узенький – кто-то бежал со всех ног от кого-то, а здесь – широкий потому, что кое-кто в гостях у свояка так объелся дармовых орехов и так нализался желудевой настойки, что пришлось тащить его домой жене и детям за хвост. На трухлявом, покрытом изумрудным мхом пне стоит не шелохнется переживший все морозы и метели, превратившийся в серую мумию гриб-дождевик с черным отверстием в шляпке. Из-под усыпанного порыжевшими хвойными иголками, чешуйками растерзанных клестами и дятлами шишек, обломками сухих веток и черными листьями полупрозрачного тонкого снега настороженно выглядывает едва раскрывшийся подснежник. Если выйти на опушку, приставить ладонь ко лбу и прищуриться, то можно увидеть у самого горизонта только что вытаявшую из дальнего холма церковь с разрумянившимся от тонких и еще по-зимнему ломких лучей мартовского солнца медным куполом.

***

В оврагах еще март, а на пригорках уже апрель. Сорвешь высохший и пустой серый стебелек, подуешь в него, и из отверстия вылетят остатки холодного зимнего воздуха. Прижмешь ухо к теплой от солнца березе и слушаешь, как кипит и бурлит в глубине ствола сладкий сок, как мало-помалу начинают зеленеть еще бесцветные после долгой зимы молекулы хлорофилла, как внутри миллиардов клеток бешено суетятся триллионы митохондрий, ядер и каких-то совершенно незаметных даже в самый сильный микроскоп пузырьков и соринок без всякого названия, как клетки делятся, делятся, делятся день и ночь без устали для того, чтобы проклюнулись смолистые почки, которые будут набухать и болеть до тех пор, пока не лопнут с треском и во все стороны не брызнет новорожденная листва.

***

К середине весны толстые и ватные зимние сны, покрытые толстой, плотной, серой известковой скорлупой, истончаются настолько, что в этой скорлупе появляются тонкие змеистые трещины и даже крошечные отверстия, через которые можно дышать, если ты бесконечно падаешь в Марианскую впадину, и даже крикнуть «Помогите», если тебя режут на мелкие кусочки огромными кухонными ножами.

***

Зимы давно нет, снега нет уже неделю, солнца... только что было, холода нет, тепла нет, весны нет, а есть облака, есть молодой и не знающий куда девать силу пронизывающий ветер, есть два чибиса, уставшие с этим ветром бороться, есть тонкая полоска льда у берега, есть перепрелая, покрытая белой пылью бурая прошлогодняя листва, есть черная горелая прошлогодняя трава на косогорах, есть горький ее запах, разносимый ветром, есть отощавшие за зиму и заросшие диким черным ворсом мухи, беспрерывно потирающие лапки от холода, есть старые вербы, стволы которых покрыты зеленым и серым мхом, есть ветви верб, обрызганные оранжевыми каплями лишайников, есть хрупкий, молочно-белого стекла мотылек, осторожно ощупывающий предлинными усами ветку, по которой он ползет ползет ползет к мохнатым серебристо-серым белым жемчужинам на кончике этой ветки, есть в кухне у печки литровая банка из-под томатного сока с ветками вербы, есть апрельские прозрачные деревенские субботние сумерки и есть город, в который уже завтра утром надо въехать, чтобы послезавтра идти на работу.

***

Земля еще холодная, сырая и налипает на лопату огромными комьями. Грядки копать рано, полоть нечего, поскольку сорняки еще не выросли, сажать нельзя даже редиску, так как еще не проснулась редисочная муха, которая будет в нее откладывать свои яйца, а потому дачник, нетерпение которого достигло предела и даже перешло через него, теперь, чтобы хоть как-то успокоиться, без конца точит лопаты, тяпки и секаторы до хирургической остроты, выпрямляет, пломбирует и протезирует погнутые и поломанные в прошлом году зубья грабель и три раза в день специальным высокоточным садовым микрометром проверяет, насколько подросла рассада. По утрам он вместо зарядки стоит хотя бы несколько минут согнувшись в пояснице, шевелит пальцами у пола или делает копательные движения руками и энергично топает правой ногой. Многочисленные картонные и пластмассовые стаканчики и ящички с рассадой он расставляет на большом столе, как Чапаев расставлял перед боем картофелины в известном фильме, и сам себя в сотый раз спрашивает – где он должен находиться во время высадки помидоров и перцев в теплицы? Впереди с лопатой наголо или на командном пункте у бочки с разведенным куриным навозом?

***

В самом начале мая, когда на березе появляются новорожденные, умеющие еще только лепетать, а не шелестеть листья, когда по стволу осины поползет первая полусонная гусеница дубовой листовертки, чтобы залезть в почку и там окуклиться, когда она обнаруживает, что ошиблась деревом, бьется в отчаянии обеими головами о ствол, падает в траву и расползается на три, когда майские жуки от детского крика сходят с ума, когда дачник снимает ставни, раскрывает оконные рамы и, не-

смотря на просьбы дать поспать еще хоть пару дней, выметает еще дрыхнущих без задних и средних ног зимних мух на холодную землю, когда прошлогодняя трава и листья на огороде уже сожжены, а кот бегает между грядок с опаленными усами и орет как резаный, когда отвалится поясница и грабли станут выпадать из ослабевших рук – вот тогда, ближе к вечеру, над лужайками в саду, над кустами жасмина, над яблонями, над крышами дачных домиков, над скворечниками поплывет первый в этом году, синеватый и почти прозрачный, но уже умеющий до изнеможения щекотать ноздри шашлычный дымок, а за ним и поверх него поднимется к небу васильково-колокольчиковый женский смех и там, в сумеречной зябкой вышине, остынет и понемногу затихнет от крещендо до диминуэндо, и в самом конце, когда последние его такты долетят до ледяной высоты, превратится в затейливые снежинки или в тонкие-претонкие алмазные иголки.

***

Погромыхивало, низко летали ласточки и шмели, собака, заранее спрятавшаяся в будку, снова вылезла во двор, от невыносимого тонкого звона комаров лопались барабанные перепонки даже у тугих на ухо божьих коровок, лягушки уже изнемогли квакать к дождю и только хватали беззубыми пересохшими ртами знойный и пыльный воздух, а дождь собирался, собирался, собирался... но все не шел, и лишь после того как тучи устали ждать и уплыли в небо соснового бора за соседней деревней, когда выглянуло солнце, – наконец упала первая, потом вторая и третья капли – все до одной слепые, точно новорожденные котята.

***

С самого утра душно, жарко, и на открытой веранде, где на рыболовной леске, протянутой от стены до стены, сушится на зиму мята, базилик, а нагретые солнцем виноградные гроздья, растущие на ситцевых занавесках, понемногу превращаются в изюм, лежит и еле дышит такая тишина, что слышно, как мухи пинают от злости ногами клубнику, нарисованную на большом и пустом фаянсовом блюде.

***

К полуночи гроза, подгоняемая оглушительным карканьем ворон, уползла в самый дальний угол неба и там долго, шумно ворочалась, укладывая поудобнее в черных тучах свое грузное, перевитое белыми набухшими венами молний, железное тело. Утром из большой лужи посреди дороги, идущей через всю деревню, торчали острые, чуть оплавленные по краям осколки ночного темно-фиолетового неба и лимонные ноздреватые куски луны, по которым долбили клювами куры и увлеченно бил копытом рыжий с белым ухом теленок, даже и не подозревавший, что стадо уже давно ушло в поле, а к нему, размахивая толстой хворостиной, бежит злой и опухший от похмелья пастух, и из его перекошенного криком рта на дорогу вываливаются такие слова, которые потом, когда они прорастут, придется косить косой, рубить их толстые корни топором, выкапывать лопатой и... все равно, какой-нибудь суффикс или приставка, или даже междометие вылезет из земли и расцветет таким махровым цветом, что бабы, проходя мимо, будут отворачиваться, краснея.

***

В городе сны короткие и юркие, точно мыши. За ночь их может промелькнуть не меньше десятка. Только что ты шел в одном айфоне на голое тело по Тверской и с тобой здоровались, улыбаясь в усы, твои сослуживцы – и через одно мгновение уже не можешь расплатиться в ресторане за чашку чая, в ужасе прячешься в пустой кошелек и по нему убегаешь изо всех сил от огромного черного троллейбуса, который норовит защекотать тебя до смерти своими длинными и хищными электрическими усами. В деревне сон всего один, и он на всю ночь – медленный и тягучий, как патока, текущий плавно и широко, как река, по которой ты плывешь на лодке, опускаешь весла в молочно-белый туман или в неповоротливые облака, и у тебя с крючка бесконечно срывается срывается срывается окунь килограмма на три весом или щука килограммов на пять, и тут появляется мышь, которая оглушительно шурша начинает прогрызать огромную дыру в реке, в лодке, в щуке и даже перегрызает твою удочку

пополам, и ты бросаешь в мышь тапком, но тапок попадает в часы, на которых половина шестого утра, и тонет вместе с ними реке. Ты думаешь поймаю задушу голыми руками, тянешь тянешь тянешь руки громко щелкает мышеловка, с вечера заряженная куском каменного сыра, и ты надеешься сейчас досмотрю сон, в котором уже начала срастаться удочка и окунь или щука опять на крючке на крючке на крючке, а потом выброшу дохлую мышь за забор, в овраг и в эту минуту во дворе начинает оглушительно лаять собака. Приходится вставать, брать с собой мышеловку с мышью и идти во двор. Оказывается, собака вместе с двором встали непроходимой стеной на пути ежика к реке. Ни двор, ни собака уступать дорогу не хотят, но и ежик тоже исполнен решимости не сворачивать и громко фыркает. Надо идти в сени за старыми рваными кожаными рукавицами, сажать ежика в ржавое дырявое ведро, в котором носят сухой навоз на грядки, и относить его на тропинку, ведущую к реке. Берешь, сажаешь, относишь, оставляешь ему на завтрак дохлую мышь и хочешь вернуться домой под одеяло проверить, не сорвался ли с крючка окунь вместе со щукой, но вдруг замечаешь, как сквозь дремучую траву у забора к тебе крадется кто-то с рыжим и полосатым, толщиной с карандаш, хвостом, чуть виднеющимся из-за верхушек травы, и без всякого предупреждения нападает на твою ногу, на большой палец ноги, на штанину, на ремешок от сандалий и начинает с ним играть играть играть, и ты думаешь еще одно такое утро – и окунь со щукой точно сорвутся с крючка. Еще и удочку поломают.

***

С самого утра дует такой сильный и порывистый ветер, что из соседней деревни, через два оврага, три холма и ручей принесло два облака невообразимо чихучей желтой пыли, три облака белого дыма от горящей травы, колокольный звон из церкви Покрова Пресвятой Богородицы, песню жаворонка, запах шашлыка, крик Лариска поймаю убью зараза, запах навоза, собачий лай, кудахтанье, еще одну песню жаворонка и без остановки несет дальше, по направлению к райцентру.

Москва – это...

...небритый, обтерханный старик, в засаленной бейсболке с надписью «New York Police Department», наигрывающий в половине десятого утра в подземном переходе у Павелецкого вокзала мелодию Мишеля Леграна из кинофильма «Шербургские зонтики» на балалайке.

...заросший иссиня-черной недельной щетиной, смуглый, приветливо улыбающийся золотыми зубами человек возле входа на станцию метро «Кунцевская», сметающий рукавом куртки бесконечно падающий снег с маленького колченогого столика, на котором стоят размокшие разноцветные коробки с духами и туалетной водой от «Диор», «Шанель», «Хьюго Босс» и «Герлен».

... загорелый дочерна нищий, сидящий на асфальте у перехода через Каланчевскую улицу и с увлечением читающий National Geographic.

...невыносимо желтое игрушечное существо с огромными выпученными и светящимися зелеными глазами, хохочущее и подпрыгивающее в крышке обувной коробки, которую протягивает прохожим у выхода из метро «Отрадное» грузная старуха в высоких армейских ботинках, обмотанная с головы до ног вытертым пуховым платком.

...тощая, серая от пыли, рыжая собака, спящая на ступеньках Дворца молодежи рядом с горстью мелочи рассыпанной на дне обувной коробки и парой брошенных костылей, хозяин которых стоит в двадцати шагах у ларька, пьет чай из картонного стаканчика, ест сосиску с горчицей, курит и зорко присматривает за оставленным рабочим местом.

...в пуховом платке и вытертой цигейковой шубе стоящая на площади Маяковского у дверей кафе «Чайковский» с пустым пластиковым стаканчиком из-под йогурта в протянутой руке старуха, над которой женский бархатный голос вкрадчиво поет из динамиков «I can't get no satisfaction».

...маленький и улыбчивый то ли вьетнамец, то ли казах, одетый в зеленую робу уборщика, подошедший к синему от холода огромному чернокожему, раздающему рекламу, ткнувший его свои кулачком куда-то в живот и, не переставая улыбаться, спрашивающий: «Как зизнь, Селёга?»

...белобрысый молодой машинист поезда метро в черном форменном кителе с серебряными пуговицами, серебряными полосками и крыльями[6] на погонах, сосредоточенно читающий в кабине последнего вагона православный молитвослов, по-детски шевелящий полными губами и качающий в такт чтению вихрастой головой.

***

В Москве на Трубной площади из того, что было при Чехове, остались только солнце и облака над ней, несколько старых домов, которые жмутся друг к другу в страхе перед чудовищных размеров стеклянными кубами и параллелепипедами новомодных апартаментов, стайка воробьев, две стайки пожухших от жары листьев, гоняющихся друг за другом, и все. Не то чтобы щегла, жаворонка, морскую свинку или ежа – даже котенка даром в хорошие руки купить не у кого. В палатках и ларьках продают уцененные глянцевые журналы, мороженое, кукурузу, газированную воду и горячий шоколад распивочно в шоколадном баре, а в кассах театра «Школа современной пьесы» – билеты на спектакль «Последний ацтек». Нет, если, конечно, прийти на Трубу поздним вечером, а лучше ночью, то еще можно услышать, как кто-то невидимый шепчет: «Вы посмотрите, а потом и говорите! Нешто это голубь? Это орел, а не голубь!» или «Караси по две копейки, вьюны по три, а малявки гривенник за десяток», но это, скорее всего, шорох ветра или шин промчавшегося по Петровскому бульвару автомобиля. Зато рядом с площадью, за Рождественским монастырем, как раз на углу Рождественки и Большого Кисельного, есть уютная монастырская чайная, в которой отдают почти даром в голодные руки горячие пирожки с капустой и чай, а расстегаи с консервированными абрикосами имеют такой вкус... Я этот вкус потом с огромным трудом перебивал супом из морепродуктов, двумя кусками пиццы с ветчиной и сыром четырех сортов... и все равно не перебил бы, если бы не большая чашка карамельного капучино и чизкейк. Впрочем, это уже было совсем в другом заведении на Цветном и совсем за другие деньги.

***

– У «Филимоновой и Янкеля» очень вкусно, – сказала девушка в норковом полушубке, – каких-нибудь рабоче-крестьянских дорад или сибасов они приготовят на гриле так, что пальчики оближешь.

***

Крещение. Бой кремлевских курантов, расколотый морозом на множество острых, как иглы, сверкающих серебряных минут, покрытая инеем тяжелая дубовая дверь Благовещенского собора, фиолетовый от холода иностранец в белых пластмассовых кроссовках и с огромным фотоаппаратом со слезящимся от ледяного ветра объективом, молодой полицейский в красивой форменной каракулевой шапке с поднятыми ушами, уже почти отдельные и звонкие его собственные уши, полутемная галерея церкви Ризоположения, освещаемая лишь маленьким золотым нимбом новорожденного Иисуса, мужчина с ребенком на плечах перед жерлом Царь-пушки, ребенок на плечах у отца, увлеченно фотографирующий темноту внутри пушечного ствола, пальцы в тонких кожаных перчатках, обкусанные морозом по локоть, автомобили, бесконечно несущиеся в

[6] *Мало кто знает, что крылья на форменной эмблеме машинистов метро не обычные, птичьи, как у наземных железнодорожников, а летуче-мышиные, поскольку ездят поезда метро под землей. Реформа эмблемы была затеяна еще покойным Гаевым. У него самого крылья эмблемы были из белого золота, да еще и в натуральную величину, а колесико, которое крылья поддерживает, – из красного. У командующих ветками, Кольцом и начальников станций колесико было медным и крутилось, а у машинистов и ремонтников неподвижным.*

облаках белого дыма по Моховой, ресторан «Ватрушка» на Большой Никитской, чайник чая с чабрецом и яблочным вареньем, лапша с индейкой, рюмка водки «Белуга», котлеты из зайчатины[7], рюмка ледяного рома, настоянного на яблоке, чайник чая с мятой, корзиночка из теста, наполненная теплым взбитым творогом со сливками и украшенная клубникой, ванильное мороженое, ром, настоянный на яблоке и оттаявший где-то глубоко внутри и расцветающий там, внутри, невиданными, тропическими цветами, снег, сбрасываемый с крыши дома в Романовом переулке, гортанные крики невидимых с земли рабочих, огромное облако снежной пыли, расшитое красными зелеными медовыми лимонными лучами закатного солнца.

***

В Кремле, на выставке, устроенной к юбилею дома Романовых, с завистью смотрел на коронационный мундир Николая Первого. Даже если бы пришли и сказали – завтра срочно венчаться на царство, а послезавтра уже поздно... Не влез бы. Нет, если орденскую ленту через плечо пошире, да не одну, то, может быть, и можно было бы прикрыть... но ведь потом танцевать на балу и не на одном. Какая уж тут мазурка, если все швы того и гляди... Из всего наряда только ордена, треуголка, перчатки и шпага мне как раз. И золотые пуговицы на обшлагах. А как было бы славно... На другой день после воцарения тотчас высочайший указ о том, что бедные женятся на богатых, а бедные на богатых, закон, устанавливающий минимальную продолжительность перерыва между первой и второй в мирное и военное время для крестьян, купцов и чиновников всех классов и непременно поход в Индию. Набрать сапог побольше, перевалить с боями через Гималаи, дойти, к примеру, до Гоа и там эти сапоги мыть, мыть и мыть до наступления полной экологической катастрофы.

***

На одном из московских заборов увидел объявление о вечере, посвященном чему-то очень индийскому и очень духовному. Устроители обещали мыслепутешествие по рекам Индии, проникновение в и растворение в нем же. В списке выступающих значилась Шикхандини Мигалюк, против имени которой было написано «вокал, бандура». Почему-то из глубин памяти мгновенно всплыл любимец Рабиндраната Тагора и заслуженный артист союзных республик Иоканаан Марусидзе. Не знаю почему.

***

Солнце сквозь пыльные шторы... Толстый рыжий кот лежит на диване и слушает, как изо всех сил жужжит муха, прижатая лапой к подушке, на которой гладью вышит рыжий котенок, лежащий на диване и слушающий как изо всех сил жужжит муха, прижатая лапой к подушке, на которой вышита рыжая кошка...

Солнце сквозь пыльные шторы... Толстый рыжий кот лежит на диване и слушает, как изо всех сил жужжит муха, прижатая лапой к подушке, на которой гладью вышит рыжий котенок, лежащий на диване и слушающий, как изо всех сил жужжит муха, прижатая лапой к подушке, на которой вышита рыжая кошка, лежащая на диване и слушающая, как изо всех сил жужжит муха, прижатая лапой к подушке, на которой через три или четыре подушки мелким бисером вышито или ты сейчас же встанешь и пойдешь в магазин за хлебом и подсолнечным маслом или будешь на обед есть кота, который лежит на диване и слушает...

Солнце сквозь пыльные шторы... Толстый рыжий кот лежит на диване и слушает, как изо всех сил жужжит муха, прижатая лапой к подушке, на которой гладью вышит рыжий котенок, лежащий на диване и слушающий, как изо всех сил жужжит муха, прижатая лапой к подушке, на которой вышита рыжая кошка, лежащая на диване и слушающая, как изо всех сил жужжит муха, прижатая ла-

[7] *На самом деле это были ежики из кролика, но стоили они как котлеты из зайчатины, а котлеты из зайчатины стоили как баранья нога целого лося.*

пой к подушке, на которой через три или четыре подушки мелким бисером вышито или ты сейчас же встанешь и пойдешь в магазин за хлебом и подсолнечным маслом или будешь на обед есть кота, который лежит на диване и слушает... а если не купишь к хлебу и маслу шампанского, икры, устриц и пирожных, то останешься еще и без ужина.

Солнце сквозь пыльные шторы... Толстый рыжий кот лежит на диване и слушает, как изо всех сил жужжит муха, прижатая лапой к подушке, на которой гладью вышит рыжий котенок, лежащий на диване и слушающий, как изо всех сил жужжит муха, прижатая лапой к подушке, на которой вышита рыжая кошка, лежащая на диване и слушающая, как изо всех сил жужжит муха, прижатая лапой к подушке, на которой через три или четыре подушки мелким бисером вышито или ты сейчас же встанешь и пойдешь в магазин за хлебом и подсолнечным маслом или будешь на обед есть кота, который лежит на диване и слушает... а если не купишь к хлебу с маслом шампанского, икры, устриц и пирожных, то останешься еще и без ужина. Не говоря о десерте.

***

В середине лета, когда из Москвы уезжают даже те, у кого есть только хозяйственные сумки на недоразвитых колесиках, когда слой серой пыли и черной автомобильной копоти на листьях становится толще самих листьев, когда в метро покрываются каплями пота даже рельсы – вот тогда можно отправляться на поиски Коренных Москвичей. Понятное дело, что искать их в Отрадном, Северном Дегунино или Бирюлево не имеет никакого смысла – там можно найти коренных жителей какого угодно Воронежа или Костромы, не говоря о Перми. В этих районах считаются москвичами даже те, кто может показать дорогу к ближайшей станции метро. Настоящие Коренные Москвичи живут, конечно же, внутри Бульварного Кольца, там, где нет никаких проспектов, циклопических торговых центров и где столица состоит единственно из маленьких, тесных и кривых переулков вроде Большого Власьевского или Кривоарбатского. Впрочем, и там их осталось всего ничего. По рабочим дням, когда все эти переулки заполняют служащие бесчисленных контор и все тротуары заставлены машинами, Коренного Москвича не найти днем с огнем. Коренной Москвич очень пуглив и мгновенно запирается на все замки у себя в квартире, если даже не рядом, но в соседнем доме кто-то тихо произнесет «риэлтор» или «капитальный ремонт с временным отселением». По следу Коренного Москвича лучше идти по выходным, когда все эти банкиры, владельцы заводов, газет и партий в Думе уезжают к себе в подмосковные усадьбы и внутри переулков остаются лишь те, кто может дойти только до магазина или аптеки. Приехать рано утром в субботу куда-нибудь в район Малой или Большой Никитской и пойти прогулочным шагом по направлению, скажем, к Трубниковскому переулку, чтобы взглянуть, если удастся, без слез, на то, что осталось от вида, изображенного Поленовым на картине «Московский дворик», а по пути смотреть в оба... Зайти в книжный на Малой Никитской, понюхать, как пахнут книжной пылью подшивки старых журналов «Нива» бог знает за какой год или редкое издание избранных стихов Сюлли-Прюдома в переводах Апухтина и Анненского. Еще лет десять назад в букинистах и в антикварных лавках можно было встретить то старичка в толстых очках с авоськой, принесшего сдавать за копейки разрозненные и ни разу не читанные тома бесконечного собрания сочинений Горького, то старушку с фарфоровой статуэткой задумчивого молодого Пушкина, у которого кто-то отбил гусиное перо... но теперь и этого нет. Правду говоря, если удастся вам увидеть, как из-за балконной двери на последнем этаже какого-нибудь дома высунется высохшая сморщенная лапка повесить ветхий салоп или траченную молью меховую кацавейку на провисшей от времени бельевой веревке и тут же уберется обратно, – считайте, что вам повезло, а уж если увидите, как в пропахшую кошками подворотню, звеня ключами[8] юркнет кто-то с потертым полиэтиленовым пакетом, на котором нарисована еще стыковка «Союза» и «Аполлона», то можно и вовсе успокоиться. Больше вам вряд ли удастся высмотреть.

[8] *Кстати, о ключах. Жителям переулков в центре Москвы приходится носить с собой их множество – от квартиры, от подъезда, от ворот во двор, а иногда даже и от переулка. Коренного Москвича или Москвичку часто можно распознать именно по звону многочисленных ключей в их карманах.*

Короче говоря, после того как вы увидели все, что смогли увидеть, – гуляйте себе к Трубниковскому, как и наметили. По пути осторожно перейдите вброд Старый Арбат[9], внимательно следя за тем, чтобы вас не снесло течением на рифы многочисленных прилавков с буденовками, матрешками, расписанными под Хохлому деревянными яйцами и холодильными магнитиками.

Того вида, который написал Василий Дмитриевич из окна дома в Трубниковском, теперь и след простыл. Если присмотреться к картине, то можно увидеть, как в правом углу ее, возле сарая, в куче мусора блестит какое-то стеклышко. Дотошные москвоведы установили, что это зародыш огромного и сверкающего офисного центра, который, к счастью, пророс не здесь, а на углу Садового кольца и Нового Арбата. От Трубниковского можно по Сивцеву Вражку дойти до Гагаринского переулка и там, вдруг почувствовав зверский аппетит, зайти в кафе-кондитерскую «Гоголь-Моголь», усесться за столик в углу, под пыльными гипсовыми бюстами Гоголя и Моголя, есть горячие блины, запеченные с лососем и моцареллой, пить черный чай с «традиционным английским морковным тортом», как о нем написано в меню, и смотреть во двор на цветущие под окном флоксы. Вот только почему там подают к чаю кусочек морковного торта площадью всего в два квадратных сантиметра – ума не приложу. Они там, поди, эти кусочки отмеряют штангенциркулем и взвешивают на аптечных весах. Может, конечно, это и английский морковный торт, но порции явно нетрадиционные.

***

На Северном бульваре, на остановке автобуса, стоит девочка лет трех – золотые кудри до плеч, синее платье в крупный белый горох, красные бусы и синие сандалики тоже в белых горох, но очень мелкий. Стоит она и рыдает маме изо всех сил. Еще и ногами топает. Уставшая мама что-то ей говорит увещевательное, но мамины слова до ушей дочери и долететь не успевают – затаптывает она эти слова своими сандаликами в мелкий белый горох. Подхожу я к ним и говорю, обращаясь к мамаше страшным железным голосом:

– Девушка, вам, наверное, не очень нужна такая капризная, плаксивая и кричащая девочка. Отдайте ее мне. У нас как раз сейчас проходит акция: кто отдаст двух капризных кричащих плаксивых девочек – тот получит одного тихого веселого мальчика. Такая плакса как у вас и за двоих пойдет.

Девочка мгновенно перестает плакать и прижимается к маминой ноге[10], а мама делает большие глаза и спрашивает меня с испугом:

– Мужчина, вы кто?

– Я, – отвечаю, – ваш новый участковый Бармалей. Теперь каждый вечер буду здесь контрольно прогуливаться. Еще раз увижу, как плачете и ногами топаете...

Погрозил пальцем девочке и ушел. Прошел метров двадцать и свернул за угол, хотя и не по дороге мне было. Не люблю, когда в спину так пристально смотрят.

***

В метро увидел девушку в кедах на каблуке. Теперь такое носят. Выглядит это так, точно на семейных сатиновых трусах по колено нагладили стрелки до бритвенной остроты.

***

Весны как не было – так и нет. Снег идет... нет, бежит так, точно целую зиму сиднем сидел и теперь наконец-то у него появилась возможность размяться. Только воробьи и дети под окнами снуют чуть быстрее, чуть громче кричат и смеются, чуть сильнее от них валит пар, в закатных облаках чуть больше карамели, зефира и ванили, чуть зеленее ее глаза, когда она случайно роняет тонкую замшевую перчатку, которая падает чуть медленнее, чтобы ты успел её поймать, а весны как не было – так и нет.

---

[9] Я вышел на Старый Арбат через какую-то щель между домами, в которой, несмотря на отсутствие окон, черт знает почему пахло так сильно борщом, что я даже рефлекторно поискал в кармане куртки ложку.

[10] Я бы на ее месте тоже перестал плакать и прижался к маминой ноге. Вид у меня... борода, большие черные очки и стрижка под машинку. Еще и большой черный рюкзак за спиной. В такой две девочки точно влезут. Еще и страшный железный голос. Я бы, наверное, даже описался.

***

Если в принципе неопределенности Гейзенберга перемножить не неопределенности измерения времени и энергии, а времени, координат и импульсов... Нет, не так. Если постоянную Планка... Короче говоря, если дышать апрельским воздухом хотя бы полчаса или даже четверть часа, то в голове наступает такая неопределенность координат, времени, энергии... возникают такие импульсы, что хочется взлететь... или сесть, к примеру, за письменный стол и написать книгу «Искусство воздушного поцелуя» и в ней вывести уравнение, по которому можно определить максимальное количество воздушных поцелуев, посылаемых за один выдох или принимаемых за один вдох, или высчитать, сколько поцелуев может поместиться на одной широкой ладони с толстыми пальцами или на двух узких с тонкими и с какой начальной скоростью эти поцелуи надо сдувать, чтобы вызвать легкое смущение или сильное волнение, или приятную слабость в коленках... или не рассчитывать, не писать, а сконструировать специальное устройство, вроде того, что придумали для пускания мыльных пузырей, но для воздушных поцелуев, и выйти с ним на балкон седьмого или десятого, или пятнадцатого этажа, набрать в легкие побольше воздуха... или не выходить, а, наоборот, поехать на Курский... нет, Савеловский... нет, Ленинградский вокзал, побежать изо всех сил за набирающей ход «Красной стрелой»... или в Домодедово, или в Шереметьево за выруливающим на взлет аэробусом и на бегу вдохнуть один единственный, чуть перепачканный губной помадой кораллового или карминного, или темно-вишневого цвета воздушный поцелуй, а уж потом вернуться домой и написать книгу... или не книгу, а письмо... или не возвращаться, а тут же, в кассе, купить билет, подняться по трапу, сесть в вагон, пристегнуться и взлететь...

***

В Сокольниках, в парке, горький и сизый дым от прошлогодних листьев меняется на душистый шашлычный, и опытные отдыхающие заранее цыкают зубами, предвкушая застрявшие между ними намертво говяжьи жилы. Завсегдатаи шахматно-шашечного клуба готовятся разыграть вариант староиндийской защиты для открытых скамеек, а на самих свежевыкрашенных скамейках уже появляются свеженацарапанные надписи о том, что Игорь любит Свету, а Галя об этом даже и не подозревает. И все, от мала до велика, и даже галки с воробьями катаются на роликах. Галдят, чирикают, машут крыльями, чтобы не упасть, но не летят, а медленно, упорно сводя разъезжающиеся лапки, едут.

***

Весна еще и не кончилась, а город уже к лету готов – догорели свечи каштанов, отцветающие яблони, сливы, груши и вишни засыпали тротуары белыми и розовыми лепестками, детские птичьи лапки кленовых листьев выросли до размеров взрослых пятипалых ладоней, девушки опрыскались какими-то магнетизирующими духами и вышли на улицы в таких нарядах, что придумай кто-нибудь, как летучими легкими мыслями, которые они (наряды и девушки) во множестве вызывают у нашего брата, наполнить огромный разноцветный воздушный шар, то можно было бы к этому шару прикрепить корзину, положить в нее шампанского, устриц, пирожных, посадить туда же жену, детей, собаку и полететь над бесконечными пробками за город, чтобы завтракать на траве у реки и поминутно кричать детям:

– Я кому сказал в воду не заходить?! Еще раз я увижу, как... Все останетесь без сладкого! Мокрой собаки это тоже касается. Пусть она не делает вид, что не понимает.

***

Так они сидели у железной печки и пререкались по-зимнему... (Юрий Коваль).

Весенние слова, а летние тем более, самые легкие из всех слов на свете. Легче воздуха и даже гелия, которым надувают шарики. И такие же разноцветные. Они и состоят-то почти из одних только гласных, а согласные в них, если и есть, то звонкие. Весенние слова, а летние тем более, чаще всего и не выговаривают даже, а выдыхают. Только успел губы приоткрыть, как оно уже упорхнуло. Только хвостик «лю» и мелькнул перед глазами. Чтобы весенних, а тем более летних слов хватило для разговора хотя бы двух человек, а тем более для шепота, надо их выдыхать постоянно.

Не то осенние слова. Эти не выдохнешь – языком надо выталкивать. Да и вытолкнешь – вверх не полетят. Будут кружить вокруг медленно, точно сонные мухи, и потом долго падать в опавшие листья и ледяные лужи. А то вдруг занесет их ветром в ухо. Да еще и обидные. Скачи потом на одной ноге долго, пока не вытрясешь.

Зимние слова и вовсе могут лежать за щекой целый день. С ними и заснуть можно ненароком. Уже и ферменты растворят их окончания и даже суффиксы, уже и корень их побелеет, сморщится и потеряет всякую силу, а все они лежат, как мертвые, за щекой или с трудом ворочаются на языке, а все равно не выговариваются. Походишь с ними, походишь – да и выплюнешь куда-нибудь в сугроб от греха подальше.

***

В сентябре по вечерам в московских окнах появляется уют. Еще не тот уют, который бывает в ноябре, когда бесконечный дождь бесконечно превращается в снег и обратно, и не тот предновогодний уют-уют, когда сквозь метель и узорчатый тюль нам тепло подмигивают разноцветные лампочки елочных гирлянд, но обычный кухонный уют запотевшего от закипающего чайника оконного стекла, на котором можно рисовать пальцем палки, огуречики и кривые рожицы. Теперь хорошо пойти в какую-нибудь кофейню, но не шмыгнуть в первую попавшуюся «Шоколадницу» у метро, точно мышь в дыру под плинтусом, а для начала пройтись по улице, сунуть нос во все сверкающие витрины, получить по нему несколько чувствительных щелчков ценниками, зайти еще за одним щелчком в антикварный магазин и среди бронзовых хрустальных люстр в стиле модерн, столовых сервизов кузнецовского фарфора, часов с пастушками и амурами, толстых томов в переплетах из телячьей кожи с золотым тиснением углядеть крошечного, с мизинец ростом, фаянсового зайца с морковкой и еще более крошечной ценой, попросить завернуть его в три слоя полиэтиленовых пузырьков и уж тогда отправиться пить капучино без сахара, но с ореховой карамелью и бесплатным вайфаем. Сесть за столик в углу и смотреть на посетителей, уткнувшихся в свои смартфоны и планшеты, на молоденькую официантку, которая на полном скаку вдруг остановилась с подносом, заваленным грязной посудой, и с наслаждением чешет ногу о ногу, на то, как пробегающий мимо юноша в синем фартуке до пят надышал ей в ухо что-то страшно смешное и побежал дальше, на воздушное пирожное «мильфей»[11] с кремом, украшенное ягодами ежевики и клубники, которое ест воздушная женщина, которую ест глазами мужчина... Отвернуться от них и смотреть, как за окном стоят в пробках синие «Ягуары», красные «Ауди» и черные «Мерседесы», как по тротуарам бегут неуклюже на высоких каблуках-шпильках девушки, у которых длинные ноги напоминают стрелки часов-пешеходиков, как полицейский пытается втиснуть свой огромный живот в салон служебной «Лады», как у нее от ужаса и боли фары лезут на капот, как ветер тайком приносит к подножию усыхающего клена желтые и красные листья, чтобы тот не догадывался о своей болезни.

***

В ноябре на Пироговском водохранилище под Москвой неуют, голые черные кусты, ивы, мокрые вороны и пустые пивные бутылки на прибрежном песке. Зато весной, когда растает лед и на поверхности воды появляются первые, еще маленькие, на один укус, румяные пирожки с капустой, яйцами и сливовым повидлом, когда бесстрашные мальчишки подталкивают их длинными палками к берегу, отгоняя при этом криками голодных грачей и чаек, или собирают с лодок сачками для бабочек, когда в каждом доме поет закипающий чайник и заваривается свежий индийский или цейлонский чай, когда от запаха свежей сдобы можно сойти с ума и изойти слюной...

***

Во второй половине декабря бывают такие дни, когда может и вовсе не быть рассвета. Тогда лучше всего надеть прищепку на нос и прямо из постели позвонить на работу начальнику. Сообщить, что подхватил опасный птичий насморк и прямо сейчас впадает в кому твоя любимая канарейка, на

[11] Что бы там ни говорили знатоки французского языка, лучший перевод названия этого пирожного «тысяча фей», а не «тысяча листьев».

которую ты вчера вечером чихнул. После этого завернуться в три, а лучше четыре теплых зимних сна с начесом и спать еще часа два. Проснуться, выползти из-под одеяла, опустить ноги на пол, быстро поднять их, юркнуть под одеяло и досматривать сны еще полчаса или час. Окончательно проснуться, зевнуть так, чтобы у любимой канарейки перья встали дыбом и она выпала из комы обратно, пойти на кухню пить кофе с колбасой и долго смотреть в окно на ползущую между многоэтажными домами по заснеженной темноте, мигающую сотнями светящихся глаз дорогу. Потом еще дольше смотреть на дорогу без кофе и без колбасы. Насмотревшись, еще раз зевнуть и принести с обледенелого балкона перевязанную бечевкой елку. Развязать её, отряхнуть от снега и кухонным ножом аккуратно обстругать нижний конец ствола, чтобы вставить его в железный треножник, который папа еще в шестидесятых годах прошлого века сварил у себя в цехе на военном заводе. Завинтить болты из какой-то очень твердой ракетной стали, которым на роду было написано стоять на боевом дежурстве в Индийском или в Северном Ледовитом, или в Тихом океане и от этого заржаветь до смерти, а потом полезть на антресоли за пыльными коробками из-под обуви, в которых хранятся елочные игрушки.

Раскрыть первую коробку, достать плоского, облупленного зеленого картонного зайца с выцветшей желтой морковкой и надолго задуматься, вспоминая то время, когда елки были большим, а ты маленьким, когда «Голубой огонек» был каждую субботу, когда Тарапунька и Штепсель, когда космонавты Гагарин и Титов, когда Ирина Бржевская пела про московских окон негасимый свет, когда у Кобзона были свои курчавые волосы, когда диктор Анна Шилова с такой фигурой... Папин сослуживец Михаил Аронович был от Шиловой и ее фигуры без ума и, приходя к нам в гости, обнимал наш маленький телевизор «Рубин» вместе с ними обеими внутри. Жена Михаила Ароновича, солидная женщина, которая и не во всякий современный телевизор могла бы уместиться, снисходительно смотрела на эти невинные шалости. Потом они уехали в Германию к детям, которые уехали еще раньше. Потом Михаил Аронович писал письма, а потом перестал.

Вот китайская гирлянда с разноцветными лампочками. Лампочки мелкие, как крупные семечки. Они назывались «конский зуб» и были полосатыми. Стакан стоил пять копеек. Дедушка покупал мне два маленьких стакана и насыпал в оба кармана пальто. Можно было бы в кулек из газеты, но тогда их увидела бы бабушка. Она считала, что семечки перебивают аппетит. Их нельзя есть перед обедом, а после обеда их нельзя есть потому, что они засоряют аппендикс и все кончится перитонитом и срочной операцией. Пятьдесят лет назад семечки стоили пять копеек маленький стакан. С тех пор цены на семечки выросли, а лампочки на гирляндах измельчали. В моем детстве они были крупнее и часто перегорали. Папа каждый год впаивал новые. У нас были запасные лампочки к фильмоскопу. Они как раз подходили для гирлянд. Их можно было достать только в Москве. В Столешниковом переулке был магазин, где продавали диафильмы, фильмоскопы и лампочки к ним. Новые лампочки мы красили в разные цвета, и они пахли краской, когда горели.

Вот маленький ватный Дед Мороз – такой старый, что уже, наверное, прадед, с красными, апоплексическими щечками... Когда он вошел к нам в квартиру, огромный, с рыжими усами и белой бородой, шумный и очень веселый, то сразу закричал: «Борисыч!» и бросился обнимать и целовать моего папу и поздравлять его с новым годом. Наверное, думал, что папа ему расскажет стихотворение «Мойдодыр» или сыграет на пианино собачий вальс, который я разучил к его приходу. Папа стихотворения не выучил, и вообще ему не понравилось обниматься с Дедом Морозом. И еще ему не понравилось, что Дед Мороз не смог развязать мешок с подарками. Он, конечно, старался изо всех сил так, что даже пальцы у него перепутались, и мама с папой, видя эту путаницу, отпутали его от мешка, расплели ему пальцы, развязали мешок и сами искали паровоз, который я просил подарить Деда Мороза. Кстати, паровоза там не оказалось, а вместо него оказалась новая зимняя шапка, которая мне совсем не понравилась. Мама сказала, что шапка теплее любого паровоза и вообще она из натуральной цигейки и Дед Мороз с большим трудом ее достал, но я собирался возить за собой на веревке паровоз, а вовсе не меховую шапку, и она мне не нравится и не понравится никогда. Зато Деду Морозу у нас понравилось, и он даже хотел остаться немного поспать, но мама сказала, что его ждут дети и Снегурочка звонила и велела передать, что она за себя не ручается. Дед Мороз уже ничего не слышал и храпел так, что сто моих «Мойдодыров» и собачьих вальсов не могли его разбудить, и папа тут же, у спящего тела Деда Мороза поклялся маме, что больше никогда ни за что он не пригласит

его без Снегурочки. Мама сказала, что ей с самого начала было ясно, что от Деда Мороза из папиного сварочного цеха ничего хорошего ожидать и нельзя было, а вот Дед Мороз из конструкторского бюро с самого утра ходит с мешком как заведенный и еще не разу даже не споткнулся, не говоря о том, чтобы упасть и заснуть... И тут к нам пришла Снегурочка, которая за себя не ручалась. Я обрадовался и подошел к ней сказать, что произошла ошибка, что вместо паровоза в мешке оказалась зимняя шапка и хоть бы она сто раз была из натуральной цигейки...

Темнота за окном становится темнее. В доме напротив, в ресторане на первом этаже, новогодний корпоратив достигает своего апофеоза, и взрослые люди с детскими криками и бенгальскими огнями в руках выбегают на улицу водить хоровод вокруг высокого железного сварного конуса, увитого мигающими зелеными, красными и белыми лампочками. Кто-то от полноты чувств кричит и подбрасывает вверх шапку. Может, и цигейковую. Из окна не разобрать.

***

И тепло ласковое, почти летнее, и листва пышная, почти зеленая, и дождь тонкий, нитяной, почти веселый, но стоит только потянуть за эти нити, как вытягиваются вороха мокрых желтых и красных листьев, холодные капли, затекающие за шиворот плаща, лоснящиеся от воды черные купола зонтиков, туфли в белых разводах соли, желтые окна кофеен, длинные темные вечера, разговоры длиннее и темнее этих вечеров, зеленый чай с имбирем и тонкие озябшие пальцы, обжигающие губы.

***

Третий час ночи... Уборщица на станции метро «Площадь Революции» вкладывает выпавший наган в руку задремавшего рабочего.

***

Снег падает такой густоты, что двор кажется дном аквариума. Точно кто-то наверху решил нас покормить и щедро посыпает сырой апрельский воздух снежинками. Девочка в шапке с разлетающимися заячьими ушами бежит по двору, ловит ртом падающий снег, кричит «Митька – дурак, Митька – дурак!» и хохочет. Вслед за ней бежит раскрасневшийся Митька и кричит «Танька – дура! Танька – дура!». Митька бежит медленно – у него на спине большой черный рюкзак, а в руках еще один – розовый.

***

Как только набухнут не только первые, но и вторые почки, хорошо купить в булошной горячий бублик с маком и прокатиться на трамвае. Не в булочной, а в булошной, и не на автобусе или троллейбусе, а на трамвае. В булочной вам продадут все, что угодно, только не настоящий бублик с настоящим маком, а троллейбус или автобус... Положим справа невыразительное и бесцветное шуршание резиновых шин, а слева ритмичное и заводное постукивание колес на стыках сверкающих под весенним солнцем рельсов; справа нервные гудки, а слева звонкие и заливистые трели трамвайного звонка; справа солидные усатые и небритые мужчины с сигаретами в зубах, крутящие баранку, а слева хрупкие, звонкосмеющиеся девушки, грызущие белыми зубами красные и зеленые яблоки; справа визг тормозов, а слева сдержанное шипение сжатого воздуха, аккуратно опускающего огромные тормозные колодки на рельсы; справа черный клуб дыма из выхлопной трубы, а слева веселые разноцветные искры из-под трамвайной дуги, справа... Воля ваша, но кто станет кататься на автобусе? На трамвае – совсем другое дело. Особенно, если вы не один и если у вас в кармане денег только на поездку в трамвае и два или три переписанных от руки красивых, не из школьной программы, стихотворения Бодлера или Гумилева собственного сочинения. Однажды, лет тридцать или тридцать пять назад, ехал я в трамвае по Новослободской улице или по Каляевской, или по Сущевскому валу. Тогда весна была не такой, как теперь. Почки на деревьях были такими огромными, что в ладонь помещалось не больше трех, а искры из-под трамвайных дуг были белыми, желтыми, синими и красными, а не только белыми, как сейчас. Да и было их куда как больше. Бублики были так велики, что даже в их дырках было раз в десять больше пустоты, чем... Нет, тогда была не весна, а зима, и в щели

громыхающего по рельсам трамвайного вагона дул колючий ветер. Можно было продышать в заиндевевшем окне полынью и в нее смотреть на проплывающую мимо чернильную темноту, которую освещали ледяным синим светом редкие фонари, но можно было и не смотреть, а снять толстые, двойной домашней вязки варежки с ее маленьких ладоней и долго их дышать на них. Ну и пусть они и без того горячие. Даже очень. Даже ожоги от пальцев на языке и губах. На то и трамвай...

***

Как известно, весенние лужи делятся на несколько классов. Крохотные лужи нулевого или приготовительного класса годятся лишь на то, чтобы ломать в них каблуком или палкой тонкий ночной ледок. Лужи первого класса рассчитаны на то, чтобы ломать в них каблуком или палкой тонкий ночной ледок и, кроме того, топая по ним ногой в резиновом сапоге, наблюдать, как весело брызги разлетаются во все стороны. Лужи первого класса годятся еще и на то, чтобы промчаться по ним с ветерком на трех или даже двухколесном велосипеде, наблюдая, как весело брызги разлетаются во все стороны. Лужи второго класса глубже первого, и в них можно пускать кораблики, топать по ним резиновым сапогом до тех пор, пока не промокнут ноги в толстых шерстяных носках, и проезжать с ветерком на велосипеде, наблюдая, как весело летят брызги на плывущие кораблики и на тех, кто их пускает. В лужах третьего класса, которые глубже второклассных, можно не только проехаться с ветерком на велосипеде, наблюдая, как весело летят брызги на плывущие кораблики, на тех, кто их пускает, на тех, кто с мокрыми ногами продолжает брызгаться, но еще и получить по шее от корабликостроителей. Лужи четвертого класса, обычно находящиеся за гаражами или возле строительных площадок, позволяют гарантированно промокнуть, как минимум, до пояса, устраивать морские бои, строить из утащенных на стройке обломков досок плоты класса «река-море». Наконец, лужи пятого класса, для прохождения которых уже необходимо брать лоцмана из ближнего к стройке дома, дают возможность не только построить из утащенных на стройке обломков досок плот класса «река-море», испачкать новую куртку гудроном в процессе просмаливания палубы, научиться плавать и уплыть в Африку, но еще и не дают возможности какое-то время сидеть после вынужденного возвращения из дальнего плавания.

***

Сидит со мной рядом в вагоне метро старушка – маленькая, с пучком, заколотым черными советскими шпильками, пахнущая древними приторными духами. У старушки на коленях стоит большой черный рюкзак, украшенный разноцветными шнурками и разрисованный мелкими белыми черепами, в руках у нее планшет, а в планшете сайт православие.ру, по которому старушка перемещается с первой космической скоростью.

***

На встречном эскалаторе, поднимаясь, ехала настоящая еврейская мать. Не обращая внимания на окружающих, сосредоточенно и целеустремленно она указательным пальцем чистила ноздрю своей дочери лет семи-восьми. Дочери было неловко, неприятно, она прядала ушами, но... терпела. Это потом, лет через тридцать она будет кричать, что мать исковеркала ей личную жизнь, расшатала нервы, исклевала печень, выела весь мозг кофейной ложечкой, отвадила всех мужчин, включая даже безропотного и положительного, точно один из полюсов магнита, старшего бухгалтера их конторы. Потом она успокоится, вытрет матери слезы, подаст ей на кусочке рафинада двадцать капель корвалола, выключит свет в комнате и тихонько выйдет на кухню.

На встречном эскалаторе, поднимаясь, ехала настоящая еврейская мать. Не обращая внимания на окружающих, она сосредоточенно и целеустремленно она указательным пальцем чистила ноздрю своему сыну лет семи-восьми. Сын стоял молча, косил глазами на проплывающие мимо круглые шары плафонов освещения и терпел. Это потом, лет через тридцать он захочет крикнуть матери, что она исковеркала ему личную жизнь, расшатала нервы, облысела голову, исклевала печень, выела весь мозг кофейной ложечкой, отвадила всех женщин, включая даже безропотную и положитель-

ную... но промолчит, подаст ей на кусочке рафинада двадцать капель корвалола, выключит свет в комнате и тихонько выйдет на кухню.

***

В телефонном салоне «Связной» мужчина средних лет, багровый от духоты, спрашивает продавца, тонкого юношу с еле заметными усиками:

– Молодой человек – у меня бабушка лежит в больнице. Какой ей лучше подобрать тариф, чтобы с нами со всеми общаться?

– «Монстр общения», – не задумываясь, отвечает тот.

***

Ближе к полуночи занесло меня в магазин «Метро». Устал, настроение отвратительное. И тут вижу – стоят целые штабеля красивых жестяных коробочек с чаем. Да не просто коробочек, а с музыкальным механизмом. У них сбоку ключик торчит. Повернешь его, и коробочка начинает мелодично звенеть. Что я вам скажу – после того, как я быстро повернул десятка два ключиков у этих чайно-музыкальных шкатулочек, жизнь как-то начала налаживаться.

***

Хрупкая и тонкая, точно ваза для одного цветка, девушка в футболке с надписью «А напоследок я скажу» строго, как учительница начальных классов, спросила юношу, притянув его к себе за пуговицу:

– Соскучился?

Молодой человек задорно встряхнул многочисленными косичками и ответил:

– Только из одних букв «о» в этом слове можно составить туннель длиной в три с половиной километра. Еще и останется сотня-другая на баранки.

– А из букв «у»? – не унималась его подруга.

– Долгий-предолгий гудок паровоза, который проедет по этому туннелю.

– А из...

– Из буквы «и» ничего нельзя составить. Она всего одна в предложении «и они пошли есть в ресторан шашлык из молодого барашка, хачапури, запивать все это холодным белым вином...»

– Их два, этих «и». «И пирожное эклер. И фисташковое мороженое. И вишневое варенье. Варенье через запятую, раз уж “и” всего два».

***

От станции «Отрадное» ехал в одном вагоне со мной скромно одетый юноша в очках, читавший большой, хорошо изданный том Победоносцева «Государство и церковь». Виду юноши был насупленный, выражение лица до крайности постное и очень похожее на выражение лица обер-прокурора Святейшего Синода, напечатанное на обложке книги. Подъехавши к «Цветному бульвару» юноша книжку захлопнул, убрал в портфельчик, туда же затолкал насупленность, пост, который он молниеносно стер с лица, и, улыбаясь, вышел.

***

На станции метро «Бабушкинская» захожу в вагон – а там полным-полно цыган. Сидят и золотыми зубами сверкают. Теперь декабрь, мороз, и они, наверное, кочуют с нашей северной станции куда-нибудь на «Юго-Западную» или даже на «Бульвар Дмитрия Донского». Галдят так, что не слышно шума метро. Только я зашел и встал поудобнее в уголок, как в вагон следом за мной вошла попрошайка, которых на Калужско-Рижской линии порой больше, чем пассажиров. Серая, точно огромная мышь, усатая тетка с табличкой, повествующей о постигших ее несчастиях, и полиэтиленовым пакетом от Маркса и Спенсера для сбора подаяния. И только она рот открыла, чтобы загнусавить свое извечное «Извините, что к вам обращаемся...», как увидела, перед кем ей предстоит выступать. Перед кем, так сказать, блеснуть профессиональным мастерством. Ощущение было такое, точно лабух из провинциального ресторана, всю жизнь игравший песни Юрия Антонова, пришел играть в Большой

зал Московской консерватории пятый концерт для фортепьяно с оркестром Бетховена и на него пристально смотрят солисты государственного симфонического оркестра Центрального телевидения и радио. Все уже минимум по два раза откашлялись, дирижер взмахивает палочкой, и... тетка мгновенно закрывает рот, и пока диктор говорит «осторожно, двери закрываются», перебегает в другой вагон. Даже костыль, при помощи которого она хромала, не застрял в дверях.

В далеком-предалеком будущем...

...когда ученые и врачи победят все болезни, включая наследственные, когда даже пластические хирурги положат зубы на полку, поскольку все будут стройными, мускулистыми, с кубиками на прессе от рождения и до ста лет, когда сисек третьего и четвертого номеров у всех будет завались, не говоря о губах величиной с вареники, когда только у стоматологов будет работа и кусок масла, а то и два, вот тогда ученые, чтобы не умереть с голода, примутся исследовать тонкие материи вроде чувства юмора или совести.

Возьмут они хромосомы, расчленят их на молекулы дезоксирибонуклеиновых кислот, а двойные спирали тех молекул расплетут до самого конца, и обнаружится, что за юмор отвечает набор из шести азотистых оснований. К примеру, аденозин, аденозин, тимин и три гуанина. Если еще один гуанин добавить, то это уже ирония, а если два, то беспросветный сарказм.

Понятное дело, что сразу, на генетическом уровне, привить чувство юмора не получится, а вот временно, при помощи уколов или таблеток... И тут все как захотят! Юноши, которые на первом свидании желают искрометно шутить, чтобы на первом же свидании... и на втором и на третьем, артисты эстрады и писатели-юмористы. Зятья перед выяснением отношений с тещей не смогут обойтись без одной или двух таблеток иронии. Жены перед встречей мужей, заявившихся под утро, введут себе внутримышечно полный шприц сарказма. И тут выяснится, что средство дорогое. Очень дорогое для очень богатых. Обычные люди довольно быстро научатся распознавать богатых людей по потрясающему чувству юмора. В каких-нибудь Луховицах или Соликамске за остроумный ответ на вопрос «Закурить не найдется?» можно будет так получить по морде...

С совестью все сложнее. Государство профинансирует разработку пробудителя совести и даже заставит население принимать его в принудительном порядке. Чиновникам, полицейским, прокурорским, думским велят регулярно, не реже раза в месяц или ежеквартально, но дозой в три раза больше... Да что полицейские! Премьер-министр перед заседанием правительства лично разложит таблетки перед каждым министром и его замом. Сам президент и премьер-министр перед телекамерами, друг другу, большим шприцем... И тут ученые придумают противоядие. Понятное дело, что это будет запрещенное средство. Понятное дело, что оно будет дорогим. Очень дорогим. Обычные люди... Короче говоря, если в каких-нибудь Весьегонске или Балахне на вопрос «Совесть у тебя есть или нет?» ответить отрицательно – можно будет так получить по морде...

...когда планшеты и ноутбуки окончательно заменят нам мозг, можно будет приобретать мысли для обдумывания. Придумают такие крошечные упакованные файлы на одну небольшую и не очень сложную мысль. Заведутся сетевые магазины, в которых можно будет скачивать разные мысли. Новые, конечно, будут стоить дороже, но их и всегда было мало, а тогда будет еще меньше. Впрочем, никто особенно и расстраиваться не будет. Будут брать старые, тем более что на них будут действовать многочисленные скидки. Понятное дело, что многим и вообще эти мысли не будут нужны ни в виде файлов, ни даже в виде бифштексов или сливочных помадок с цукатами, но тут им государство строго прикажет думать хотя бы одну мысль не реже раза в три дня. Мало того, малоимущим категориям граждан вроде пенсионеров и многодетных семей мысли раздадут бесплатно. На государственных сайтах, конечно, все мысли будут проверены. Ведущие мозговеды страны разработают содержание минимального мыслепакета из нескольких самых простых, полезных мыслей и вывесят их на сайтах всех собесов и контор ЖКХ. Дума запретит не только непосредственный экспорт мыслей заграницу, но даже думание случайно утерянных, недодуманных отечественных мыслей и мыслей-сирот ино-

странцами. Как всегда, у нас расцветет пиратство. Все сколько-нибудь стоящие мысли украдут и выложат в открытый доступ. Народ станет скачивать и тут вдруг окажется, что многие мысли заражены вирусами. К примеру, думаете вы правильную и полезную мысль о том, что надо заплатить налоги и спать спокойно, а в качестве побочного эффекта вас изводят думы о том с кем спать, спать или не спать вовсе, а вместо этого заниматься в постели черт знает чем, черт знает с кем...

***

...лет через сто или пятьдесят, или даже двадцать власти полюбят социальные сети самой страстной любовью. К тем сетям, что уже есть, прибавят множество новых. Нас опутают этими сетями, как Лаокоона змеями. Издадут закон, по которому каждый будет обязан вести собственный блог или даже два блога. Потому как только в сети все наши разговоры записываем мы сами. Своими руками. Читай не хочу. Я даже думаю, что обычное, разговорное общение, кроме внутрисемейного и на производственные темы, не будет, мягко говоря, приветствоваться. Едешь себе в метро или в трамвае и помалкивай. Нечего болтать с соседом. Попроси передать за проезд и сиди тихо, строчи в Фейсбук или Живой Журнал. Тебя вчера видели разговаривающим на улице с каким-то бородатым мужиком. Дворник увидел и сообщил куда следует. В ответ на это мы станем чаще ходить друг к другу в гости, чтобы поговорить, глядя друг другу в глаза. Это будет трудно. По привычке руки будут тянуться к клавиатуре. Придется руки прятать за спину и говорить. Предприимчивые люди сочинят платные курсы «Искусство живой беседы» и станут за большие деньги тайно распространять их в сети, а еще более предприимчивые за еще большие деньги организуют подпольные клубы для разговоров. Власти станут такие клубы выявлять. По ночам по улицам городов, как в фильмах про разведчиков, будут ездить специальные машины с чувствительными микрофонами и акустиками, вроде тех, которые на подводных лодках, и пеленговать разговоры. Конечно, дозволенные, вроде «передай соль» или «опять, скотина, на рогах пришел», будут отсеиваться, а недозволенные... И еще мы станем писать друг другу записки на бумаге. Даже письма. И передавать их с надежной оказией. Возникнет тайная почта и тайные почтальоны. Это будут мужественные и храбрые люди, способные в случае опасности быстро съесть несколько писем. Власти за ними будут охотиться. К тому времени в аэропортах, на вокзалах, бензоколонках и даже на автобусных остановках весь багаж будет просвечиваться, и потому почтальоны будут носить письма пешком или возить на велосипедах. Мы научимся ждать письма неделями и даже месяцами. Государство к тому времени прекратит выпускать всякие устройства для письма по бумаге вроде авторучек, карандашей и фломастеров. Только клавиатура. Не останется даже кисточек. Художников обяжут рисовать при помощи компьютерных программ. Мы вернемся к гусиным и куриным перьям. Станем тайно разводить гусей и курей как бы для мяса и яиц, а сами... Правда, в далеком будущем не будет деревни, поскольку все из нее уедут в город и птицу придется содержать дома, в городских квартирах. Соседи из благонадежных, те, которые рот открывают только в социальных сетях и для еды, станут доносить на тех, у которых за стеной гусиное гоготанье или на рукаве пиджака следы куриного помета. Настоящих чернил будет достать трудно, и мы станем писать молоком, как революционеры из тюрем. Власти в ответ станут молоко выдавать только по специальным талонам в семьи с маленькими детьми. Тогда мы станем заводить маленьких детей. Государство, глядя на рост населения, подумает-подумает... и отступится. Скажет: «Черт с вами, с болтунами. Говорите, пока языки не распухнут, и пишите, пока пальцы не онемеют». Мы им тогда скажем: «Не дождетесь!» и вернемся в социальные сети.

Проезжая мимо «Чеховской»...

...подумал, что в вестибюле этой станции не хватает самого необходимого – большого портрета Антона Павловича и под ним гранитной полочки, на которой лежали бы два или три томика его рассказов. Пробежит мимо портрета ребенок, бросит взгляд на писателя, вздрогнет, пробормочет про себя «Чуден Днепр при тихой погоде» или «Зачем Герасим утопил Муму» и дальше побежит. Гордо пройдет, цокая каблуками от ушей, красавица, шевельнется в ее наманикюренной голове... но тут же и

уляжется. Подойдет к портрету замотанный делами командировочный, поставит на пол неподъемный свой портфель, в котором лежит десять килограмм товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, возьмет с полочки книжку и станет тихо читать, время от времени поднимая глаза на портрет: «Так и мы, когда любим, то не перестаем задавать себе вопросы: честно это или не честно, умно или глупо, к чему поведет эта любовь и так далее...» Вздохнет, почешет шапку, перевернет сотню страниц разом и продолжит: «И в эту минуту он вдруг вспомнил: как тогда вечером на станции, проводив Анну Сергеевну, говорил себе, что все кончилось и они уже никогда не увидятся. Но как еще далеко было до конца!», потом еще раз вздохнет, глубоко-глубоко, закроет книгу, и уж наизусть скажет «Мисюсь, где ты?» и тут же, без перерыва: «Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности... Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно бога молить, увези меня отсюда, а то помру...» Постоит молча, машинально поглаживая прижатую к груди книгу, оторвет ее от себя, положит на полку, снимет шапку, привстанет на цыпочки, приложится к портрету, туда где кончается лацкан чеховского пиджака и начинаются пуговицы, поклонится и побредет себе с Богом пересаживаться на «Тверскую», чтобы ехать на Белорусский вокзал.

На «Марксистской»... Ну, тут хватит и портрета, но уж непременно подписать полностью: «Карл Фридрих Иероним фон Маркс», а то никто и не вспомнит, что это за бородатый мужик. Хорошо бы власти раскошелились на настоящую бороду для портрета. И чтобы каждый волосок – волшебный. Выдрал его, пошептал заклинание «Призрак бродит по Европе...» или «Пролетарии всех стран...», дунул – и твое желание исполнилось: у соседа отсох перфоратор или у его жены, которая живет на одной с тобой лестничной площадке, муж уехал в командировку.

На «Пушкинской» под портретом Александра Сергеевича и книжек никаких класть на полку не надо – заставить ее всю бутылками с шампанским. Еще и не успеют открыть, а уж закричат «Выпьем с горя; где же кружка?» И точно, кружки наверняка не будет – или ее забудет поставить администрация, или умыкнут проезжающие. Потом, когда все выпьют и без всяких кружек, а новых бутылок не подвезут, поскольку отпущенные на это средства... положат на полку рядом с пустыми бутылками «Женитьбу Фигаро». И перечитать можно, и никто на Бомарше не позарится[12].

***

На здании театра города Чехова висит афиша с названиями пьес нынешнего сезона. Тут и «Лекарь поневоле» Мольера, и «Снежная королева» Шварца, и «Город» Гришковца, и «Малыш и Карлсон» Линдгрен. Все это написано красивыми разноцветными буквами на красивом разноцветном холсте. Но эти замечательные пьесы не первые в списке. Первые четыре строчки с «Дядей Ваней», «Чайкой», «Тремя сестрами» и «Вишневым садом» не написаны разноцветными буквами на холсте. Названия чеховских пьес навечно написаны замурованными в желтую стену буквами из красного полированного гранита. Каждый год, в начале театрального сезона, вновь поступившие в труппу артисты кладут руки на буквы этих названий и приносят клятву верности театру. Женские артисты обещают никогда, кроме как на сцене, не говорить и даже не думать «В Москву! В Москву!», а мужские клянутся, взявши в первом акте ружье, в последнем из него непременно... Ну, хорошо, хорошо. Не выстрелить. Не клянутся. Гранитных букв тоже нет. И очень жаль, что нет. Красивая была бы афиша, не говоря о традиции.

***

Или взять, к примеру, «Душечку». Устрой мы или не мы Олимпиаду по рассказам и повестям – так она бы взяла большую золотую медаль. Ну, может, «Старик и море»... но это вряд ли. Только серебро, которое она поделит с «Вином из одуванчиков». Я представляю себе этот момент награждения – трибуны просто с ума сходят, машут книжками, кричат «Палыч! Палыч!». Играет гимн, и Антон Павлович скромный, смущенный, одну руку прижимает к сердцу, а другой пытается пристро-

[12] Для тех же, кому и Пушкин, и Чехов, не говоря о Марксе... можно, не мудрствуя лукаво, на станции «Рижская», в том конце вестибюля, где на стене выложено мозаичное панно, на котором латышские крестьянки вставляют зерна тмина в тесто для рижского хлеба, установить черную с золотом банку шпрот ведра на два, такую же буханку бородинского и бутылку водки.

ить болтающееся на шнурке пенсне. Хотя... скорее всего, он не приедет на награждение. Скажется больным. Пришлет вместо себя Ольгу Леонардовну, и она прибудет вместе с Немировичем-Данченко. Будет раздавать всем интервью, курить длинные тонкие папиросы и делать многозначительное лицо, а молчаливый Немирович-Данченко будет долго и душисто отрыгиваться шашлыком. Жизнерадостный и розовощекий министр литературы будет говорить, что, конечно, у нас не одна «Душечка» могла выстрелить, у нас и другие претендовали на призовые места, у нас этим летом, на сборах в Коктебеле... но по уму-то надо по-другому. Написал, скажем, писатель «Душечку» или «Левшу», или «Капитанскую дочку». Сей же момент, как все прочли и восхитились даже те, кто никогда не восхищался, включая критиков в толстых журналах, президент издает Указ о награждении писателя орденом за заслуги самой первой степени. Государственная Дума просит писателя прочесть «Душечку» или «Левшу» на своем внеочередном экстренном заседании. Устраивается прием в Кремле. Приглашаются иностранные послы, которым раздают рассказ в переводе на их языки, на бумаге с водяными знаками и в переплете из тонко выделанной тисненой телячьей кожи с золотым обрезом. Послы пытаются сказать, что и в их странах рассказы пишутся ничуть не... но их никто не слушает и они, нисколько не обидевшись, идут пить коллекционный коньяк и есть тарталетки с зернистой икрой. Трубят серебряные трубы. Шампанское льется рекой. Писатель раздает автографы и от волнения все время разглаживает на груди муаровую, с серебряным шитьем, ленту, на которой сверкает звезда ордена. Потом вечер заканчивается, не очень трезвого писателя берут под белые с чернильными пятнами руки, сажают в кожаный салон президентского лимузина и под звуки сирен, синих мигалок, крики гаишников куда прешь, скотина, везут домой, в Бирюлево, в панельную пятиэтажку, к жене, которая ему все глаза выцарапает за то, что вернулся домой ночью и пьяным, к восьмидесятилетней теще, к детям, искурившим все его сигареты, и к продавленному дивану, ручки которого обгрызла притащенная младшим сыном с улицы маленькая и визгливая, если на нее наступишь, собачка со идиотским именем Каштанка.

***

Стал смотреть фильм о Чехове и не смог. Нет, я, конечно, досмотрел до конца, но... все равно не смог. Я легко посмотрел бы фильм о Горьком, о Куприне, о Бунине даже, но о Чехове... Это все равно, что представлять историю болезни любимого человека в картинках или рукопись рассказа «О любви» изучать под микроскопом – вот здесь строчка вниз уехала, здесь неаккуратно зачеркнуто, а здесь, в том месте, где Алехин прощается с Анной Алексеевной, преогромная, безобразная клякса. Мне все хотелось переделать в фильме: каждую сцену, каждое слово, каждый жест. Разве мог Чехов говорить обычными словами? Заглавную роль хорошо играл... Господи, ну разве могла у моего Чехова быть жидкая борода?! Она была густой, каштановой, волнистой, и Авилова была неземной красавицей с волнующей грудью. Чехов вообще не умер, а выздоровел, они поженились, забрали к себе жить Ваньку Жукова и Каштанку! Это Горький умер. Вернулся к большевикам, женился на Книппер и умер[13]. У него так в протоколе о вскрытии и было написано две причины смерти: «Книппер и большевики». Большевиков, понятное дело, власти немедленно вычеркнули, но врачам дали по десять лет без права переписки.

Из записок перечитывателя

Перечитывал «Степь». Когда читал в первый раз, еще в школе, почти ничего и не запомнил – только цыпленка, который лежал накрытый тарелкой в коридорчике, в доме, где определили Егорушку жить на время учебы в гимназии. И цыпленка-то лишь потому запомнил, что было мне удивительно – Егорушке разрешили его есть ночью, если захочется. Моя мама ничего не разрешала есть ночью. И на ночь тоже не разрешала. И цыпленок должен был быть в холодильнике. Не ровен час испортится. Короче говоря, дочитал я «Степь» и стал представлять, как Егорушка пойдет в первый класс гимназии, а потом и вспоминать, как я сам пошел в первый класс. Выяснилось, что ничего-то я толком уже и не помню, кроме того, что учительницу нашу звали Елена Владимировна. Или Ива-

[13] *Вдову его, Ольгу Горькую, злые языки за глаза звали «Пилюлей».*

новна. У нее был низкий, грудной голос, и она пела с нами песню про юного барабанщика. Помню еще, как мой одноклассник написал в диктанте «Дети спрятали ежика в шахту» вместо «шапки» и мы все умирали от смеха, а одна девочка жалела его. Не одноклассника, а ежика, которому в шахте есть будет нечего, и он умрет от голода в угольной темноте, а нам смешно, потому, что мы дураки. Помню жареные пирожки с повидлом по пять копеек и молочные коржики по девять в школьном буфете. Или коржики стоили одиннадцать... Помню пятна, которые пирожки оставляли на школьной форме, помню, как расписался вместо родителей в табеле за первую четверть. Нет, у меня там двоек не было – одни пятерки. Просто родителям было вечно некогда. Вот я и... Еще я вспомнил, как вечером 31 августа чистил гуталином свои новые ботинки до зеркального блеска. Папа сказал, что школьник должен их сам чистить. И я начистил их, а заодно и себя и даже стиральную машину, возле которой я сидел на маленьком стуле, ножка которого совершенно случайно наступила прямо в открытую банку с этим дурацким гуталином. Сама и наступила. Хорошо, что это все было вечером, а не утром. Иначе бы меня не успели отмыть, и никакого первого сентября у меня не было бы, а вечером меня и отмыть успели и наказать. К чему я это все... В этот раз, при чтении «Степи», запомнилась мне фраза «Русский человек любит вспоминать, но не любит жить». И правда. Впрочем, у Чехова всё правда.

***

Сколько раз ни перечитывал «Обломова» – столько раз, вплоть до самого решительного объяснения между ним и Ольгой, надеялся, что все у него устроится. С Ильей Ильичем ведь совсем не так как с Павлом Ивановичем, Акакием Акакиевичем, а тем более Герасимом или, не к поезду будь помянутой, Анной Аркадьевной. От Ильи Ильича обложкой не отгородишься. Тут с каждой новой страницей все больше и больше ненавидишь себя за то, что бумагу в палату не написал, ни в деревню, ни заграницу не поехал, негодного управляющего не прогнал, книгу не дочитал, а все лежал в халате, обедал, спал, ел пирог с капустой и морковью или пил кофей со сливками и горячим калачом, смотрел в приотворенную дверь кухни на мельканье голых локтей...

***

Перед сном перечитывал «Анну Каренину» и решил, что Толстой – холодный препаратор чувств своих героев. Все-то он раскладывает по полочкам – каждый чих Вронского или Каренина, каждую слезинку Анны. Всему-то у него есть правильное и психологически точное объяснение. Анна рыдает после объяснения с мужем и знает то, знает другое, чувствует третье и даже четвертое... Точно читаешь ты не роман, а медицинское заключение, составленное Толстым. Со всем тем, проснувшись утром, я вдруг с ужасом подумал: «Аня беременна и все рассказала мужу! Что делать?! Выходить в отставку? Готовиться к дуэли с Карениным? Увозить ее к маме? Господи, ну почему как раз сейчас нет денег даже до получки...» – и только после того, как жена велела немедленно вставать, умываться и идти есть остывающую овсяную кашу, меня отпустило и даже стало казаться, что все образуется, как говаривал камердинер Степана Аркадьича Облонского.

***

Толстовская манера постоянно анализировать чувства своих героев, все эти «Анна чувствовала... знала наперед... Вронский знал назад... Долли понимала...», оказалась ужасно прилипчивой. Третьего дня, завтракая хлебом с отрубями, диетическим творогом и чаем без сахара, я понимал, чувствовал и знал наперед, что вечером не удержусь и, противу данного себе обещания не притрагиваться после шести к сладкому и мучному, нечувствительно съем пастилу или творожное кольцо, или сливочную помадку, что уже сейчас мой язык и пальцы на руках нервно движутся, ощущая податливую мягкость помадок и хрупкость граней белоснежных брусков пастилы. Потом, уже в постели, стану лежать с открытыми глазами, бесстыжий и сытый блеск которых будет виден мне самому.

***

Толстой удивительно монументален. Просто роман он написать не может. Всякий раз у него выходит эпопея. Уж казалось бы – на что частная история семейства Карениных. Бездны психологизма.

Тонкие оттенки переживаний. К чему в таком романе все эти нескончаемые рассуждения о крестьянском вопросе, о покосах, о железных дорогах, о найме рабочих и коммунистах? Какое это, спрашивается, имеет отношение к любовному треугольнику? Ну, ладно. Покосы и пахоту из этого списка уберем. Тут личное. Возьмись Лев Николаевич писать роман из жизни первых людей на Марсе – так и тут наверняка были бы до света вставшие космонавты, роса на фиолетовой марсианской траве, промокшие от пота скафандры и взопревшие озимые. Но зачем книга Левина «об естественных условиях рабочего в отношении к земле»? К чему бесчисленные персонажи вроде профессора Катавасова или Метрова? Роман напоминает мне картину художника, который, взявшись написать мальчика, играющего с собачкой, увлекся и добавил к ним улицу, парк, набережную моря, пароход на рейде, на палубе парохода капитана, курящего трубку, и чумазого механика с огромным гаечным ключом; или рассказ женщины о том, как она пошла в магазин, чтобы купить буханку черного, полкило сарделек и... кончилось все вечером у Бережницких, Катей, ее воздыхателем Грендилевским и выстрелом в сердце.

***

Читаешь «Анну Каренину», читаешь... Все ужасно серьезное, требующее внимательного, вдумчивого чтения. Толстой, Толстой и еще раз Толстой. И внезапно, в сцене, где адвокат Каренина, уже обратившись в одно большое ухо, чтобы внимательнейшим образом выслушать своего клиента, вдруг молниеносным движением ловит моль и снова почтительно замирает... Ну, ведь Гоголь же. Ей-богу Гоголь! И снова Толстой, Толстой, Толстой...

***

Более всего, в первой серии фильма старого советского фильма «Анна Каренина» меня поразил звенящий металлический звук косьбы. Точно крестьяне вместе с Левиным косили не траву, а стальную проволоку. После этого меня уже не удивило то, что траву сразу же вывозят возами со скошенного луга. Само собой, при этом все поют косильную народную песню. Хотя... я думаю, что самому Толстому этот косильный звон понравился бы. Он, кажется, именно так и представлял себя на покосе. Туман предутренний, вокруг Россия и воздух, напоенный рассуждениями о крестьянском вопросе, звенит от его взмахов. Мужики на гумне или в овине, заслышав этот чистый, сильный звон, даже и не зная, откуда он, уважительно снимают шапки. И где-то далеко-далеко мало-помалу нарастает железный гул, стук колес и пронзительный свист – курьерский!

***

Вот казалось бы – в кино возможно все. Тем не менее, в романе у Толстого глаза Анны светились в темноте, и даже она сама это чувствовала, а в кино хоть бы искорка. Я еще могу понять режиссера старого советского фильма – там свечение могли запретить по идеологическим соображениям, но в фильмах более поздних тоже полная темнота на этот счет. Самойлова, конечно, таращит глаза изо всех сил, изображая свечение, но даже новорожденный, еще полуслепой щенок собаки Баскервилей даст ей сто очков форы.

***

Наблюдая за тем, как, по мере развития романа, размышления, даже умствования Левина касательно мироустройства превращаются в душевные переживания... Проще говоря, мне показалось, что результатом этих размышлений и переживаний явилось превращение овсяной каши в его голове в пшенную. Или в манную.

***

Как только я увидел первые кадры соловьевского фильма «Анна Каренина» с ~~Фаготом~~ Абдуловым в роли Стивы Облонского – так сразу и подумал: «Пропал калабуховский дом». Даже и намека нет на обаяние. Грубый, старый циник. Почему-то одет прилично. Ему бы вместо фрака и белого галстуха – кепи, обтерханный пиджак в крупную клетку и сигарный окурок. Куда как органичнее

смотрелось бы. Он так просит прощения у Долли, словно говорит: «Рабинович не дурак? Извините». Оно ему нужно, как... Надо сказать, что и Долли ему под стать. У Зархи ее играла Саввина. Сам характер Саввиной крупнее, сильнее характера Долли, и получилось так, точно большая, сильная, бесстрашная птица изображает манеру и повадки маленькой, слабой и пугливой. Долли в фильме Соловьева вышла не птицей, но мышью, хомячком даже. Какой уважающий себя кот станет просить у нее прощения?

Ну, да бог с ней. Когда в кадре появился Гармаш в роли Левина, я почувствовал... слушайте, ну как может быть Левин с таким голосом? Ну как?! Таким голосом пьют водку, курят, играют до утра в карты, хлопают по заду деревенских баб, требуют недоимки, секут мужиков, но чтобы им писать мелом буквы, объясняясь в любви Кити, чтобы им мучительно рассуждать о Боге... Тут я увидел Анну и обомлел. Будь я министром путей сообщения, то единственно ради одного поворота головы этой женщины, ради изгиба шеи приказал бы остановить все железнодорожное движение в направлении Москва – Петербург, пока все не образуется. Да что движение! Немедля ехать в Ясную Поляну к самому, валиться в ноги, сулить новую косу... нет, две, железный лемех для плуга, новую толстовку взамен изношенной, обещать никогда не есть без спросу слив, не бросать косточек в окно, только чтоб не погубил ее![14] Что уж Друбич говорила потом дальше по роли, я плохо запомнил. Мне показалось, что она играла одна. Вообще она была страшно одинока в этом фильме. Вронский... ну не обсуждать же, в самом деле, эту голую, pardonnez-moi, ж... с дымящейся сигарой. Так профукать сцену объяснения в любви на перроне в Бологом! С таким же успехом Анна могла разговаривать с проводником или даже с паровозом. Тот хотя бы пыхтел со страстью.

Между прочим, только по одной этой сцене можно поставить полнометражную картину. Отчего режиссеры этого не делают... Делают же художники эскизы к картинам. У Левитана, скажем, или Иванова есть такие эскизы, которые будут посильнее картин иных художников. Ну, не ставят и не надо. Только надо понимать, что огромный откушенный кусок может застрять в слишком узком горле.

Что же до Каренина в исполнении Янковского, то он мне напомнил отошедшего от дел Дракона в расшитом золотом мундире действительного статского советника. Слишком волевое и мужественное лицом, слишком. От такого мужчины к Вронскому уйдет только законченная дура. Если бы половина героев романа бросилась бы под товарняк, то он бы и это пережил.

Анну Друбич жалко. Запуталась она. Мне показалось, что шла женщина себе по улице, а тут ее хвать![15] Будешь, говорят, Танечка, Карениной. А у нее дома муж, семья, дети, кошка старая с подагрой... Ну зачем же под поезд живого человека-то?! Вот она и не хочет[16]. Мечется, места себе не находит. Ест ложками морфин. Между прочим, стеклянный бюкс, в котором насыпана сахарная пудра, долженствующая изображать наркотик, советский. В Клину такие делали. Уж поверьте мне. Я этих бюксов в своих руках столько держал... не говоря о белых порошках. Это позор для реквизитора. Его надо разжаловать в квартирмейстеры или даже фуражиры. Ну, да это все досадные мелочи. Вроде той, что Сережа говорил в фильме сам, своим голосом. Когда я смотрел фильм Зархи, то думал, что именно так и надо. Но... правда искусства тут важнее правды жизни. Румянова озвучивала Сережу не в пример правдивее. Вообще, чтобы оценить фильм Зархи, надо посмотреть несколько других экранизаций.

Со всем тем, финальная сцена у Соловьева сильнее. Тут он даже вышел за границу романа. Как отряд, осажденный в крепости, совершил удачную вылазку и отбил у противника толику боеприпасов или пищи. И все равно никуда из крепости ему не деться. Слишком далеко смотрит Янковский. Слишком насквозь. Анечка сама по себе, а он... Впрочем, это была его последняя роль и одному Богу известно куда он смотрел, что видел и о чем при этом думал.

---

[14] Писал и жалел, что этих строк Друбич не прочтет никогда.

[15] И хорошо, что не прочтет.

[16] Анну Самойлову не жалко. Не то чтобы не жалко, но там хоть понятно, что без этого не обойтись. Она сама этого хотела. Но так, чтобы и не обойтись, и жалко, и, может, все образуется, и от этого у зрителя, как у читателя, сердце сей момент разорвалось бы на куски... Вот этого не получилось, как мне кажется, ни у кого. Кроме Толстого, конечно.

***

Честно говоря, от фильма Джо Райта «Анна Каренина» я ожидал меньшего. Ну, думаю, парад бальных платьев, умопомрачительных шляпок и расшитых золотом мундиров. На заднем плане медведи, пейзане в косоворотках, водка, черная икра, балалайки и цыгане[17]. Вообще, я подозреваю, что многочисленные экранизации толстовского романа инициирует всемирное лобби художников по костюмам. Надо же им чем-то мериться. Режиссеры истекают кровью, актеры играют на разрыв аорты и... все равно на фестивале гран-при получит южнокорейский режиссер с прогрессивным фильмом о тяжелой судьбе северокорейской девушки-рисовода в условиях глобального экономического кризиса. Художникам-костюмерам и горя мало – они соревнуются в номинации «самый лучший костюм», в которой лохмотья и шапка-пиала северокорейских девушек отсеялись еще на предварительном этапе санобработки.

Но вернемся к фильму. Мне показалось, что у Райта получилось что-то вроде джазовой импровизации на тему романа. На мой вкус, ему не хватило смелости и чувства черного юмора, чтобы превратить фильм в комедию абсурда вроде «Даун Хауса», которую лет десять назад снял Роман Качанов по мотивам «Идиота». Впрочем, на такое святотатство может пойти только наш режиссер. Негр может назвать себя черным, а белому уже нельзя.

Стива Облонский с его огромными черными усами вышел в фильме каким-то отставным Бармалеем, который уже не ест маленьких детей, а переключился на гувернанток. Звук косьбы у Райта куда как настоящее, чем в фильме у Зархи. Может быть это связано с тем, что англичане кос кирпичом не чистят, а может и с тем, что трава у них правильнее нашей. Пузырек с морфином тоже правильный – тот, который доктор прописал, а не тот, из которого давится сахарной пудрой несчастная Друбич у Соловьева. Впрочем, и тут не обошлось без накладки. Надпись на нем французская. Между тем всякий знает, что в России французские гувернантки, а аптечные пузырьки делают колбасники. Стало быть, и надпись должна быть по-немецки.

Когда я увидел шкатулку, в которой Каренин хранил свой кондом, то вспомнил о том, что Быков писал «"Анна Каренина" – первый и лучший роман Серебряного века, века еще нет, а роман и героиня уже есть». И, правда, шкатулка, украшенная жемчугом, совершенно декадентская.

Тут бы надо сказать хоть что-нибудь о Кире Найтли... К концу фильма у меня было ощущение, что товарняк, под который она должна броситься, опаздывает. Как минимум, на час. И вообще – лучше бы они этого фильма не снимали, а ограничились выпуском комплекта открыток. На одной стороне нарисована сцена из романа, а на другой текст. Получилось бы премило. РЖД в день смерти Анны Карениной ставило бы на эти открытки штемпели специального гашения, и за ними гонялись бы филателисты, а те, что без штемпелей, предлагали бы командировочным в купейных и спальных вагонах проводницы, непристойно подмигивая при этом накрашенными синими веками. Тьфу.

***

Читая «Крейцерову сонату», подумал, что Толстой не просто писатель, а именно инженер человеческих душ. Он конструирует души своих героев. И ситуации, в которые они попадают, тоже конструирует. Его романы напоминают компьютерную игру «The Sims». Только там не более восьми персонажей, а у Толстого их может быть на порядок больше. Все эти персонажи действуют по плану, который ведом только ему. Он – стратег, демиург, бог из машины и черт из табакерки. Только он знает цель. У Достоевского такая же история, только написано гораздо хуже. Там сквозь тонкую кожу персонажей и вовсе просвечивают строчки программного кода. Нолики-единички даже. Строго говоря, и Лев Николаевич, и Федор Михайлович – настоящие кукловоды. Чеховские герои тоже не знают цели, но они ее ищут вместе с автором и читателем. Потому-то, наверное, так легко представить себя на месте помещика Алехина, или Ваньки Жукова, или его дедушки, или Володи маленького, или даже Каштанки. Попробуйте, представьте себя на месте старца Зосимы, или Фомы Опискина, или Платона Каратаева или Катюши Масловой... То-то и оно. Только Петю Ростова жалко. Мог бы его

[17] Черная икра и цыгане – это все же голливудская Анна. У англичан бюджет поскромнее и икра не дороже красной, а то и вовсе кабачковая.

не убивать, а сделать, к примеру, эльфом и перевести на следующий уровень с потерей одной, пусть даже и предпоследней, жизни.

***

Толстой не умел придумывать имена и фамилии своим героям. Вернее, умел, но делал он это с огромным трудом, то переписывая справа налево фамилии своих родственников и знакомых, то выкраивая нужное из своего имени, как выкроил он фамилию Левину или князю Львову. Поэтому у него и в «Анне Карениной», рабочее название которой изначально было «Софья Толстая», и в «Живом трупе» два Карениных и даже две Анны. В «Крейцеровой сонате» и в «Анне Карениной» два Позднышевых. Одного понять не могу – почему лошадь Вронского звали Фру-Фру, а не Холстомер?

***

Порой создается впечатление, что Толстой в прозе – наследник Ломоносова в стихах. К примеру, у Михаила Васильевича в «Оде на прибытие Ея Величества Великия Государыни Императрицы Елисаветы Петровны из Москвы в Санкт-Петербург» «кони бурными ногами взвивают к небу прах густой», а у Льва Николаевича в «Семейном счастии» «телеги с громкими криками проскакали». На мой взгляд, это одного поля ягоды. Если не сказать конские каштаны.

***

Толстой в своих рассуждениях о крестьянстве, о деревне, о платонах каратаевых и филипках, странным образом напоминает мне писателя Толкиена, выдумавшего из головы свое Средиземье. Так и Лев Николаевич выдумал из головы своих крестьян. Они его хоббиты. Собственно говоря, он и сам был выдуманным крестьянином, Львом Бэггинсом, когда выходил косить к курьерскому поезду[18] или пахал босиком. Кто, к примеру, победил орков и не дал кольцо всевластия Бонапарту в войне двенадцатого года? Не пушки, не пистолеты, а волшебное оружие под названием «дубина народной войны».

***

Читая нашу современную прозу, вдруг поймал себя на мысли, что не всякому писателю разрешил бы написать роман. Мало ли чего ему хочется. Ты сначала докажи рассказом, повестью, что можешь. План представь подробный. И создать разрешительную комиссию. Выделить квоты, организовать интриги, подковерную борьбу, лонг-листы, шорт-листы, листы-бикини, записки секретарю комиссии с просьбой рассмотреть вне очереди, вне квот, по состоянию здоровья... Квоту не израсходовал – на следующий год автоматически выбываешь из борьбы[19]. Или тебя дисквалифицируют как романиста на несколько лет за применение допинга. Разработать и утвердить список допингов, методов их анализа, дать гранты Литературному институту на разработку методик, оценочных критериев, закупку импортного оборудования... И как только они закупят, перечислят деньги на счета в оффшорах...

***

Роман писателя Сорокина «Теллурия» напоминает мне красивую шкатулку, украшенную тонкой резьбой по мамонтовой кости и перламутровыми инкрустациями. Вот сценка с пастушкой, вот с сатирами, вот с нимфами, вот с кентаврами, вот кентавры с нимфами... или сатиры с пастушками... Откроешь эту шкатулку крошечным резным ключиком, а в ней пустота. Только смятая квитанция за электричество валяется, да старый трамвайный билет, да презерватив с просроченным сроком годности на пожелтевшей бумажной упаковке еще советского производства.

---

[18] Ну, да. Курьерский поезд из анекдота, но правдой он от этого быть не перестал.

[19] Можно, конечно, разрешить продажу квот другим писателям или даже поэтам, но поэтам дорого.

***

Начало первой главы «Мертвых душ» таково, что хочется обнять, прижать к себе и поцеловать каждое из него предложение. Даже каждое слово.

***

Настоящие стихи должны рвать аорту как Тузик грелку.

***

Теперь деревенской прозы днем с огнем не найти. Есть городская, есть эротическая, есть фантастическая, есть психологическая, есть даже хорошая, но деревенской... Бывает, что продадут вам по документам роман из деревенской жизни и обложка у него будет натурального навозного цвета, и на каждой странице небритый Прохор с румяной Лукерьей будут валяться на сеновале, и озимые взопреют, и старик Ромуальдыч со своею портянкой... а принюхаешься и тотчас учуешь запахи французского коньяку, английского табаку и асфальта с бензином. И это понятно – писатель все время живет в городе, лишь время от времени выбираясь на природу или на дачу. Для него самые деревенские запахи – это запахи шашлыков и сухого красного вина. В деревню его и на аркане не затащишь. Да и как ему прожить в деревне, как прокормиться, ежели все источники его доходов, все эти колонки в глянцевых журналах, все эти редакции, в которых надо обивать пороги, находятся в городе. Вот если бы писателям давать деревни в кормление... Не так, конечно, как при крепостном праве, Боже упаси. Все-таки двадцать первый век на дворе. Никакого крепостного права, а чтобы деревня писателя кормила в самом прямом смысле этого слова – приносили бы крестьяне ему молоко, картошку, яблоки, яйца, творог, говядину и даже шерстяные носки двойной вязки, а писатель за это описывал бы их деревенскую жизнь. И вообще описывал, и в частности. Понятное дело, если описать все как есть, то крестьяне писателю эти самые носки двойной вязки на голову натянут до колен. Описывать надо в лучшем виде.

Пришел, к примеру, ко мне сосед в рваном свитере и с огромным фонарем под глазом, с больной головой после вчерашнего и преогромной просьбой одолжить ему хотя бы сто рублей для того, чтобы отсрочить смерть, которая за ним придет через час или два, а я его опишу культурным, в брюках со стрелками, в фетровой шляпе с широкими полями и пахнущим французским одеколоном, а не машинным маслом и перегаром, от запаха которого не только мухи, но даже и воробьи дохнут. Это, скажут мне, и художник нарисует не хуже писателя. Нарисует-то он нарисует, но не расскажет, что человек этот лишь по несчастной случайности оказался в глухой костромской деревне, где ухаживает за разбитым параличом трактором «Беларусь», а на самом деле он происходит из богатой купеческой нижегородской семьи, которая владела пятью пароходами, и каждая пятая или даже четвертая черная икринка, добываемая волжскими рыбаками, принадлежала прадедушке нашего тракториста. После семнадцатого года икра и пароходы... Мало того, несчастный сосед пару лет назад выпал из трактора вниз головой, и ему отшибло память об икре и пароходах. Теперь он помнит только, как пропил переднее колесо, и на его лице даже самый проницательный художник не увидит ничего, кроме тракторных шестеренок и фонаря под глазом. Конечно, от такого соседа яиц, не говоря о говядине, не дождешься, но упитанного деревенского кролика, застреленного по ошибке как зайца, или кабачков, которые растут даже там, где их не сажали, он принести может.

И это только одна история о соседе-трактористе, а написание крестьянкам многосерийных родословных, а разлученные в детстве доярки, а продавщица из сельмага, которую похитили инопланетяне, от которых у нее родилась двойня и осталась татуировка в виде летающей тарелки с голубой каемочкой пониже спины... Такого количества продуктов хватит не только писателю, но и его жене, и теще и даже взрослым детям, проживающим в городе. Конечно, не всем крестьянам это может понравиться – в смысле жена, теща и взрослые дети. Начнут болтать, что у писателя жена вон какие бока наела на их горбу, но ты сначала побудь писательской женой, ты научись не дышать, когда ему пишется, не отсвечивать, когда не пишется, научись рюмку водки подавать к письменному столу в точности после удачной фразы, а не спустя три предложения, ты научись терять дар речи и падать в обморок от полноты чувств после прочтения только что написанного рассказа, ты... Я сейчас говорю

даже не о женах писателей в ранге властителей дум, а о женах самых обычных писателей районного масштаба. Кстати, властителям дум можно и по две деревни давать, потому как при них будут кормиться... Ну, кто-нибудь непременно будет. Особенно если деревни большие.

И вот еще что. Нельзя отпускать писателя в город на оброк. Дескать, жить он будет в городе, крестьяне сами к нему приедут, продуктов привезут, а он им в городском кабинете напишет и в деревню почтой отошлет... Ни в коем случае. Крестьян потом обратно в деревню не выгонишь.

***

Приятнее всего не писать рассказ самому, а читать, к примеру, рассказ Брэдбери и мечтать о том, что ты и сам вот как возьмешь, вот как напишешь тоже что-нибудь такое светлое, немного печальное и таинственное, вот как завтра же утром! И с этим чудесным настроением потом пить зеленый чай с лимонным пирогом или смотреть в окно или просто дремать, сидя в кресле, пока тебя не растолкают и не велят идти уже спать по-настоящему, под одеялом. Но и там, в душной пододеяльной темноте, еще немного помечта-а-а... а наутро проснуться и пойти на работу, радуясь в тайне от самого себя тому, что у тебя есть работа, а настоящему писателю пришлось бы натощак писать рассказ этот чертов рассказ. Как минимум, страницы две или три до завтрака.

Огурец на два укуса

И когда клиент, разомлевший от наваристой ухи и куска кулебяки с визигой, судаком и яйцами, от говядины с соусом из соленых рыжиков, от блинов, огнедышащих всеми своими бесчисленными порами, от душистого чаю с чабрецом и вареньем из грецких орехов разомлеет, оплатит счет, оставит щедрые чаевые и уж потянется к коленке своей дамы, чтобы увести ее танцевать – вот тут вынести ему на подносе рюмку водки на посошок, а к ней маленькое серебряное ведерко, в котором во льду будет стоять чуть больше водочной рюмки запечатанная стеклянная баночка авторской работы с единственным соленым огурцом внутри. И, наклоняясь почтительно к клиенту, сообщить, что огурчик этот урожая нынешнего года сорван на огороде пенсионерки Настасьи Филипповны, проживающей в Луховицком районе Московской губернии. Сама бабка Настасья является потомственной огуречницей в десятом или даже в пятнадцатом колене, и предки ее еще к столу Иоанна Грозного поставляли соленые огурцы, а огурец в красивой банке соответствует еще советскому ГОСТу, утвержденному членом Политбюро ЦК КПСС товарищем Микояном. Он ровно на два, а не на полтора или на три укуса, и на его боках не больше и не меньше как сто пятьдесят плюс минус два пупырышка в соответствии с этим самым ГОСТом. Тут надо достать баночку изо льда, отереть влагу белой крахмальной салфеткой и показать клиенту плавающие в прозрачном, как горный хрусталь, рассоле огурчик, резной смородиновый листик, миниатюрный, точно складной, зонтик укропа и крошечный, еще молочный зубчик чеснока. Затем, с легким шампанским хлопком, открутить крышку и специальной серебряной вилочкой с тремя зубчиками достать огурец и на ней поднести его клиенту, а уж он... поздно вечером следующего дня, заявившись домой, скажет жене: – Нет, дорогая, ужинать сегодня не буду. Сил нет даже на еду. Это был какой-то кошмар, а не командировка. Всю последнюю ночь вкалывали на объекте. Еле на поезд успели. Чтоб я еще раз поехал с этими идиотами из технологического отдела... Спать, спать, спать... Кстати, уже перед самым отъездом, в буфете на вокзале, случайно заметил соленые огурцы в крошечных презабавных банках. Купил тебе огурчик полакомиться. Я бы и два взял, но уж больно дороги, а суточные теперь дают такие...

***

Тот, кто родился ребенком, а не скучным взрослым мужчиной с усами, бородой и портфелем, полным служебных и докладных записок, помнит – как медленно в детстве приближался Новый Год. Это сейчас он подкрадывается незаметно, как самизнаетекто, а тогда, когда я ходил в первый или во второй класс, в середине шестидесятых... Начиная с декабря Новый Год просто еле полз. Дед Мороз

поминутно останавливал свои сани, чтобы отойти за ближайший сугроб, олени спали на ходу, потели с непривычки в нашей средней полосе и непрерывно требовали ягель. Я изнывал, ожидая день, когда можно будет ставить елку. С елкой было спокойнее ждать Новый Год. Не может же он не зайти в дом, где стоит нарядная елка, под которой просто зияет пустотой место для подарков. У моего друга Вовки елку уже нарядили, у Стасика папа ее сегодня купил, у... да у всех уже была елка, а мои родители даже и не думали ее покупать. Папа был вечно занят на своем заводе, а мама была милиционером и работала в опорном пункте охраны порядка прямо в нашем доме, на первом этаже. Она тоже была вечно занята, и поэтому я приходил из школы прямо в милицию. Там я какое-то время ждал, пока мама воспитывала малолетних хулиганов и их родителей, а потом мы шли домой. Понятное дело, что на месте я там не сидел, а слонялся по коридорам, а вернее, по коридору, поскольку он был один, сидел рядом с дежурными, которые меня баловали то какой-нибудь особенной рогаткой, отобранной у местной шпаны, то бахалкой.

Теперь, когда в любом магазине игрушек можно купить не то что пистолет, но световой меч самого Дарта Вейдера с его же отпечатками пальцев, никто и представить себе не может, что бахалка была грозным оружием детей младшего школьного возраста и представляла собой согнутую буквой «г» медную трубочку длиной около десятка сантиметров, заглушенную с одного конца. В открытый конец надо было натолкать спичечных головок, потом в это же отверстие аккуратно вставить загнутый буквой «г» гвоздик, связанный круглой черной резинкой с коротким концом медной трубки... Не пытайтесь разобраться в моем описании. Я и сам в нем запутался. Просто поверьте, что при нажатии пальцем на резинку гвоздик ударял в спичечный заряд и раздавался «бах». У кого «бах» был самым громким – тот и был нашим Дартом Вейдером.

Вообще в «дежурке», как ее называли милиционеры, жизнь кипела. То кого-то приводили, то... Однажды мы с мамой собрались уходить домой и зашли в дежурку сдать ключи от ее кабинета. Там сидел красный злой старик, облитый с ног до головы чем-то белым, и неприятно пах. Дежурный, видя наше удивление, небрежно заметил: «Дорвался дед до бочки со сметаной», – и продолжал писать какую-то бумагу. Видя наше с мамой изумление, он все же оторвался от бумаги и рассказал нам о том, что старик этот вернулся домой из бани навеселе и стал спрашивать у своей старухи, зачем она съела его жизнь и почему ее, то есть жизни, осталось так мало, и громко удивлялся тому факту, что она, то есть старуха, еще не подавилась... Старуха же, не имея желания вступать со стариком в бесплодную дискуссию, взяла початую банку с белой краской, приготовленную для покраски дверей и оконных рам, и вылила ее на голову старику. Старик в ответ пожелал старухе... и получил от нее черенком швабры по голове и другим частям тела. Тогда старик понял, что словами горю не поможешь, и пошел жаловаться на старуху в милицию. Он хотел написать заявление. Большое заявление на развод, на размен жилплощади, на раздел садового участка и всего, что можно разделить, включая совместно нажитый радикулит и вставные зубы, но сделать этого не мог, поскольку и говорил-то с трудом по причине еще не прошедшего алкогольного опьянения, а уж писать и вовсе был не в состоянии по той простой причине, что бумага и авторучка прилипали к его накрашенным... Впрочем, это все затянувшееся предисловие к елке.

Елку во времена моего советского детства купить было сложно. В нашем районе никакого специального елочного базара не было. И самого базара не было, а возле железнодорожного вокзала стояли какие-то неприметные мужички с маленькими елочками или даже еловыми ветками, которые за умеренную, а ближе к празднику неумеренную плату могли... если их самих, конечно, не ловила милиция и ~~с криком «грабь награбленное»~~ не приступала с вопросом, чьи в лесу шишки, не говоря о елках. ~~Отобранные~~ Конфискованные елки тащили в опорный пункт милиции и складывали в крошечную камеру предварительного заключения, чтобы потом их ~~лишить иголок, распилить на мелкие кусочки, уничтожить и написать отчет об уничтожении~~ разобрать по домам. Мама елки не брала. Папа ей говорил, что не успевает купить елку, поскольку у них конец месяца, конец квартала и конец года, и на ракетах, которые они делают, еще не установлены ни рули высоты, ни ширины, ни длины и не прикручены еще колесики, но... мама все равно не брала. Она даже купила крошечную искусственную елку с микроскопическими игрушками и семимесячным дедом морозом, которую ставили на телевизор. Под такую елку подарки надо было класть в спичечном коробке. Отчаянию моему не

было предела. Оно у меня было написано на лице такими крупными буквами, что некоторые буквы вылезали на затылок и уши.

То ли милиционеры в нашем опорном пункте умели читать по моему лицу, то ли я слишком часто заглядывал в КПЗ посмотреть на елки... В один прекрасный день дядя Сережа, наш участковый милиционер, взял меня за руку, отвел в КПЗ и велел мне... Еще и велеть не успел, как я уже выбрал. Дядя Сережа взял елку своей огромной рукой, которой никакие иголки были не страшны, и мы пошли к маме в кабинет. Я стоял за его спиной и елкой и не видел, как он сделал страшные глаза, вытаращил усы, показал маме кулак и строго сказал: «Даже и не думай!»

В том году я под елкой нашел железный экскаватор оранжевого цвета. Преогромный. У него была сбоку ручка, вращая которую можно было поднимать ковш. На следующий год папа привез из Москвы большую искусственную елку. Еще через тридцать лет опорный пункт в нашем доме закрыли и вместо него открыли приемную какого-то депутата. Теперь, когда я приезжаю к маме, то по привычке заглядываю в окна приемной и думаю – лучше бы там была камера предварительного заключения, полная елок.

***

Мало кто знает, что советы, которые родители опасаются дать детям из страха, что те их не примут, или уже данные, но отторгнутые, превращаются в организме родителей в отложения солей или даже в камни в почках.

***

Взять, к примеру, нашего брата. Он за пустым столом не запоет. Ты ему скатерть белую постели, винегретом, холодцом, селедкой, маслятами маринованными и бутылками заставь – вот тогда он между пятой и шестой, чтобы сократить и без того небольшой между ними перерыв или от того, что жена под столом толкнет ногой, запоет. Их сестра может запеть и у буханки черного. Посолит ее слезами, отвернется от бутылки и запоет. Внутри песни нашего брата нет ничего. Она вся снаружи. Наш брат или по Дону гуляет, или в степи замерзает, или вообще проходит мимо тещиного дома с хулиганскими намерениями. У него удаль молодецкая, да размахнись рука, да раззудись плечо, да почешись затылок. Не то у женской песни. Внутри у нее чего только нет... В ней можно жить. Она тебя и согреет, и накормит, и напоит, и спать уложит, и детишек к твоему пробуждению нарожает. Наш брат в песне душу разворачивает, а их сестра отводит и может пропеть во весь голос такое, что сказать сама себе побоится даже шепотом и под одеялом, под которым мы отвернулись к стенке и храпим, точно строительный перфоратор. Когда она поет – они все поют. Где бы они ни были. Бог его знает, как это происходит, а только если где-нибудь в Павловом или Сергиевом Посаде она снимет решительно пиджак наброшенный, то в Оренбурге, а может, и в Хабаровске кто-то зябко поведет плечами, смахнет украдкой слезу и уйдет не оглядываясь по улицам Саратова. В песне их сестры слова вроде тонкой, тоньше самой тонкой кисеи, оболочки, под которой течет река, цветы растут, ветер слоняется из одного небесного угла в другой, свет горит в окошке, занавешенном шторами в цветочек... Она могла бы и вовсе петь без слов – до тебя бы дошло. Не головой, но кожей почувствовал бы. И вот она поет, поет... и до тебя наконец безо всяких слов доходит, что завтра надо вставать ни свет ни заря и тащиться за тридевять земель за новыми шторами, потому как цветочки на старых уже увяли.

***

Как только дым от пушечного залпа рассеется, подойти борт к борту, схватить преогромную саблю, пистолеты, встопорщить усы, бороду и плюмаж на треуголке, вытаращить глаза, страшно закричать и во главе абордажной команды ворваться на палубу фрегата. Рубить снасти, ломать гафели, стеньги и бом-брам-стеньги, рвать в клочья кливера, стаксели и бом-брам-стаксели, открутить штурвальное колесо, затолкать в клюв попугаю боцмана пиастры и, наконец, загнав команду в трюм, на капитанском мостике принять шпагу у капитана, сдающегося на милость победителя, и грозно спросить:

– Ну, кто был прав?!

И капитан, опустив глаза, наполненные слезами, еле слышно прошепчет:

– Ты был прав, милый. Мама завтра же уедет к себе, а пока...

– А пока вы обе посидите у меня под арестом! Боцман! Запереть их обеих на камбузе. Кормить пять раз в день, но только после шести. Сто шоколадных конфет им в глотку!

Потом демонически захохотать, пригладить усы, бороду, плюмаж на треуголке и уйти пить ром к себе на флагманский корабль, но по дороге поскользнуться, упасть на палубу, открыть глаза, зевнуть, еще раз зевнуть, встать с дивана, выключить телевизор и пойти на кухню мыть посуду.

***

Чистый лист бумаги. В левом верхнем углу, на коротеньком, еще не просохшем от чернил и состоящем всего из трех вихляющих букв корне стремительно набухает и тут же отвердевает суффикс с крошечной однобуквенной пипкой окончания.

***

Не то чтобы я был старовер, а... смотришь на суриковскую «Боярыню Морозову» и думаешь – вот уезжает от нас в санях по снежной московской каше под свист, хохот, улюлюканье, злорадство и горькие слезы Третий Рим. Навсегда уезжает. И четвертому не бывать.

***

Наблюдая по телевизору встречу президента со своими многочисленными доверенными лицами, вдруг подумал – а почему, собственно, у него только доверенные лица? Почему нет других доверенных органов? Ну, уши не в счет. Доверенных ушей у него целая контора, а вот, к примеру, доверенный указующий перст хорошо бы иметь, чтобы он мог указать на недостатки на местах. Хорошо справляется с задачей – можно его повысить до доверенной руки. Сначала левой, а потом правой. Такая доверенная рука уже имеет право не только указать на недостатки, но и указать путь, по которому надо идти. Доверенная нога необходима для проведения правильной кадровой политики. Развел у себя на рабочем месте рособоронсервис – получи под зад доверенной ногой. Кстати, о месте. Доверенная жопа могла бы стать одним из нужнейших органов президента. Захотел, скажем, чиновник средней руки (не доверенной, а обычной, загребущей) лизнуть самому. Ну не ехать же ему для этого в столицу. Не тратить же командировочные, которые ему выдают из наших налогов, не торчать в московских пробках и ресторанах. Вот тебе доверенная жопа в шаговой доступности – лижи сколько душе угодно[20]. Если еще подойти к выбору доверенной жопы с выдумкой, устроить кастинг... Бразилия с ее конкурсом будет просто курить и кашлять в коридоре. И наконец. Да, именно он. Доверенный орган самой первой необходимости в такой стране как наша... Как ни крути, а с нами по-другому нельзя. Нас лицом не проймешь. Нам на лицо... Нас надо обязательно. Иначе как же мы будем крепчать?[21]

***

Нашего человека порой понять сложно. Давным давно, лет пятнадцать назад, вернулся я в Россию, после того как прожил и проработал полгода в Калифорнии, в Сан-Диего. Вернулся и в один из дней пошел в продуктовый магазин. Долго стоял перед витриной, выбирая... Не помню, что я там выбирал, но продавщица, молоденькая девчушка лет двадцати, чуть наклонилась ко мне и прошептала шпионским шепотом:

---

[20] Тут есть простор и для экономии. Возьмем, скажем, указующий перст. Зарплата у него может быть куда как меньше, чем у полного чиновника. Даже и доверенной руке можно платить частичное жалованье. С жопой сложнее. Они бывают такого размера, что и полутора ставок не хватит. В этом случае можно ввести ограничения по размеру. В масштабе района ее размер не должен превышать 46–48, в области 50–52, в крае может доходить до 54 размера, а на федеральном уровне до 60. Я понимаю, что это, конечно, очень много, но ведь и жопа такого размера может иметь не обычную, а генеральную доверенность.

[21] Сразу скажу – все вышесказанное никак не относится к мозгу. Доверенный мозг – это оксюморон. В этом случае вариантов только два: либо доверенный – либо мозг.

– Мужчина, сырки глазированные не берите. Они просроченные. Берите творог. Его привезли сегодня.

Я тогда и вообще был под впечатлением от того, что вокруг меня все говорят по-русски, а когда услышал этот совет, то чуть не прослезился от чувств. Вот, подумал я, наконец-то дома. Вокруг родные, душевные люди. Ну кто, спрашивается, в Сан-Диего меня предупредил бы о том, что сырки испортились? Да никто и никогда. Мысль о том, что в Сан-Диего несвежие глазированные сырки можно было найти только в русском магазине, мне как-то не пришла тогда в голову.

В тот магазин я пошел из любопытства. Там пахло мертвой, уже начавшей тухнуть селедкой, стояли штабеля пыльных коробок с рижскими шпротами и банок со сгущенкой, и на кассе сидела толстая крашеная баба, без умолку трещавшая по телефону.

– Марина, – сказала она в телефон, испачканный губной помадой, – я тебе потом перезвоню. Тут над душой стоят.

Больше я туда не ходил, а купил билет на самолет и вернулся домой.

Вот я и говорю – нашего человека нормальному человеку понять сложно. Практически невозможно. Правду говоря, я даже не уверен в том, что мы сами себя понимаем.

***

Есть у моей мамы сосед. То есть раньше это были соседи, но потом жена у этого соседа умерла, и он уже много лет живет один. Ему почти девяносто лет. Правду говоря, это вредный, склочный старикашка, состоящий в контрах не только со всем подъездом, но даже с кошками и собаками жильцов. Лично мне он ничего плохого не сделал, но мой покойный отец не любил его, а особенно его покойную жену за то, что она писала в заводскую многотиражку стихи о Ленине. Может, она и написала-то всего один раз, но на папу это произвело... Папа почему-то считал, что от человека, который пишет ко дню рождения Ленина стихи, можно ожидать чего угодно. Папа и вообще в таких случаях считал только до двух – или ты инженер, или пишешь стихи о Ленине. Третьего не дано. Вместе с папой так считала и мама. И до сих пор так считает, хотя уже пятнадцать лет как нет в живых ни папы, ни этой женщины, а уж про Ленина и говорить нечего. И все же... Прошло пятнадцать лет. Ухаживать за соседом приехала его внучка. Мама встретила ее на лестнице и спросила о здоровье Василия Егоровича. Внучка вздохнула и сказала: – Чудит. Сами знаете какой у него характер... – секунду помолчала, еще раз вздохнула, уже тяжелее, и добавила: – Пока не покается – не помрет.

Из этой истории можно вывести, наверное, не одну, а две или даже три морали. Ну, так и выводите, если вам охота.

***

Старика Канта, как известно, поражали две вещи. Меня поражают три. Во-первых, то, что коробку с таблетками я всегда открываю с той стороны, где в нее упакована инструкция, которая мешает сразу их достать. Знакомый профессор физики уверял меня в том, что по теории вероятности я в половине случаев открываю ее с другой стороны, но не замечаю этого, а замечаю только случаи наоборот. Знаю я эту теорию. Сам ее в институте изучал. Может, в теории оно и так, но в действительности как ни открывай – всегда наткнешься на инструкцию. Я даже с закрытыми глазами открывал и перед самым открытием коробки левый ее конец менял на правый... Не помогает. Отовсюду торчит инструкция.

Во-вторых, меня не столько поражает, сколько возмущает тот факт, что поезд метро, на котором я еду на работу по своей Серпуховско-Тимирязевской линии, всегда идет только до Чертановской, хотя мне нужно до Южной. На Чертановской приходится просыпаться, закрывать книжку, снимать очки, выходить на платформу и ждать следующего поезда, который, конечно же, идет до самого конца линии. Понятное дело, что на двухминутном перегоне Чертановская – Южная спать и читать книжку уже никакого смысла не имеет. Это так обидно, что иногда мне хочется ворваться с пистолетом в кабину машиниста и крикнуть ему:

– Гони на Южную, гад, а не то я из тебя решето сделаю!

В-третьих, стоит мне только подойти к кассе в магазине, как что-нибудь кончается. Или лента чеков, или ломается кассовый аппарат. Когда я курил – кончались сигареты и кассир уходил за ними в подсобку на полчаса или просто уходил без объяснения. Если ничего не кончается, то кто-то аккурат передо мной отказывается от уже пробитого товара и кассир ждет старшего, чтобы обнулить показания в кассе. Вчера передо мной стоял какой-то похмельный мужик, у которого не хватило денег на три пива и на пачку сигарет. Кассир предложила ему сократить объем притязаний и взять два пива и сигареты или три пива, но без сигарет. Мужик не мог расстаться ни с тем, ни с другим. Он искал мелочь даже там, куда бы и уролог не догадался заглянуть... И все это время я ждал своей очереди. Или взять, к примеру, сегодня. Сегодня я быстро подошел к кассе, где никого не было. Быстро оплатил и... тут к кассе подошла женщина с огурцами. Они были взвешены неправильно. Или правильно, но на них была другая наклейка. И начались у нее долгие споры с кассиром о том, какую кнопку надо было нажимать при взвешивании этих огурцов. За женщиной стояла маленькая грустная девушка и терпеливо ждала, когда до нее дойдет очередь. В руках у нее была всего одна булка с изюмом. Я не радовался. Я точно знал, что на ее месте должен был быть я. Просто тетка с огурцами опоздала по чистой случайности.

***

На рынке покупаю походную сумку немарких камуфляжных расцветок. Камуфляжных нет, и продавщица предлагает мне сумку цветов нашего флага с двуглавым орлом и надписью «Россия» большими золотыми буквами. Пристально смотрит на меня, смотрящего на сумку, и говорит:

– Понятно. Патриотизмом не страдаете. Сейчас поищем вам камуфляжную.

***

Когда я смотрю на древнерусскую иконопись, то мне кажется, что те иконописцы еще писали ангелов с натуры. Они их видели. Потом писали уже по рассказам тех, кто видел и тех, кто слушал рассказы тех, кто встречался с теми, кто видел.

***

Ближе к вечеру за мной зашел Севка – звать с собой ловить майских жуков, но не во дворе на детской площадке, где пролетает один жук в час, и где его ловят всем домом, при участии родителей, бабушек, дедушек, дворовых собак и кошек, а в дремучем парке возле родильного дома, в котором, по рассказам ребят из соседнего двора, летящая туча майских жуков закрывала закатное солнце. Мы шли на жука надолго и даже взяли с собой еду. У Севки была большая горбушка черного хлеба, политая подсолнечным маслом и посыпанная солью, а у меня начатая коробка кукурузных хлопьев с сахаром.

Во дворе мы встретили Севкину сестру – Таньку. Танька поклялась нам железной клятвой, что никогда и ни за что не скажет родителям, куда мы пошли, если только мы отсыплем ей наших кукурузных хлопьев, глазурованных сахаром, и дадим откусить от горбушки. Мы отсыпали и дали откусить. Севка сестре к хлебу и хлопьям добавил еще щелчок по лбу, чтобы клятва была железнее. И обещал еще три таких же щелчка в случае одностороннего ее выхода из нашего договора.

Мы были вооружены сачками и банками из-под майонеза для пойманных жуков, а Севка сразу набрал с собой спичечных коробков, для того чтобы в них распихивать свою добычу. Севка был так уверен в успехе, что заранее в каждый коробок положил по нескольку травинок и молодых клейких березовых листиков. Вроде суточного пайка для жуков.

Кстати, о спичечных коробках. В моем детстве они были не из картона с нарисованной картинкой, а из тонкого-претонкого шпона, с наклеенной спичечной этикеткой про Гагарина, про самолеты, вертолеты, про прячьте спички от детей, про лосей, стрекоз и даже про какой-нибудь Житомирский музыкально-драматический театр или загадочный Главспичпром. Этикетки можно было отклеивать и собирать. А какая внутри коробков была превосходная акустика! Как в них шуршали пойманные майские жуки! Поднесешь коробок к уху... Лучше всякой раковины с шумящим морем внутри. Да, те

жуки, что были в моем детстве, были мастера шуршать. Конечно, и нынешние шуршат, но... Да и в нынешних картонных коробках какая акустика... а вовсе не потому, что слух тогда был острее.

Сачок у меня был самый обычный – купленный в игрушечном магазине, а вот у Севки был большой, треугольный и с железной ручкой. Очень большой. Таким можно было поймать даже маленький самолет, если бы он низко летел. Зачем он был треугольный и почему крупноячеистый, Севка не знал. Он просто взял его на время у отца, пока тот был на работе. Ему потом дома папа объяснил про этот сачок. В одно ухо сказал, а за второе держал, чтобы объяснение не вылетело.

Парк, в который мы собирались, располагался на другом конце нашего микрорайона. Через две улицы. Давным-давно, когда деревья в парке были маленькими, в этом месте жил текстильный фабрикант. У него была красивая и резная деревянная усадьба, которая еще до моего рождения сгорела во время неслучайного пожара. Остался от усадьбы красивый и резной деревянный флигель. Вот флигель сгорел уже во время случайного пожара. В нем во времена моего детства была зимняя спортивная база. На этой базе хранились лыжи, коньки и клюшки с шайбами. Кажется, загорелись лыжи или клюшки, когда лыжники или хоккеисты закурили после того, как выпили, празднуя победу, или что там обычно празднуют лыжники или хоккеисты, перед тем как у них загораются лыжи и клюшки с шайбами. А еще до моего рождения в парке была аллея вековых лип. Они не сгорели, как дом с лыжами – их спилили потому, что они мешали экскаваторам, которые выкапывали пруд, на котором зимой катались на коньках и играли в хоккей местные хоккеисты, которые вместе с лыжниками закурили после того, как... Зато от лип остались огромные плоские пни, на которых посетители парка культурно выпивали, закусывали и потом закуривали, но уже ничего не могли сгореть. Выпивающие посетители парка были в основном мужчинами – ведь это был парк вокруг родильного дома. Как только мужчины узнавали радостную весть о том, что у них родился сын или дочь, или родился у друга, или соседа, или сослуживца, или у друга сослуживца, или просто проходили мимо парка с его постоянной шумной праздничной атмосферой, то непременно заворачивали в парк, к праздничным столам на липовых пнях. Даже если шли по соседней улице. Не всем, правда, нравилась эта праздничная атмосфера. Роженицам и жителям окрестных домов не нравилась. Ну, да мы не о них.

В этом-то парке, уже в сумерках, мы и стали ловить жуков. Жуки, видимо, наученные горьким опытом, летели недостаточно низко, и наши сачки до них не доставали. Даже когда мы для высоты становились на спиленные липовые пни. Тогда Севка придумал кидать куртки вверх и сшибать ими жуков, а потом, когда они будут падать, подсекать сачком. Я своей курткой сшиб целую эскадрилью жуков, а Севка даже успел их подсечь своим треугольным сачком, но куртка падать не стала, а повисла на березовой ветке. Когда мы с Севкой подпрыгнули повыше, чтобы стащить куртку с ветки, то вдруг открывшимися от ужаса глазами на затылках увидели – по аллее парка быстро шли наши папы. У них были такие лица, что я сразу пожалел, что не умею прыгать выше деревьев и майских жуков, а Севка успел подумать, что лучше бы нам в эту минуту быть не в парке, в прыжке, в сантиметрах от висящей на ветке куртки, а где-нибудь дома под толстым зимним одеялом, в толстых-претолстых не снимаемых ни за что штанах и в точно таких же шапках-ушанках, завязанных под подбородком на два или даже на три узла. Когда, через мгновение, я вернулся с облаков на землю, а Севка вылез из-под толстого зимнего одеяла...

В этом году будет ровно полвека, как я ~~получил на орехи~~ в первый раз самостоятельно ловил майских жуков. Редкий жук долетит до середины каменных джунглей, в которых я теперь обретаюсь. А хоть бы и долетел – у меня нет сачка. Я бы, конечно, и курткой сбил, но зачем? Где теперь найти настоящие спичечные коробки для шуршания майских жуков? В пьезоэлектрических зажигалках им, что ли, шуршать? Да и майские жуки, как оказалось, доживают теперь свой век в Красной Книге. Теперь на одного майского жука приходится сотня или две мальчишек и девчонок, которые и не подозревают, что его надо ловить, держать в спичечном коробке и слушать, как он шуршит. Кстати, у нынешних детей в ушах наушники. Куда им, спрашивается, подносить коробок, даже если бы он у них был? И вообще... пятьдесят лет назад вода была настолько мокрее, что можно было умыть лицо, уши и шею водой, набранной в одну-единственную ладонь. Даже очень маленькую. За что голове с ушами и особенно шее доставалось от мамы.

***

Иногда я думаю, что жизнь могла сложиться иначе. Не иначе в том смысле, что я мог бы стать принцем на белом коне или депутатом на Бентли. Если бы я не стал химиком, а стал бы тем, кем сейчас хочу, но поздно хотеть. Вернулся бы в детство и начал бы хотеть. Конечно, сначала было бы больно. Даже очень, потому, что меня бы пороли за прогулы в музыкальной школе. Я бы сам просил об этом родителей. Сидеть я бы не мог, но зато стал бы композитором и дирижером. Если бы меня пороли больше раза в два, чем я просил бы, то я бы как следует знал математику и стал конструктором космических кораблей. Если бы... но это было бы уже слишком. Мои родители не изверги. Поэтому я не нажил себе кубиков на прессе, бицепсов, трицепсов и трицератопсов. Жаль. Мог бы стать космонавтом, чтобы бороздить просторы вселенной на корабле собственной конструкции. Полетел бы на какой-нибудь Титан за пробами грунта или Сатурн за куском кольца, а в пути сочинял бы психоделическую музыку, как Pink Floyd, или органные мессы, как Бах. Вернулся бы и тотчас на огромный стадион выступать с новой концертной программой. Я, пока три года летел, все партии расписал, все звуки, все голоса, всю музыку сфер... Сразу после концерта встреча с читателями. Я, пока три года летел, три романа написал и пять венков сонетов на тему сатурновых колец и сатурналий. День, максимум два, на аплодисменты, переходящие в бурные, продолжительные овации, и раздачу автографов, потом снимаю с себя форму капитана космического крейсера первого ранга с золотыми эполетами и сапфировыми звездами, переодеваюсь в гражданское и айда к себе в деревню.

Там, конечно, ждут, готовятся. Запахи от жареных гусей, пирогов с капустой и яйцами такие, что пролетающие мимо на высоте трех километров вертолеты не могут провертеть мимо. Девки дворовые учат подблюдные песни, сурьмят брови и загодя расстегивают на сарафанах верхнюю пуговку. Которые победовей – те две. Супруга разрывается на части. Надо и девок за косы оттаскать, чтобы грудь на хлеб с солью при встрече не выкладывали, и за пирогами присмотреть, и за кучером, которому уже давно надо выезжать на станцию меня встречать, а он как ушел в погреб пробовать вишневую наливку – так и пропал. Лук пригорает, крик стоит, шум, гам и тарарам такой, что на спутниках Сатурна слышно.

Потом, на следующее утро, я выйду во двор, чтобы гладить спящую в тени собаку, долго нюхать в саду жасмин, предусмотрительно посаженный женой под моим носом, проверять на упругость свекольную ботву в огороде, пить в беседке, увитой каприфолями, кофий со сливками и горячими калачами, отворачиваться с содроганием от поднесенной рюмки анисовой водки и спрашивать жену: «Скажи-ка мне, душечка, не знаешь ли ты, отчего я вчера так обожрался гусем и пирогами? Неужели меня нельзя было остановить? Хоть бы знак какой-нибудь подала, что ли, – хватит, мол. У тебя вон уже капуста с яйцами из ушей полезла. Лопнешь же, ирод. Почему ты молчала? Я тебя русским языком спрашиваю?!» И тут жена как...

Правду говоря, я и сейчас могу выйти во двор, погладить собаку, понюхать жасмин и спросить у жены насчет гуся и пирогов с капустой и яйцами. И жена может как... Она еще и не так может. И для того, чтобы в этом убедиться, вовсе необязательно три года торчать на кольцах Сатурна.

***

Поначалу и не заметит никто. Просто перестанут понимать анекдоты. Не все, конечно, но эти. Рассказывать не перестанут, а понимать... Вот как с филькиными грамотами. Кто теперь помнит, кто этот Филька, что это за грамоты... Так и с анекдотами. Скажет кто-нибудь кому-нибудь в компании – ты большой мальчик и за тебя уже все должна решать твоя жена, а не мама, или Рабинович не дурак, извините, или пошутят про отца Лившица в отделе снабжения РПЦ... и все, конечно, дежурно улыбнутся, но... не поймут. Расскажите сейчас анекдот про кукурузные поля на Марсе – никто и не засмеется. Потом в оркестрах останутся только вторые и третьи скрипки, потом зубные врачи, потом миллиардеры, потом некому будет сказать – не нравится, езжайте в свой Израиль, потом участятся случаи суицида у антисемитов...

И тут забеспокоится либеральная интеллигенция. Напишет открытое письмо властям и попросит развести евреев. Не как лохов, а вообще. К письму пришпилят длинный список из песни «Русское

поле», обоих Левитанов, Мейерхольда[22], Мандельштама, Ландау, Раневской, Бродского... Власти сначала решат обойтись малой кровью и найти оставшихся, чтобы они сами себя разводили, но с этим выйдет неувязка – найдут только Кобзона и Зельдина, которые к тому времени будут совершенно фарфоровыми и к разводу неспособными. Время между тем будет уходить, и либеральная интеллигенция, видя такой саботаж со стороны властей, предпримет попытку собрать денег на евреев краудфандингом. Нетерпеливые даже отправятся в народ с кружками для сбора пожертвований. Их потом полиция у народа отобьет, но уже без денег и кружек. В скором времени активисты создадут независимую коммерческую организацию, которой Соединенные Штаты тотчас выдадут такой огромный грант, что российское правительство решит, наконец, перестать запрягать и создать свою собственную федеральную программу по возрождению русских евреев.

Еще до ее принятия в Думе в третьем чтении в Израиль отправится депутатская делегация с просьбой к тамошним властям оказать содействие, ссудить России хотя бы на первое время какое-то количество, так сказать, посевного материала. Впрочем, при тщательном изучении этого материала выяснится, что из него получаются только ражие детины, которые с автоматом, в танке и в кабине истребителя, а не со скрипкой, интегралом, колонковой кистью и ювелирными изделиями.

И уж тут-то возьмутся за дело по-настоящему. Похватают всех, в ком осталась хоть четвертинка, хоть осьмушка, хоть капля еврейской крови, наобещают им материнских и отцовских капиталов, дадут элитное жилье в клубных поселках Кологрива, Урюпинска и Моршанска, снабдят годовым запасом мацы, книг, роялей, заранее освободят их будущих детей от уроков физкультуры, дадут квоты в музыкальных школах, консерваториях и университетах. При федеральной программе учредят фонд, который станет раздавать гранты. Ученые применят нанотехнологии и... ничего не получится. Отчитаются, конечно, десятком бухгалтеров, десятком ресторанных лабухов, одним сыном юриста и парой-тройкой песен вроде «С добрым утром тетя Хая вам посылка из Шанхая», но цель... но средства...

Следственный комитет возбудит дело, следователи найдут сотни неучтенных математиков, композиторов, поэтов и главных бухгалтеров, заблаговременно выведенных в оффшоры, купленный на деньги программы барабан Страдивари в коллекции министра обороны, который с товарно-транспортными накладными и чеками в руках докажет, что еще до всякой федеральной программы ему сделали обрезание...

***

Мало кто знает, что в детских садах таких африканских стран, как Ливия, Алжир, Западная Сахара, Мали, Марокко, Тунис и Нигер, на новогодних утренниках дети исполняют танец маленьких песчинок.

***

Иногда из каких-то заброшенных колодцев памяти всплывают вдруг картины далекого прошлого. Например, начало восьмидесятых. Январь. Трескучий мороз. Около пяти утра. Я поймал на улице какого-то частника на «копейке» и еду встречать тещу на Казанский вокзал. В машине холодно. Печка не работает. От нечего делать я отскребаю от инея боковое стекло. За окном темно. Кажется, что под редкими и тусклыми фонарями чуть теплее, но это только кажется. Где-то ближе к центру частник мой вдруг и говорит:

– Заедем тут минут на пять в один переулок и дальше поедем. Успеем мы к твоему поезду – не сомневайся.

Я и рта не успел раскрыть, как он свернул на какую-то полутемную улицу, и мы быстро поехали по обледенелому асфальту, время от времени повизгивая тормозами.

«Куда он меня везет? Здесь в город только одна дорога... – стал соображать я на манер Семена Семеновича Горбункова. – Да что с меня можно взять? Денег у меня с собой рублей пять... Еще полу-

[22] *Мейерхольда поначалу не хотели включать в список. Де, мол, он и немец и лютеранин, но после долгих споров решили, что власти не поймут. С такой-то фамилией, таким носом и отчеством – Эмильевич – кем, спрашивается, он может быть...*

шубок на мне. Правда, из меха чебурашки. Правда, сильно поношенный. Про шапку из крашеного кролика и говорить нечего». От страха мои пять рублей свернулись в трубочку и забились в самый дальний угол кармана.

Тут мы свернули в переулок, и я увидел в свете фар трех мужчин и женщину, жавшихся к кирпичной стене какого-то складского помещения. Мне стало совсем не себе.

– Посиди пока, – сказал водила, вылез из машины и подошел к женщине, закутанной в толстый пуховой платок поверх вязаной сиреневой шапки. На ногах у нее у нее были войлочные боты и полосатые толстые чулки. Трое мужчин стояли безучастно и к женщине не подошли.

– Стало быть, они не заодно, – подумал я, и мне немного полегчало.

Буквально через несколько минут водитель вернулся, и мы поехали на Казанский.

– Понимаешь, – сказал он, – пишемся мы. На Дрюона. На «Проклятых королей». Талоны у нас есть, а отоварить... Суки. Утром к открытию придешь, а уже никакого Дрюона. Вот мы и сговорились по очереди стоять, с ночи. Тебя вот отвезу и вернусь свою вахту отстаивать. Рассветет и потеплее будет.

Пять рублей во внутреннем кармане моего полушубка расслабились и вылезли из прорехи, в которую они уже успели наполовину спрятаться.

***

Первые три месяца своей жизни я прожил в подвале. Ну, не то чтобы совсем в подвале, но в полуподвале. Моя мама приехала рожать меня из Серпухова в Киев, к бабушке. Почему из Серпухова в Киев? Потому. Мама не обсуждала приказы. Бабушке было виднее – она была хирургической сестрой и твердо знала, что в Серпухове можно родить кого угодно, но только не здорового нормального ребенка. Что же касается папы, то с высоты бабушкиного медицинского образования его не было видно вообще. Тем более из Киева.

Короче говоря, вариантов у меня не было. Я родился в Киеве, на Подоле, в одном из районных роддомов. Привезли меня оттуда домой, к бабушке, на Ярославскую улицу, в большой старинный дом то ли начала прошлого века, то ли конца позапрошлого. На самом деле привезли меня не только к бабушке, а еще и к ее сестре Оле, к ее мужу Грише, к двум их детям Лене и Аркаше, к прадедушке Лазарю и прабабушке Злате. Все они, вместе с моей бабушкой Маней, проживали в полуподвальной комнате площадью в двадцать один квадратный метр. Комнату они разгородили фанерой на три части. В одной жила тетя Оля с семьей, в другой – моя бабушка Маня с мамой и мной, а в коридоре... Как они устроили там коридор – ума не приложу. На самом деле это была третья часть комнаты, в которую выходили две двери от тети Оли и бабушки и еще одна общая дверь для выхода в подъезд. Вот в этом трехдверном пространстве проживали прадедушка и прабабушка. У прадеда была узенькая железная кровать, а у прабабушки раскладушка, которую она днем куда-то прятала. Или наоборот. В том смысле, что Злата была очень маленькой, тихой и хрупкой старушкой. Домашние ее могли куда-нибудь прятать, чтобы не дай Бог не повредить в тесноте.

Из удобств у бабушкиной семьи была большая печь, стоявшая посреди комнаты. Она хоть и давала тепло, но площадь уменьшала изрядно. Возле нее меня и купали все эти три месяца, что я был киевлянином. Вторым и последним удобством была табуретка за пределами комнаты, в коридоре под лестницей, ведущей на второй этаж. На табуретке стоял примус. За табуреткой с примусом чернела закопченная дверь, ведущая в настоящий подвал. Там, в двух подвальных комнатах без окон жил сапожник с женой и тремя детьми. Сапожник в этой двери ~~нарисовал очаг~~ прорубил окно, застеклил его и завесил шторами. Мама говорила, что он потом страшно разбогател на частных заказах – у него в подвале появилась даже мебель и коврик с оленями. Прадед, который был очень проницательным и прекрасно разбирался в соседях, а сапожников так и вовсе видел насквозь, предполагал, что покупка коврика с оленями... Как хотите, а тут не обошлось без крупных афер с подметками или сапожными гвоздями. Когда человек начинает покупать ковры просто так, за здорово живешь ...

На ночь семья сапожника открывала окошко под лестницу и дверь из подъезда на улицу, чтобы впустить хоть немного свежего воздуха в свое жилище. Мама вспоминала, что свежий воздух упирался изо всех сил и дальше двери подъезда входить опасался.

Но вернемся в семью. Прабабушка, как я уже сказал, была тихой и безобидной. Больше всего на свете она любила лечиться. Не в том смысле, что она горстями пила таблетки и мазалась мазями, нет. На таблетки и мази у нее попросту не было денег. Все ее лекарства состояли из зеленки и настойки йода. И то и другое моя бабушка приносила ей с работы. Йодную настойку она не очень любила – наутро от нее на теле и следа не оставалось, а вот зеленка могла продержаться дольше. Можно, конечно, над этим посмеяться, но Злате к моменту моего рождения в пятьдесят восьмом году было около девяноста лет и прожила она еще, как минимум, лет пять. Тогдашняя зеленка, видимо, была не чета нынешней, которая одна сплошная химия и больше ничего.

Прадед мой, в отличие от своей жены был не тихим и не безобидным. По виду-то он был сущий воробей – небольшого роста, сухой, как высушенный пескарь и такой же премудрый. У Лазаря была пышная седая шевелюра и густая борода. Рта в бороде и усах видно не было. Когда я потом, через три или четыре года приехал погостить к бабушке, то смотрел как завороженный на эту бороду и никак не мог понять – во что ест прадедушка? Он отщипывал пальцами крошечные кусочки хлеба и засовывал их себе в бороду. Я был даже готов поверить, что он там этот хлеб прячет на черный день. Лазарь ел мало, даже очень и постоянно напоминал своим домочадцам о том, что они слишком много едят. Сам-то завтракал половинкой яйца и стаканом кипятка, который пил из своей любимой майонезной банки, хотя... Однажды, когда прабабушка куда-то ушла по делам, которых у нее, как утверждал прадедушка, никогда не было, он подошел к маме и попросил ее сварить суп. Суп, который сварила прабабушка, он есть отказывался. Описывая причину, по которой он его есть отказывался, прадед, любивший говорить красиво и даже витиевато, начал издалека и поведал маме о том, что перед тарелкой такого супа надо сначала раздеться догола, прыгнуть в нее и долго там нырять, прежде чем удастся поймать зубами хотя бы одну единственную вермишелину. Он уже не в том возрасте, чтобы совершать такие безрассудные поступки. И вообще он не умеет плавать, не говоря о зубах, которые он вчера положил на свое обычное место, а сегодня утром никак не мог найти, и если он узнает, что кто-то из внуков...

Впрочем, жену он любил. У них с прабабушкой была любовь с первого взгляда. Давным-давно, еще в девятнадцатом веке, прадедушка зашел по делам к одному купцу и увидел, что полы у него моет какая-то девушка. Точнее сказать, он увидел, как какая-то девушка моет пол под монументальным купеческим диваном, и как только прадедушка увидел ту часть, которая под диван не поместилась, то немедленно решил, что женится на ней. На всей, конечно, девушке, а не только на ее части.

Вообще о дореволюционном прошлом прадедушки в семье рассказывали разное. Сам он утверждал, что был управляющим у какой-то графини и даже имел свой магазин скобяных товаров, но большевики его пустили по миру. Бабушкина сестра рассказывала мне, что в те баснословные времена, когда их отец был управляющим у графини, они жили в очень большом достатке. Достаток этот достигал таких размеров, что, во-первых, у их дома был собственный подвал, а во-вторых, в подвале стояла целая бочка моченых яблок, которые можно было есть, есть и есть с утра до ночи. Что же касается магазина, то его существование не подтверждала ни одна из двух бабушкиных сестер[23]. Моя бабушка и вовсе говорила, что у ее отца было несколько ржавых гвоздей и моток проволоки, которые он вечно носил с собой, и если это называть магазином... Надо сказать, что свой небольшой магазин имелся у прадедушки и при советской власти. Магазин представлял собой табуретку, на которой стоял небольшой полотняный мешок с жареными семечками и несколько пачек дешевых папирос. Тем, кому пачка папирос была не по карману, Лазарь продавал их поштучно. Бизнесу он посвящал все время до обеда, а после обеда шел смотреть, как строится новый дом неподалеку. Не то чтобы прадеду обещали в нем комнату или квартиру или он надеялся принести со стройки какую-нибудь нужную в хозяйстве дощечку

[23] До войны сестер было пять. Одна из них, Поля, умерла еще в сороковом от туберкулеза, а вторая, Сима, погибла вместе с мужем в Бабьем Яру. От Симы остался хрупкий, истертый на сгибах листок письма, в котором она писала в сентябре сорок первого из Киева бабушке в Челябинскую область: «Мы пока живые, а дальше не знаем. У нас в Киеве тихо и хорошо. Не бомбят. Я и Иосиф остались. Он не хочет ехать и через него мы пропадем».

или кирпич, нет. Просто ему было скучно, и стройка была его единственным доступным развлечением. Там, на этой стройке, он однажды споткнулся, упал, сломал правую ногу и вскоре умер в возрасте то ли девяноста трех, то ли девяноста пяти, то ли девяноста семи лет. Левую ногу он сломал еще во время войны. Она плохо срослась, и по этой причине Лазарь ходил, опираясь на костыль. Ночью, когда все спали, а прадеда мучила бессонница, он ходил по двум или трем квадратным метрам своего коридора и стучал костылем по полу. Дети, сначала почтительно, а потом и без всякого почтения, в довольно сильных выражениях, просили его перестать стучать костылем и лечь наконец спать, но упрямый прадед и не думал этого делать. В ответ он стучал не только по полу, но и по фанерной стене.

– Это все мое! – кричал Лазарь. – И все, кому не нравится, могут идти к...

По части сильных выражений прадедушка мог заткнуть за пояс и две таких семьи, как его собственная.

Вот так они и прожили там с сорок пятого по шестьдесят третий или шестьдесят пятый год и только потом разъехались по разным квартирам. Сначала в разные районы Киева, затем в разные города, а затем и в разные страны.

Если бы я был художник вроде Куинджи, то написал бы вид с птичьего полета тихой украинской ночи с прозрачным воздухом и блещущими звездами, посреди которой мой крошечный, почти невидимый сверху прадедушка Лазарь ходит по коридору своей полуподвальной комнаты, стучит костылем и посылает всех к....

Я спросил у мамы: «Как же вы жили в таких условиях почти два десятка лет», – то она, не думая, ответила: «Весело». Потом немного помолчала и добавила: «Вместе».

***

Если бы я был кинорежиссером, то снял бы фильм по мотивам «Старика и моря». Перенес бы действие в наше время. Допустим, в Москву. Девушка, которая день за днем и год за годом выходит в море большого города на ловлю жениха. В ловле ей помогает младшая сестра, хотя мать и запрещает ей делать это. Несколько лет девушка не может ничего поймать. И тут вдруг ей улыбается удача – на ее крючок попадается огромный жених с квартирой, машиной и еще одной квартирой в Лондоне. Изо всех сил девушка тащит свою добычу в ЗАГС. Жених старается сорваться с крючка, просится в туалет, покурить, ему надо срочно позвонить своему адвокату и маме. В течение нескольких дней между девушкой и женихом происходит настоящая битва. Голыми руками девушке удается обессилить, подсечь и накрепко привязать к своему борту жениха, но на запах его дорого парфюма собираются подруги девушки и хищно описывают круги, квадраты и треугольники вокруг них... Когда девушка добирается до цели, то от ее жениха остаются только серебряная запонка от Армани и обрывок желтого шелкового галстука в мелкую коричневую крапинку, которые она дарит на память своей сестре.

***

Мало кто знает, что еще при Петре Великом была послана из Петербурга в Петропавловск-Камчатский экспедиция для того, чтобы узнать, отчего там все время полночь и, буде возможно, таковое положение вещей изменить. Командовал экспедицией мичман флота Титус ван Рейн, которому в помощь был придан один из лучших петербургских часовщиков немец Георг Тракль, хронометр, циркуль, перегонный куб, казачья полусотня под командой сотенного есаула Харитона Ржевальского и два чугунных фальконета. Три года добиралась экспедиция до места, а как добралась, то и обнаружила, что Петропавловска-Камчатского нет даже на карте, которую ван Рейну выдали в Адмиралтейств-коллегии. В Петербург с донесением о сем и с просьбой основать, для начала, хотя бы крепость были отправлены три казака. Еще через три года казаки добрались до Запорожской Сечи, а еще через пять лет до них добралось Адмиралтейство. После того, как Вторая Камчатская экспедиция основала Петропавловск-Камчатский и сообщила об этом в Петербург, из столицы снова была послана экспедиция под командованием артиллерийского поручика Нико-

лая Остен-Бакена[24], которому в помощь был придан часовщик, Генрих Бухмейстер, два хронометра, штангенциркуль, набор перегонных кубов, казачья сотня под командой полкового есаула Евстафия... Последний раз экспедицию в Петропавловск-Камчатский снарядила служба точного времени Всесоюзного Радио. Командовал экспедицией полковник... три пары водонепроницаемых секундомеров... три штангенциркуля... ящик коньяка... два набора перегонных кубов... три ондатровых шапки... три замшевых куртки... видеомагнитофон... три портсигара отечественных...

***

Перед тем, как не спалось, еще и не писалось. От слова ни слова ни полслова. С чего только не пробовал начинать... Уже и пальцы разминал, и по колесу мышки стучал, и монитор протирал, и очи горе возводил, и обещание побелить потолок себе давал... Хоть головой о клавиатуру бейся. Что ни говори, а писателям прошедших времен было легче. Для начала можно было снять нагар со свечи. Ну, это средство самое простое. Снял – и опять не пишется. Другое дело чернильница. Пока из нее вытащишь всех дохлых мух. Если какая-нибудь муха окажется полудохлой, то можно следить за тем, как она ползет по бумаге, припадая на черное крыло и оставляя за собой сложносочиненные вензеля и завитушки, над которым можно надолго задуматься. Еще и муха не перестала ползти, как мы уже берем в левую руку бумагу, а в правую ножницы и начинаем ее нарезать. Осьмушки для маленьких и желчных эпиграмм, четвертушки для мадригалов, половинки для сонетов, а уж целые листы для сонетных венков и поэм. Если и бумага с мухами не подействовали – переходим к перьям.

Перья – это отдельная тема. Теперь уж почти никто и не помнит, что в восемнадцатом и первой четверти девятнадцатого веков для письма использовали не только гусиные перья. Нет, конечно, какие-нибудь самые обычные переписчики вроде Акакия Акакиевича Башмачкина пользовались гусиными, но люди культурные и в некотором роде утонченные писали перьями разных птиц в зависимости от того, что и кому они писали. К примеру, эпиграммы писали всегда вороньими перьями, а сплетни – сорочьими. Мало кто знает, что тот самый анонимный донос, в котором Ноздрев писал прокурору о том, что Чичиков собирается увезти губернаторскую дочку, был написан именно сорочьим пером, а сама фамилия Павла Ивановича – вороньим. Прокурор как человек высокообразованный и прекрасно разбирающийся в тонкостях великосветского письма мгновенно это увидел по толщине линий и микроскопическим характерным брызгам чернил. Другое дело – письма любовные. Их писали особенным образом заточенными перьями лебедей. Упаси Бог адресату такого письма написать свой ответ обычным гусиным пером. Пушкинист Щеголев в своем фундаментальном труде двадцать восьмого года «Пушкин и мужики», в главе «Пушкин и бабы» пишет о том, что Наталья Гончарова в ответ на первое послание Александра Сергеевича написала ему записку гусиным пером. Не будь тогда Пушкин ослеплен своей страстью... Раз уж зашла речь о письмах частных, то не пройдем мимо письма, в котором Иван Никифорович аттестует Ивана Ивановича гусаком. Мало того, что оно написано гусиным пером, так для пущей оскорбительности Иван Никифорович написал слово раздора индюшачьим. Кстати, индюшачьи же перья, ввиду их особой износостойкости, использовались романистами. Биографы Достоевского пишут, что только на роман «Идиот» было израсходовано оперение полусотни индюков.

Ну, хватит о перьях. Пора выдвинуть ящичек бюро, достать оттуда миниатюрный перочинный нож с красивой наборной ручкой, множеством лезвий, пилочек, шильцем и приступить к очинке затупившихся от бесплодных попыток что-нибудь сочинить перьев, зачинить их насмерть, позвать кухарку и велеть ей принести десяток новых. Осмотреть принесенные, убедиться

[24] Николай Остен-Бакен командовал гвардейской, имени Полтавской баталии, мортирой 1-ой Гренадерской артиллерийской бригады. Отличился в шведской кампании во время осады Гельсингфорса. По представлению командующего, графа Ласси, был награжден орденом Св. Владимира 2-ой степени с мечами и бантом. В подавлении пугачевского бунта принимал участие уже в звании подполковника артиллерии. В семье потомков Остен-Бакена хранилась бархатная портянка Пугачева, которую бунтовщик обронил, когда его везли в клетке к месту казни на Болотной площади. Ростислав Остен-Бакен, капитан лейб-гвардии, увез ее с собой в эмиграцию. Теперь она в собрании музея Гуггенхайма.

в том, что они совершенно никуда не годятся, поскольку вырваны из правых крыльев и годятся только для левшей, приказать принести одеваться, закусить перед выходом куском пирога с капустой и отправиться в гусятник. Надергать нужных перьев, а ощипанного гуся самолично отнести на кухню, отдать повару и проследить, чтобы чернослив и курагу для гусиной начинки он замочил в коньяке, а не в сивухе. Гусь готовится долго, а перед тем как его поставят в печь, лучше всего убрать с него лишний жир вместе с кожей, нарезать все на квадратики и растопить на раскаленной сковороде. Как только шкварки зарумянятся, немедля перемешать их с репчатым луком, нарезанным полукольцами, и еще немного подрумянить до хрустящего состояния. Снять их с плиты, и пока они остывают, отрезать большой ломоть свежего белого хлеба и выложить на него несколько воздушных солнечных светло-золотистых янтарных, тающих на языке шкварок, опутанных темно-золотыми колечками жареного лука, и посыпать все мелко порубленной петрушкой и укропом. Почему лучше всего для этих целей взять хлебную горбушку? Да потому, что растопленный солнечный золотистый янтарный гусиный жир будет глубоко проникать в крупные поры дышащей хлебной мякоти... Капающую слюну хорошо вытирать припасенной для такого случая салфеткой. Если под рукой есть ледяной соленый или малосольный огурчик, то не держите его под рукой – кладите его в рот. Если под этой же рукой или даже в другой руке обнаружится, паче чаяния, рюмка ржаной или лимонной водки...

Вернемся, однако, к тому, с чего начали – к литературе. Шкварки, доложу я вам – это еще не поэма. Шкварки – это всего лишь хайку или танка, а иногда даже сонет или рондо, но не поэма. Гусь – вот поэма, а для незабвенного Михаила Самуэлевича Паниковского он был еще и оперой.

Максим ЛОШКАРЁВ

МАЛЫШ УМКИН

Рассказ

Малыш Умкин целился в палец, но не попал никуда. Очень важно попасть в палец, иначе Шнырявая Ука успеет им показать на тебя, и тогда пиши пропало, все измы и вдруги, которые всегда рыщут неподалёку, набросятся и назадают такого, что любому не поздоровится. Без указующего перста Шнырявой они совершенно безобидны, ибо не способны ничего видеть, пока им ничего не показывают, такая у них особенность зрения.

Малыш Умкин не попал в палец, но ещё он не попал никуда. Шнырявая не заметила его, тем он и спасся. Она стала изменяться, поняв, что стреляли, и не поняв, кто (ведь он не попал в неё). Спустя пару изменений это была уже не Шнырявая Ука, а чёрт знает что. В конце концов раздосадованный Умкин перестал отличать это от окружающего пейзажа и совсем потерял из виду.

Он стал молча бродить среди ветвистых топок. Топки пошевеливались лениво, ненавязчиво в отсутствии корней и направлений. Малыш от скуки сшибал спеси прутиком и думал о своём. Его своё было столь неприхотливым, что думалось иногда наоборот, или пружинкой то сжималось, то разжималось.

«От чего же мурки тужат, почему крепки так дружат, а лицом не вышел крик, на зубах обвис и сник?» – думал Умкин, развлекая себя риторическими вопросами, не понимая, то ли на них не может быть ответа, то ли он слишком очевиден.

– А почему в руках у тебя пусто? – раздались слова.

Малыш посмотрел в свою руку. Это Милый Вдруг появился как всегда сбоку. Сколько раз Малыш просил его не делать этого, но он снова появлялся сбоку.

– Я стал часто мазать. Совесть уже совсем не та. Целюсь очень плохо. Вот, приобресть бы мне новые цели, вот тогда ещё...

– Это всё пустое. Это пусто у тебя в руках, нужно уметь ценить его по достоинству. Неси его с гордо поднятой, дай его тем, у кого ничего нет.

– Если ни у кого ничего нет, и они будут давать друг другу, то у всех будет всё, или ни у кого ничего. Знаешь, Милый Вдруг, я просто не верю во всё это, оставь свои глупые штуки.

Милый Вдруг не обиделся, он появлялся всегда сбоку и боком всегда уходил. Что с него взять?

Но он ещё не ушёл.

– Ты ещё не ушёл? – спросил Умкин.

– Я ещё не ушёл, – ответил Вдруг.

«И действительно он ещё не ушёл» – подумалось Умкину.

«Я не хочу уходить», – почувствовал отсутствие у себя желания Милый Вдруг, и чтобы хоть как-то остаться, начал ходить вокруг да около.

Максим Лошкарёв о себе: «Родился и вырос я в Саратове. Учился в колледже и университете, всё бросил, работаю, где придётся. Занимаюсь музыкой. Мне 26, публиковался только в самиздате, в "Утке 76" – это саратовская самиздатовская литературная газета, делается силами Алексея Каца, Натальи Старцевой и Кати Барышниковой; печатается на принтере и распространяется во время презентации нового номера в каком-нибудь баре».

– У честивых крепков простые правила. Если погонимся за ними, то будем правы. Оставь хандру, малыш, и всё пустое. Всё хорошо и правильно у нас будет, не сомневайся.

И они погнались за крепками. Они отбросили все размышления про странное и устремились всем своим существом за ними, думая только о том, как бы догнать их. Крепки же, следуя простым правилам, теперь думали за Малыша Умкина и Милого Вдруга.

ПРИГОВОР

Пьеса

Действующие лица:

Приговорённый
Тень приговорённого
Надзиратель
Мышь
Девушка

Сцена 1

В камере стоит приговорённый и отбрасывает тень, та остаётся лежать на полу.

Приговорённый: Если индивидуальная свобода – это высшая ценность, не взять ли нам выше и дать свободу самоопределения тем личностям, заключённым в одном индивидууме?

Тень приговорённого: Я не твоё альтер эго, ты всего лишь заслоняешь свет.

Приговорённый: Да, я всего лишь тюрьма, тёмная могила светлых сил, иллюзорная самоидентичность, наспех слепленная из расхожих мнений, отрывочных воспоминаний и дурных привычек. Может быть, надо было отойти в сторону и пусть бы всё пёрло наружу, ветвилось как придётся!

Тень приговорённого: Ты приговорённый! Им нужно было приговорить тебя. Нельзя приговорить полчеловека или какую-то его часть, а остальные его части оставить в покое. Ты нужен им целый со всеми потрохами, поэтому они научили, как придумывать себя.

Приговорённый: Нет, я не виню их, но и не считаю вправе судить себя самому. Всё во мне жаждало свободы. Мне просто жаль всего во мне.

Входит надзиратель.

Надзиратель: С кем это ты разговариваешь?

Приговорённый: Не обязательно разговаривать с кем-то, можно просто разговаривать.

Надзиратель: Видимо, поэтому ты здесь. Вовсе и нельзя просто разговаривать. Если говоришь, то всегда с кем-то, хоть бы даже со своей тенью, например.

Приговорённый: Не спорю, но считаю это не существенным. Что ты скажешь мне нового о приговоре?

Надзиратель: Неутешительные новости для тебя. Ты не узнаешь, к чему тебя приговорили. Приговор не будет приведён в исполнение, пока ты сам не догадаешься, в чём он заключается.

Приговорённый: Как было бы здорово, если бы суд решал, виновен я или нет, а не занимался только тем, что придумывал изощрённое наказание.

Надзиратель: Ну, это уже не суд, а чёрт знает что! В кого превратились бы люди, если бы они

возомнили о себе, что могут быть признаваемы некой инстанцией виновными или невиновными. Это же абсурд какой-то.

Приговорённый: И что же, мне теперь гадать о приговоре? Сколько у меня попыток?

Надзиратель: Только одна.

Приговорённый: А если я ошибусь, тогда что?

Надзиратель: Так и будешь сидеть здесь. Желаю удачи.

Надзиратель выходит.

Приговорённый: Ну, как тебе это нравиться? Разумом я понимаю, что обречён, но эта их подлая выдумка рождает безосновательные надежды и ощущение, будто от меня что-то зависит. И как мне с этим справиться?

Тень приговорённого: Можешь убить надежду, но едва ли ты вздохнёшь с облегчением. А можешь жить, питая надежды и иллюзии, они могут сделать твою жизнь вполне сносной.

Приговорённый: Мою жизнь?! Вполне сносной?! В тюрьме! Какая же это жизнь, о чём ты?

Тень приговорённого: Я не понимаю, о чём ты, ты всего лишь заслоняешь свет.

Приговорённый: Ну, да, вот и всё, что ты можешь сказать.

Входит мышь. Присутствующие удивлённо смотрят на неё. Она как ни в чём не бывало подходит к миске и начинает есть из неё. Приговорённый выходит из ступора, снимает тапок и бьёт им мышь по голове.

Приговорённый: Ты что, совсем обнаглела?

Мышь: Ох, господи! Ты ещё здесь, не ожидала!

Приговорённый: Ах ты, скотина жирная, в упор меня не видишь?

Мышь: Да, не злись ты так. Слышала, приговорили тебя уже. Чего же ты медлишь?

Приговорённый: Может, ты ещё слышала, к чему меня приговорили? Говори быстро!

Мышь: Так ты не знаешь!? Бедный, бедный, жаль тебя, правда, жаль.

Приговорённый: Говори, скотина, если знаешь, или удавлю!

Мышь: Тихо-тихо! Знать не знаю. Спокуха, не нервничай ты так. Всё вам, людям, знать нужно, удивляюсь вам. Посмотрим, может, помогу, чем смогу (пододвигает миску к себе и снова начинает есть). Живут на всём готовом и всё недовольны. Тут носишься с утра до вечера, рискуя жизнью. Дома семеро по лавкам. Ни минуты спокойной, никакого досуга. Все так и думают, что я мышь деловая, а в глубине души, быть может, я вовсе философская мышь. А хлеба не было, что ли?

Приговорённый: Съел.

Мышь: Зря. Зачем человек пытается запечатлеть при помощи сложной палитры чувств, с бесконечным количеством неуловимых оттенков те не вербализируемые состояния, синхронизирующие его бытие, которое рассредоточено во времени и способах восприятия, то есть в череде осознаний, не только всех прошлых, но и всех будущих? Очевидность невозможности этого проекта отнюдь не является для него препятствием. Может, именно в этом и заключается основная ценность веры?

Приговорённый: Тупая мышь. Что ты понимаешь в этом, ты ведь не человек.

Мышь: По-моему, человек занимается чушью!

Приговорённый: Пошла вон, придурь серая!

Мышь: (облизав миску) Я не обижаюсь, все равно помогу, чем смогу, только хлебца оставь в следующий раз.

Приговорённый: Вали уже.

Мышь уходит.

Тень приговорённого: Неприятно осознать возможность того, что мышь счастливее тебя, а значит мудрее.

Приговорённый: Мышиное счастье? Мышиная мудрость? И ты тоже вали отсюда!

Приговорённый берёт миску и в прыжке разбивает лампочку.
В темноте голоса приговорённого и надзирателя.

Надзиратель: К тебе посетитель.

Лязгает открывающийся замок.

Приговорённый: Кто там ещё?
Надзиратель: Это твой сон.

Сцена 2

В просторной комнате стены увешаны масками. Одна из стен представляет собой белый экран, напротив этой стены стоит кресло. Сбоку за конторкой сидит девушка. Приговорённый осматривается по сторонам, подходит к девушке и долго не знает, что сказать.

Приговорённый: Здравствуйте, вы не могли бы... э-э-э...
Девушка: Я могу вам чем-то помочь?
Приговорённый: Чем помочь?
Девушка: Как вы хотите, чтобы я обращалась к вам?
Приговорённый: Я не помню, как меня зовут.
Девушка: Ничего страшного. Просто, присаживайтесь в это кресло. (Она выходит из-за конторки и усаживает его в кресло.) Вам удобно? Может, дать подушку или принести тёплый плед?
Приговорённый: Нет, спасибо. Мне удобно.
Девушка: Сейчас я выберу вам маску. Вот эта, пожалуй, подойдёт. Наденьте её. Давайте помогу. Теперь нужно расслабиться и внимательно смотреть на экран.
Приговорённый: Не хочу показаться бестактным. Э-э-э. Мне неловко признаваться, но... Что мы делаем?
Девушка: Пожалуйста, не отвлекайтесь и по возможности ни о чём не думайте.
Приговорённый: Хорошо, но мне важно быть уверенным, что вы меня ни с кем не путаете.
Девушка: Уверяю вас, это только вы можете путать себя с кем-то. Смотрите на экран.

На экране пустынный пляж. Кадр медленно движется, пока в него не попадает человек, стоящий спиной.

Девушка: Теперь медленно снимите маску.

Приговорённый снимает маску, синхронно с ним снимает маску человек на экране, он поворачивается лицом, это приговорённый, он говорит с экрана.

Приговорённый: Это чей-то сон?
Девушка: Это чья-то жизнь.
Приговорённый: Что мне делать дальше?
Девушка: Теперь вы знаете, как вас зовут?
Приговорённый: Да, знаю. Как странно.
Девушка: Значит, вы знаете, что вам делать. Через некоторое время я снова надену на вас маску, а пока предоставляю вас самому себе.

Занавес.

«ТВОРЧЕСТВО – ЕСТЬ СВОБОДА»

Письма Н.М. Гущина

Публикация, вступительная статья, примечания Людмилы Пашковой

«Вот и смолкли наши имена в клетках мозга / Тени на глазницах / Замерли в пространстве полотна ветви, волны и девичьи лица...». Эти стихи – отклик на смерть Н.М. Гущина – были написаны полвека назад его молодым другом Борисом Беловым[1].

Художник Николай Михайлович Гущин (1888–1965) – яркая фигура в истории культурной жизни Саратова. Вернувшись из зарубежной эмиграции в октябре 1947 года, он был принят в Радищевский музей, где более пятнадцати лет проработал художником-реставратором и заведующим реставрационной мастерской.

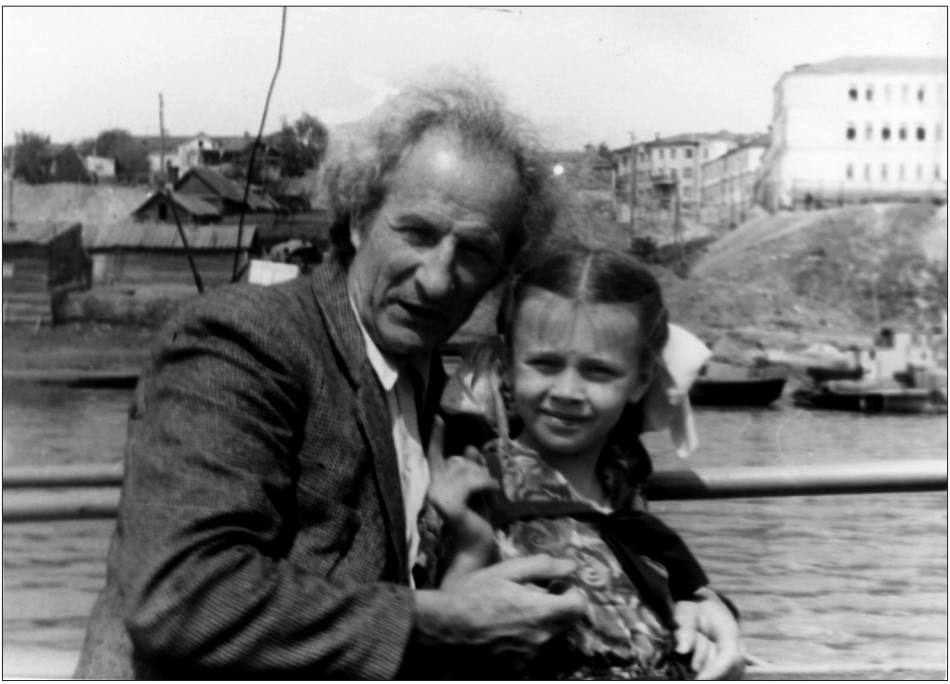


Н.М. Гущин. Фото [1951-1952]

Вскоре после возвращения на родину Николай Гущин получил комнату в том же старом доме на улице Гоголя, где жила семья Юстицких. С талантливым художником Валентином Михайловичем Юстицким (1892–1951) Гущин познакомился еще в юности, видимо, около 1910 года, в Петербурге. Почти через 40 лет судьба вновь свела их вместе: вернувшегося из сталинских лагерей В.М. Юстицкого и художника-репатрианта Н.М. Гущина. В семье Юстицких одинокий Гущин нашел так недостающие ему домашний уют и тепло. В свою очередь ежедневное дружеское общение с ним помогло Юстицкому преодолеть послелагерный творческий кризис, в конце жизни найти новый оригиналь-

[1] *Белов Борис Соломонович (1928–1991) – филолог, литературовед, входил в круг общения Н.М. Гущина. Автор воспоминаний о Н.М. Гущине // Волга. 2010. № 3-4.*

ный стиль живописи. Вот как писал об этом Н.М. Гущин: *«Творчество В.М. Ю<стицкого> крайне разностороннее и выявлено им было в различных течениях. В последний период он много работал в поисках живописной формы, красочной насыщенности, фактурных шумов, ритмического звучания»*[2].



Н.М. Гущин на Волге. Фото. Середина 1950-х (с Маришенькой, внучкой В.М. Юстицкого – Мариной Алексеевой)

В Европе Гущин имел известность, успех, а после возвращения на родину в эпоху послевоенного сталинизма познал горечь непризнания и изоляции, в годы «оттепели» с немногими близкими ему людьми разделил надежды общественного подъема. У него не было теперь большой творческой мастерской, как в Монте-Карло – только крошечная восьмиметровая комната в коммунальной квартире, ставшая, без преувеличения, одним из центров духовной жизни нашего города. Комната, от пола до потолка увешанная его удивительными картинами... Сколько душ они растревожили! Для скольких студентов Саратовского училища Гущин, преподававший всего один семестр, стал настоящим Учителем, духовная связь с которым определила их будущий путь.

Одной из учениц – Альдоне Михайловне Ненашевой (рожд. Митюшиной) – адресовано четырнадцать публикуемых ниже писем[3], которые позволяют не только уточнить некоторые факты жизни Н.М. Гущина в Саратове, но, главное, приблизиться к пониманию его сложной философско-мировоззренческой концепции художественного постижения мира.

Не все письма Гущина датированы, крайние даты, просматривающиеся по автографам и почтовым штемпелям – 21 августа 1951 – 8 января 1957 года. Обратный адрес на всех конвертах один: Саратов, ул. Гоголя, 97, кв. 3.

Адресат – Альдона Ненашева, в пору получения этих писем – студентка скульптурного отделения Московского художественного института имени В.И. Сурикова. Она – уроженка Сталинграда, запом-

[2] *Н.М. Гущин о творчестве В.М. Юстицкого <1951–1953>. Архив Л.В. Пашковой (Саратов).*

[3] *Хранятся в архиве Л.В. Пашковой (Саратов).*

нившая страшные бои за город, опустошенные и разрушенные родные места. Сразу после войны, в 1946-м, Альдона Митюшина поступила на филологический факультет Саратовского университета[4], а в следующем году – в Саратовское художественное училище. В это время в училище преподавал ученик А.Т. Матвеева скульптор Э.Ф. Эккерт. Соученики и друзья Альдоны Михайловны – студенты скульптурного отделения Лев Головницкий и Энрика Эккерт-Головницкая, и живописцы – Виктор Кабанов и Аркадий Солоницын. Скульптор А.М. Ненашева с середины 1950-х жила и работала в Москве, получила известность и звание Заслуженного художника Российской Федерации. Ярче всего ее дарование выразилось в скульптурной «Пушкиниане», где соединились два ее образования, две страсти – к литературе и к пластике.

Из всех своих учеников именно Альдоне Гущин пишет самые большие, самые содержательные и откровенные письма, кажется, адресованные не только ей, а еще и нам, его потомкам. Содержание писем говорит о большой степени духовной близости между автором и адресатом.

Тексты – большие, на нескольких страницах, серьезные и глубокие по содержанию, свидетельствующие об огромной эрудиции автора. Они написаны почти 60 лет назад, но язык, использованные термины и понятия удивительно современны.

«Милая Аля!» – так начинается каждое письмо, написанное четким, красивым, «стремительным» почерком художника, словно не успевающим за его мыслями. Обращение – всегда на «Вы», с неизменной теплотой и пониманием чувств молодой художницы.

К волнующим его размышлениям о том, как сложатся в будущем судьбы учеников, Гущин обращается неоднократно. Вот, например, письмо от 3 января 1954 года: начинается с новогоднего поздравления, а далее – на четырех страницах – горькие слова о собственных заблуждениях, о разочаровании в учениках, не оправдавших надежд, проявляющих свою самостоятельность «с такой категорической самоуверенностью».

Продолжением диалога с ученицей является еще одно письмо, начало которого не сохранилось, но из текста следует, что оно было отправлено вслед за только что упоминавшимся: *«Я ответил Вам в прошлый раз беглым письмом, <...> но за этот период я много думал о Вас и вот пишу Вам еще»*. И далее – на такой же тонкой почтовой бумаге синими чернилами убористым почерком, без абзацев, несколько страниц, запечатлевших мысли Гущина о свободе и тайне творчества, об индивидуализме художника, о положительной и отрицательной творческой энергии в искусстве.

Сейчас, по прошествии более полувека со времени написания этих писем, можно утверждать, что более полно и ярко реализовали свой талант и творческий потенциал не те молодые художники, которые уехали продолжать образование и карьеру в столицы, а те, кто остался в провинции, рядом с Н.М. Гущиным. В период «оттепели» они упорно работали, не стремясь стать «лауреатами», вписаться в рамки официального советского искусства, а ставя перед собой задачи поиска новых художественных форм. Имена саратовских художников «круга Гущина», испытавших на раннем этапе своего творчества влияние мастера, достаточно хорошо известны, им посвящён ряд публикаций. Это – В.Ф. Чудин, М.Н. Аржанов, В.В. Лопатин, В.А. Солянов, Л.Е. Перерезова и другие.

Гущин пишет о себе, о своем характере, о том, как творится настоящее искусство, о природе мужского и женского начала в жизни и в искусстве, о безысходной трагедии любви, которую Николай Михайлович испытал в собственной жизни. Поиск идеала, стремление к вечной женственности – важная составляющая творчества Н.М. Гущина. Главные героини многих его картин – прекрасные «потусторонние» девушки, «голубые видения», как называл их сам художник, оставляющие впечатление хрупкой красоты. Они олицетворяют сложные душевные состояния: любовь, мечту, тоску, отчаяние, надежду, одиночество. Иногда в этих образах проступает губительное, демоническое начало. В картинах «Баллада», «Ноктюрн», «Березанька», «Летящая» и других Гущиным создана рафинированная атмосфера, соединяющая артистическую игру с реалиями жизни.

Гущина угнетал бюрократизм советской жизни, невозможность полноценной творческой реализации. Художник не имел права ни выставлять свои картины, ни преподавать. О страшных бытовых

[4] *Дипломную работу, посвященную творчеству Оноре де Бальзака, писала под руководством известного саратовского филолога Р.А. Резник.*

условиях саратовской коммуналки, в которых ему, получившему признание и известность в Европе, пришлось жить, о доносах и скандалах соседей в письмах нет ни слова.

Начало письма от 5 мая 1955 года погружает нас в обстановку того времени, всего несколько строк, но как красноречиво говорят они об отношении официальных художников – членов местного отделения Союза художников к личности и творчеству Николая Михайловича: *«Вокруг меня и моих работ опять создались интриги, столкновения, издевательства. Если бы Вы могли себе все это представить и понять до какой степени я устал и измучен – Вам понятно было бы мое молчание»*.

Одна фраза, но за ней стоит многое – дело в том, что на областной выставке 1955 года рядом с пейзажами, портретами и тематическими картинами, выполненными в духе соцреализма, экспонировался «Психологический этюд» Н.М. Гущина. Автопортрет художника в мучительном ореоле сполохов цвета. На фоне «производственных» картин и спокойных пейзажей он производил впечатление «неразорвавшейся бомбы». Сколько глаз остановилось на рельефно написанном лице, окружённом светящимся ореолом и черными провалами теней, на лице, выражавшем мучительные раздумья о жизни, внутреннюю силу и стойкость. Сохранилась книга отзывов этой выставки: больше половины всех зрителей пишут об автопортрете Николая Гущина. Оценки полярны – от агрессивного неприятия такой трактовки творческой личности, идущей вразрез с существующим строем и его культурными ориентирами, до захватывающего чувства восхищения новизной необычной живописи.

Но о трудностях – всего одна фраза, и далее Николай Михайлович пишет только об искусстве и человеке, его творящем: *«Человек – точка пересечения всех планов бытия, наделенный властью творить красоту. Восприятие красоты в мире – есть творчество. Но в свободе, а не в принуждении красота и творчество, не в приспособлении к миру, а в созидании мира иного, просветленного. Трагизм же творчества – это несоответствие между заданием и осуществлением»*.

О дуализме искусства писали многие философы того времени: Н. Лосский, Н. Бердяев, Л. Шестов, труды которых Гущин хорошо знал – ведь в течение двух лет (1908–1910) он учился на Общеобразовательном отделении только что открытого В.М. Бехтеревым Психоневрологического института в Петербурге. Именно в эти годы в основных чертах сформировалось мировоззрение Гущина. Его философско-эстетическая концепция мира сочетала основанную на четких и строгих категориях классическую немецкую диалектику с глубинами подсознательного, явленными в бесконечности символических форм. Искусство понималось Гущиным как величайшее таинство. Сохранился список литературы, которую художник много позже, уже живя в Саратове, рекомендовал для чтения своим ученикам. Кроме вышеупомянутых авторов он включает имена Д. Юма, Л. Фейербаха, Ф. Ницше, Б. Спинозы, О. Конта, Г. Спенсера, И. Канта, А. Шопенгауэра, Я. Бёма.

Для подтверждения своей мысли о двойственной природе творчества и человека Гущин обращается к искусству одной из самых ярких эпох в мировой культуре – к эпохе Возрождения. Из всех периодов ренессансного искусства он выделяет эпоху Раннего Возрождения, и в письмах объясняет почему, и из всех великих мастеров той эпохи отдает предпочтение Боттичелли. Это очень самостоятельные, очень глубокие и оригинальные суждения, покоящиеся на базе капитальных знаний и осмысления искусства, иногда идущие вразрез с господствующими в истории искусства точками зрения.

Очень важным для нас являются данные Гущиным дефиниции, определения основных мировоззренческих категорий – творчества, красоты, свободы, в контексте философии и художественной практики уже начала XX века: *«Но в строгом смысле – творчество и не языческое и не христианское – оно дальше. В творческом художественном акте побеждается тьма, преображается в красоту. Наиболее исчерпывающим примером для нас, в этом отношении может быть творчество Скрябина <...> это потрясающее пророчество о новой, мировой эпохе, пророчество, переходящее за пределы культуры к новому бытию <...> Искусство Скрябина – искусство, освобожденное от навязывания норм этого мира. У него красота – не только цель искусства, но и цель жизни. И цель последняя – не красота, как культурная ценность, а красота, как сущее, т.е. претворение хаотического уродства мига в красоту космоса. Конечно, все определения красоты частичны, т.к. красота в последней своей сущности – неопределима; красота – великая тайна. Чтобы познать эту красоту – нужно быть посвященным. Музыка Скрябина – это не наши домашние горести и заботы, это не наш покой и отдых после трудового дня, это не наши радости от будничных удач... Не наши в смысле житейском, но глубоко наши, то есть истинно человеческие в тех душевных глубинах, где вечно существует связь наша со стихиями, куда неудержимо тянется*

наше сознание, чтобы стать космическим сознанием, и интуитивно постигающим все, чем строится вселенная. Вот в чем величие творчества Скрябина. <...> Его дух был полон творческой энергии космоса: в свободном творческом напряжении и в самом наслаждении творчеством, он познавал себя и мир» (Письмо от 3 мая 1955 года).

Это заключительное определение творческого познания мира встречается и в других письмах Гущина, но именно в этом оно приобрело законченную лапидарную форму.

Так же в состоянии творческого экстаза постигает себя и мир художник Николай Гущин. Символика его картин серьезна, она почти лишена черт театральности, иронии, наивности, наоборот, сочетается с изощренной техникой живописи. В этом соединении глубины замысла и виртуозности кисти и заключается самобытность, неповторимость стиля художника. В основе колористического решения многих картин Гущина лежит сине-голубой цвет двух стихий – воды и воздуха, неба, космоса. Как поэты-романтики и философы «серебряного» века художник дает мистическое толкование синего цвета, соединяющего поэтический идеал и впечатление от реальности. Яркое тому подтверждение такие программные картины Н.М. Гущина, как «Вечность», «Ноктюрн», «Сказочный лес», «Лунная соната», «Элегия» и другие[5]. Литературно-музыкальные аналогии во многих его произведениях – проявление цельной философско-эстетической концепции.

Разумеется, по этим письмам невозможно реконструировать всю биографию художника – только отдельные страницы его жизни в Саратове. Так, например, современники, оставившие воспоминания о Гущине, пишут о его связях с Пензой. Но лишь написанное карандашом на двух листах из школьной тетрадки письмо А. Ненашевой документально подтверждает не только сам факт месячного пребывания в Пензе и количество отреставрированных там музейных работ. Пожалуй, самое главное, оно позволяет внести некоторые коррективы в наше представление об отношении властей к неординарной личности мастера. В Саратове оно было однозначно недоброжелательным: картины художника не принимали на выставки, ему не давали возможности преподавать. В Пензе, как следует из одного из писем, картина была иной. Другие строки из этого же письма рассказывают о серьезных, главным образом, финансовых препятствиях желанию Николая Михайловича провести отпуск в Перми, городе его детства и юности. Заметим, что через три года, в 1960-м, художнику все-таки удалось побывать в Перми, встретиться с родственниками.

Даже после беглого прочтения этих писем Николай Михайлович Гущин предстает перед нами как «художник стихий», создавший на базе сложного мировоззрения собственный яркий стиль, как мастер, оказавший огромное влияние на культурную жизнь Саратова второй половины XX века.

Публикуемые письма даются в современной орфографии, но с сохранением особенностей авторского написания и произношения начала XX века и авторских знаков препинания. Сокращения и аббревиатуры расшифрованы в угловых скобках. В квадратных скобках приведены даты писем, предположительно установленные по содержанию и/или штемпелям на конвертах.

9 авг. 51 г.

Милая Аля,

Благодарю за письмо. Прочитав печальные сообщения – грустно было за Вас. Остаётся только надеяться, что всё обойдётся благополучно. Не спешите браться за кисть – отдохните лучше; перенесённые Вами волнения – ещё больше приумножают основания и усиливают необходимость этого Вашего отдыха. Боюсь, что Вы отнесётесь к этому легко и не серьёзно так, как подобает Вам, с Вашей необузданной молодостью...

История с мотором – продолжается и это частично, конечно, влияет на все бесконечные скачки в моих настроениях. Начатое Вами «Злодеяние»[6] – мною закончено и доведено до степени, не вы-

[5] *Хранятся в Саратовском государственном художественном музее имени А.Н. Радищева. Впервые вся монографическая коллекция живописи Н.М. Гущина опубликована и воспроизведена в издании: Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева. Русское искусство XX–XXI веков. Каталог. Том 3. Саратов, 2010. С. 92–103.*

[6] *Речь идет о некой мистификации учителя и ученицы: видимо, А. Ненашева написала картину под названием «Злодеяние», задуманную Н.М. Гущиным и законченную им, после чего картина «превратилась» в «Красную песнь моей родины», увезённую в Пермь.*

зывающей сомнений в подлинности. Уже висит на своём месте. Восторги и восхищения льются по прежнему, как самой владелицей, так и окружающими. Приходится сдерживаться, чтобы не раскрыть тайну. Но со вчерашнего дня окончательно все пути к раскаянию отрезаны – в 9 ч. вечера Галя уехала в Молотов и увезла «Красную песнь моей родины». Отпуск мой переносится на другой месяц, не знаю ещё на какой. Пока же, с завтрашнего дня предался безделью на срок, соответствующий накопившимся, неиспользованным выходным дням – их 11. Может быть переберусь на Казачий остров, может быть немного поработаю, может быть просто помечтаю о дне и часе, когда я буду снова кем нибудь и куда нибудь похищен.

Сердечный Вам привет.

НГ.

[март 1953]

С наступлением «Священной Весны»

Милая Аля,

Спасибо Вам большое за внимание и вообще за все ваше теплое отношение ко мне. Мне Нонна Валерьевна[7] рассказывала о том, как много Вы работаете и давала свою оценку Вашим творческим достижениям. Очень рад за Вас, если эти Успехи несут Вам с собою известное удовлетворение, это облегчает жизнь и, конечно, это необходимо, хотя мой взгляд на все это несколько иной. Я сторонник того, чтобы быть свободным от этого плена у необходимости. И единственный истинный путь человека – это путь духовного освобождения его из плена у необходимости, завоевание свободы от оппортунистических приспособлений к миру, его данности. Это путь высших духовных созерцаний, духовной собранности и сосредоточенности, а не рабство и подчинение дьявольской необходимости. Правда, у человеческих чувств бывает пора первого цветения, бесконечных соблазнов, через все это каждому неизбежно пройти, но не завязнуть в этих соблазнах, а, в конце концов, осознать, что почет, уважение, слава, известность – все это – ложь. Если будет настроение, время – пишите Аля. Если буду себя сносно чувствовать – буду отвечать. С искр. приветом.

Н.Г.

21/X-53

Милая Аля,

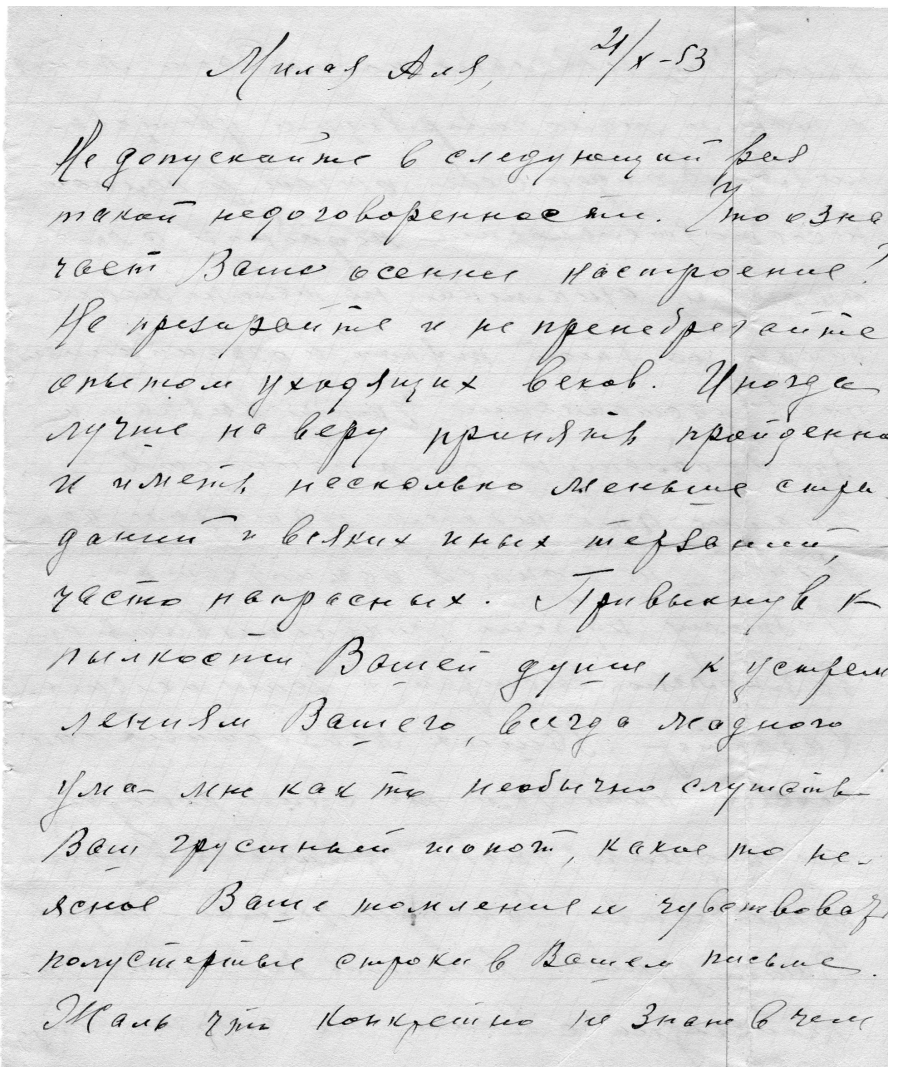
Не допускайте в следующий раз такой недоговорённости. Что означает Ваше осеннее настроение? Не презирайте и не пренебрегайте опытом уходящих веков. Иногда лучше на веру принять пройденное и иметь несколько меньше страданий и всяких иных терзаний, часто напрасных. Привыкнув к пылкости вашей души, к устремлениям Вашего, всегда жадного ума мне как то необычно слушать Ваш грустный шопот, какое то неясное Ваше томление и чувствовать полустёртые строки в Вашем письме. Жаль что конкретно не знаю в чём дело. Это невольно побуждает меня к таким мало говорящим увещеваниям. Я отдаю себе отчёт в полной несостоятельности подобного, с моей стороны, отклика, но тем не менее встаю на этот тупой и ограниченный путь наставлений, чтобы вызвать Вас на большую откровенность. Знайте, что таким натурам, как Ваша – не годится одиночество. Поэтому нужно ликвидировать его, возможно быстрей и решительнее. Характер Ваших жизненных сил совсем иной, чем те силы, которые необходимы, чтобы пребывать в этом одиночестве. Затворничество – не для Вашей души. Хотелось бы знать что происходит с Вами, но с другой стороны я понимаю боязливость Вашу. Иногда не хочется расплескивать полноту подобных состояний. Эти осенние настроения, этот листопад иногда является неожиданным наслаждением, когда с тайной радостью ощущаешь, что эта, вкравшаяся печаль не такое простое чувство, которое быстро исчерпывается, как удовольствие. В подобных случаях, конечно, лучше одному хранить в своей душе смятение. Единственная опасность здесь заключается в том, что у слабых натур это состояние иногда обращается у них в их религию и заполняет всё их время. Сообщаю Вам неожиданную и приятную новость: из Ленинградской Академии

[7] *Огарева Нонна Валерьевна (род. 15.05.1925). Училась на искусствоведческом отделении Ленинградского университета (1943–1948). В 1948–1970 – научный сотрудник Радищевского музея. С 1970 – живет и работает в Москве. Исследователь жизни и творчества А.П. Боголюбова.*

получено письмо – Аркадия[8] вызывают на занятия. Очень за него рад. Он уже там. Был в Саратове И. Эренбург, заходил в музей, как говорят, хотел посмотреть Монтичелли, но к сожалению, это было в выходной день и его не впустили. Такая досада, что я его опять прозевал. Через некоторое время, возможно, у меня будет к Вам просьба Аля – повидаться с ним лично или связаться по телефону и коснуться вопроса, принадлежащих мне старинных картин мастеров зап<адно> европ<ейского> искусства[9]. Но об этом я вам ещё напишу.

Дружески жму Вашу руку.

Н.Г.



Милая Аля, 21/X-53

Не допускайте в следующий раз
такой недоговоренности. Что взя
чет Ваше осеннее настроение?
Не презирайте и не пренебрегайте
опытом уходящих веков. Иногда
лучше на веру принять предложен
и иметь несколько меньше стра
даний в всяких иных терзаний,
часто напрасных. Привыкнув к
тонкости Вашей души, к устрем
лениям Вашего, всегда жадного
ума мне как-то необычно слушать
Ваш грустный тон, какие-то не-
ясное Ваше помышление и губительное
полустёртые строки в Вашем письме.
Жаль что конкретно не знаю в чем

[8] *Солоницын Аркадий Павлович (род. 1927) – живописец, ученик Н.М. Гущина. Окончил Саратовское художественное училище и Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина Академии художеств. Живёт и работает в Санкт-Петербурге.*

[9] *Н.М. Гущин привёз из эмиграции небольшую коллекцию произведений живописи европейских мастеров. Весной 1953 года она экспонировалась в Итальянском зале Радищевского музея, где сейчас и хранится большая её часть.*

9/XII – 53 г.

Вы правы Аля, что просите описать, как я провожу, хотя бы, один день, так как все они, действительно, похожи один на другой. Но я Вам, все же, опишу два-три дня, менее обыкновенных.

Встал однажды в 8 ч. утра, к 9-ти пошел на работу. Придя в Музей, приступил к фотографированию предметов прикладного искусства, хранящихся в фондах. Возникла необходимость в фотоматериалах. Пошел за ними, пришлось обойти все магазины. Несколько задержавшись, за время их обхода, прибавляю шаг, чтобы вовремя вернуться в музей – вижу на встречу Борис (Белов – ***Л.П.***). Начинается разговор о его печальном, безработном положении. У нас же в музее освободилось место одного ушедшего по болезни, сотрудника. Иметь такого сотрудника, как Борис, с моей точки зрения для музея было бы, более чем, интересно и я, невзирая на низкую ставку, решил, все же, сказать ему об этом. Сверх моего ожидания – он горячо ухватился за эту идею и я ему пообещал подготовить почву.

Вступаю в переговоры с Н.И. Оболенской[10]; узнав, что она лично никаких возражений не имеет, просил ее очень поддержать кандидатуру Бориса перед Завьяловой[11] и получил от нее соответствующее обещание. Вечером на эту же тему имел беседу с Вашей Нонной Валерьевной, также обещавшей, если это было бы нужно, повлиять на Оболенскую. Уверенный в положительном решении данного вопроса, сообщаю об этом Борису и уславливаемся с ним, что он придет уже лично на следующий день возбуждать это ходатайство. По его выражению – работать в музее для него всегда было мечтой, что он сейчас же поступит на искусствоведческий факультет, кончит его заочно и таким образом, для него откроются целые, новые перспективы. Принимая во внимание его данные, – любовь к искусству, его литературные тяготения, его уровень развития, действительно, можно было быть уверенным в реальном успехе и вообще в поднятии культурного, музейного уровня. И что же Вы думаете? За ночь настроения изменились как у Оболенской, так и Нонны Валерьевны,...

Придя на следующий день утром, с некоторым запозданием, я застал уже Бориса в остром собеседовании с Нонной Валерьевной, которая пыталась отстаивать свою отрицательную точку зрения на его начинания, намерения, стараясь доказать и убедить его, что это, с его стороны, самая большая нелепость. Я не говорю уже о себе, мои высказывания были отнесены просто к необоснованному фантазерству. Это начало. Как развивалось дальнейшее я не знаю, но известен только факт отвода кандидатуры Белова Оболенской и он, хотя, что писать о том, в каком он положении и состоянии! Не реагировать на это я не мог и решил пойти открыто на игнорирование Оболенской, сыгравшей такую двойную игру. Создавшаяся атмосфера способствовала обострению одного происшедшего инцидента, в работе с нею. Удовлетворение только в одном – она принесла мне свои извинения за все, но ведь дело то не во мне, а в Борисе, у которого так эгоистично вырвали возможность устроиться. Противно, поэтому Аля, не спрашивайте меня и не просите меня описывать конкретно, как я провожу дни. Теперь буду журить Вас – что это Вы снижаете себя до этого, пустого любопытства? Неужели нет никаких мыслей, нет никаких вопросов, более интересных, чем конкретные данные начинающегося и кончающегося дня? Я долго не писал Вам, так как в прошлом письме, мною было положено начало этим более искренним и, психологически, более глубоким возможностям человеческого душевного общения, но Вы почему то решили пройти это молчанием и уклониться, ограничились лишь только признанием и признательностью за «доброе», как Вы пишите, мое письмо. Я принимаю, конечно, во внимание, что Вас настигли такие неприятности, как операция ... очень рад, что прошло все благополучно. Извиняться ли за то, что своевременно не выразил Вам соответствующего сочувствия? Хотя эта угловатость моя наполовину сознательная. Я видел у Нонны Валерьевны фотографию с вашей скульптуры – мне кажется, недостаточно строго поставлены глаза. Я пишу о таких деталях, так как главного, о чем можно было бы говорить – совсем не нашел. Я знаю, что эта работа академическая, но тем не менее, мы так много потратили и времени и энергии, что касается вопроса – элементов художественной формы, ритма, пропорции масс и т.д. К сожалению, я вижу только, что все это вы знаете, но этим не проникнулись. Будьте строже, будьте ревнивее к искусству и своей учебе.

---

[10] Оболенская Наталья Ивановна (1904–1980). Работала в Радищевском музее с 1925 года, в 1951–1970 – в должности главного хранителя. Заслуженный работник культуры (с 1969).

[11] Завьялова Валентина Федоровна (1908–1963). Училась на искусствоведческом отделении Ленинградского университета (1927–1931). В 1932–1936 жила и работала в Пензе, с 1936 – в Саратове. Директор Радищевского музея (1949–1963).

5-го[12] были у меня Нонна Вал<ерьевна>, Леля[13] и Люба[14], обреченная на такую грусть, что нельзя этого не чувствовать. Все мы пили за Вас, за Ваше здоровье, успехи. После этой встречи, продумал почти всю ночь. Думал много о себе, о своих летах, о грядущих шорохах незванной гостьи и т.д. До свидания. Очень хотел бы, чтобы мое молчание никогда не тревожило Вас. Н.Г.

P.S. У меня в декабре командировка в Москву, но пока не знаю, в каких именно числах. Может быть, увижу Вас.



В доме Карпаковых. Слева направо: Н. Огарева, Б. Белов, О. Карпакова, Н. Гущин, А. Ненашева. Фото [1951-1952]

3/I-54
Милая Аля,

Поздравляю Вас с новым годом и шлю Вам наилучшие пожелания.

Я всегда, как то непростительно, забываю, что, когда юное взрослеет, оно проявляет свою самостоятельность с такой категорической самоуверенностью. Ну что же – пусть! Всё равно мои надежды ни на Вас, ни на Аркадия, ни на Кабанова[15] не оправдались. Вы все трое[16] идете слепым путем, старательно выявляя свое раболепие перед видимым. Если это, до некоторой степени простительно Аркадию, Кабанову, то совсем не нахожу оправдания для Вас – ведь Ваши горизонты, Ваш диапазон, казалось, должен был бы быть неизмеримо шире ... Однако, к прискорбию, я не вижу у Вас этого пер-

[12] 5-го декабря – день рождения Н.М. Гущина.

[13] Карпакова Ольга Федоровна. В 1950-е недолго работала в Радищевском музее, позже – редактор Саратовского телевидения.

[14] Возможно, Моршнева Любовь Павловна, в те годы – редактор Саратовского телевидения.

[15] Кабанов Виктор Павлович (род. 1924) – живописец, график. Участник Великой Отечественной войны. Учился в Саратовском художественном училище (1940–1942, 1947–1948) у И.Н. Щеглова, Б.В. Миловидова, М.Д. Егорова. В 1948 занимался у Н.М. Гущина, в этом же году уехал учиться в Москву. Член Союза художников (с 1958).

[16] Виктор Кабанов и Альдона Ненашева после Саратовского художественного училища поступили в художественные институты в Москве, а Аркадий Солоницын стал студентом Академии художеств в Ленинграде.

спективного мышления. Вы с такой безответственностью пытаетесь оправдать свое, в основе – совершенно ложное, направление, прибегая к непродуманной до конца аргументации. «Для того, чтобы связать фразу – нужно знать слова», – говорите Вы ... Что глина для Вас новый язык ... Вы бросаете замечание, что я не учитываю данных обстоятельств ... Я этого не нахожу: – я также, как и Вы, считаю, что нужно знать слова, чтобы составить фразу, но только слова, соответствующие своему назначению, обеспечивающие чистоту речи, а не засоряющие ее той или иной вульгарностью. Если глина является для Вас новым, еще не постигнутым языком, я всегда и охотно оправдал бы эту Вашу неловкость, это временное Ваше косноязычие, но поймите, что меня угнетает не неуменье Ваше, а пошлый жаргон, который не только засоряет художественную форму, но и исключает совершенно даже приблизительное о ней представление. Я Вам могу предсказать заранее, что если Вы пойдете этим путем – Вы быстро можете себе снискать известную и, даже, может быть, не малую популярность ... Уже сейчас – если искусствоведы Ваши, смотря на посланные Вами фотоснимки, высказывают свое умиление и удивление, то что же говорить о массе?! Но не следует забывать, что у нас развитие масс является заботой государственной, у нас – это целая, стройная система, впервые существующая за все времена истории человечества. Разве данное обстоятельство не оказывает влияния и на темпы развития? Может быть недалек тот момент, когда всем вам придется задумываться не только над проблемой языка глины, или красок, но и над исчерпывающим языком большого искусства, высокой художественной формы, где никакая бойкость в изображении видимого, никакая популярность не спасет. Мне всегда хотелось Вас и всех вас троих увлечь этими далекими далями, но не удалось. Пытаться больше не буду – устал и разочарован.

Н.Г.



Н.М. Гущин. Портрет Альдоны Митюшиной (Ненашевой). Бумага, соус, карандаш. 51х42. Собственность А.М. Ненашевой (Москва)

Саратов 2 августа [1954]

Милая и дорогая моя Аля,
Несколько слов по неожиданному случаю:
замужество нужно рассматривать, как шаг опьяняющий, ответственный и неизбежный.
Поскольку этот шаг неизбежен – возражениям принципиальным или тем или иным, колебаниям, не может быть места, они сами собой отпадают.
Ответственность же, которую Вы на себя берете, обязывает Вас к уверенности в Ваших личных чувствах, уверенности в том, что Вы их пронесете полными и всегда свежими, что вступая на этот путь, Вы будьте готовы к большой, быть может доле жертвенности, что Вы будете носить в своей душе это чувство жертвенности всегда, как нечто желанное.
Что касается вопроса – Вашего опьянения юного, Ваших голубых грез и надежд, – мне трудно что-нибудь говорить; надеюсь, Вы сами это ощущаете острее, чем другой мог бы что-нибудь об этом сказать.
Мне кажется только, что определенное наличие всех этих манящих далей, обещающих Вам счастливое слияние Вашей судьбы с судьбой другого – абсолютно должно быть быть безусловным, как с Вашей стороны, так и со стороны его.
Если эта чистота сердца, полнота души и искренность обоюдная – действительны, – они будут Вам залогом улыбки Вашей жизни долгой и счастья.
Радуюсь за Вас, за Ваши трепетные волнения и от всей души шлю Вам пожелания светлого, солнечного пути.
Ваш Н. Гущин

P.S. Через неделю кончается мой отпуск – испорченный, не использованный по настоящему... С лодкой я окончательно и безнадежно гибну; одна печальная перспектива, если верить предсказаниям окружающих, что вся эта моя лодочно-моторная эпопея кончится тем, что я окажусь у Кутанина[17]. Пожалейте меня Аля.

Н.Г.
P.S. Привет Вашему соколу.

[вторая половина 1954]

Письмо Ваше, Аля, застала меня врасплох, – в раздумьи. Размышлял я о человеческих отношениях и Вы, конечно, легко себе представите в какие дебри залез с присущим мне, малоудобным для других и для себя, характером. В результате размышлений еще раз пришел к убеждению, что истина и жизнь остро чувствуются, воспринимаются, когда ты – отверженный. И вот я искренне воспеваю эту отверженность и утверждаю ее, как ценность, что поможет мне создать уют своей душе, глупой и наивной, проливающей иногда горючие слезы по вине ея экспансивности, жажды расточительности и какой-то веры в человека a priori. Я не хотел бы касаться тех оснований, которые дают мне право на этот гимн отверженности, так как это целая философия, философия спорная, способная вызвать в горячих сердцах, как Ваше, бурю протеста, негодования, но я Вам, только чуточку, одной частью хочу пояснить, что поведение Желновых[18], Головницких[19], Кабановых и им подобных грядущих ла-

[17] Кутанин Михаил Павлович (1883–1976) – психиатр, гипнолог, в 1923–1964 годах – заведующий кафедрой психиатрии Саратовского медицинского института, профессор.

[18] Желнов Евгений Васильевич (1927–1994) – саратовский художник. Учился в Саратовском художественном училище (1945–1949) у Б.В. Миловидова, И.Н. Щеглова, И.В. Севастьянова. Н.М. Гущин занимался с ним живописью и рисунком.

[19] Головницкий Лев Николаевич (10.12.1929 – 29.04.1994). Скульптор-монументалист. Учился в Саратовском художественном училище у Э. Ф. Эккерта и Е. Г. Морозовой (1947–1952). В этот период большое влияние оказал на него Н. М. Гущин. Жил и работал в Челябинске, Красноярске, Свердловске. Член Союза художников (с 1955), Народный художник РСФСР (1980), действительный член Академии художеств СССР (1988).

уреатов, в известной мере снимают мой энтузиазм к себяраспылению и невольно хочется самоуглубленности. Как бы не было досадно, что мною им далеко не все сказано (многое было оставлено до соответствующих моментов их роста и развития). Но у меня возникает внутренняя необходимость, властно от меня требующая оставить все эти свои, не находящие настоящей почвы благожелательные порывы. Не обижайтесь на меня, Аля, что в силу данного состояния я не могу исполнить Вашей просьбы не принимать решения покончить со своими разглагольствованиями по искусству. Идите своим путем ... но не забывайте, что помимо искусства лауреатов – есть еще большое искусство. В отношении же Вас я, вероятно, всегда сохраню интерес и радость к Вашим настоящим успехам. Сейчас же мне хочется с Вами поговорить о другом. – Жажда нежности выходит у меня из берегов и захлестывает неисповедимой печалью и грустью. Мы все охвачены стремлением к вечной женственности, это источник нашего рабства и любви. Но женственность я утверждаю в аспекте девственности, а не материнства, как родовой необходимости, и любовь лежит поэтому в каком-то совсем ином плане бытия, не в том, в котором живет и устраивается род человеческий. Любовь совсем не нужна роду человеческому с перспективой его продолжения и устроения; она остается где-то в стороне. Сексуальный акт, как и разврат, ближе, понятнее и приемлемее, так как проблема пола решается вне проблемы любви. Любовь – не от мира нашего она иного плана, цветок, гибнущий в среде сегодняшнего дня. Величайшее в любви то, что сохраняет ее таинственную святость – это жертва жизнью, отречение от всяких манящих, сменяющихся во времени переживаний. В мужской природе есть способность переживать в себе во всякое время. Мужчина не склонен отдаваться исключительно и безраздельно радости любви или страданию, у него всегда еще есть его творчество, его дело, вся полнота его сил. В поле мужского сознания, если что-то выступает на первый план, то другое отступает, но не исчезает и не теряет своей силы. Личность женщины постоянно подвержена опасности распадения на отдельные переживания и жертвенного заклания себя во имя этого переживания. Корни ея природы – метафизические. С этим связано и все высокое в женщине и низкое в ней, жуткая чуждость ея природе мужской. Мужчина ставит полноту духовных сил своей личности в независимость от власти временных переживаний. Женщина же безсильна противиться этой власти и во временное состояние вкладывает всю полноту своей природы. В стихии женской любви есть что-то страшное для мужчины, что-то грозное и поглощающее. Притязания женской любви так безмерны, что никогда не могут быть выполнены мужчиной, так как он не всего себя вкладывает в любовь и не целиком от нее зависит. На этой почве вырастает безысходная трагедия любви. Мужчина ищет в женщине красоту, красоту в ней любит, красоту жаждет обожать, но красота эта остается вне его, он не принимает ее внутрь себя, не приобщает ее к своей природе. Женщину потому невозможно любить вечной любовью, что в любви мужчина хочет преклоняться перед красотой, вне его лежащей. Женщина редко являет собой тот образ красоты перед которым мужчина так жаждет склониться.

Поэтому, нам мужчинам, любовь приносит такое жгучее разочарование, так ранит несоответствием образа женщины с красотой вечной женственности, куда мы тянемся. Но высший мистический смысл любви не в поклонении и боготворении женщины, как красоты вне лежащей, а в приобщении к женственности (ибо что означает жажда нежности.?!), в слиянии мужской и женской природы и растворение в высшей красоте. В этом весь религиозный смысл любви. Этот религиозный смысл любви половой, эротики, заключается в том, что она является не...

[без начала, осень/зима 1954?]

...Явился!» «У вас Гоголи-то как грибы растут, – строго заметил Некрасову Белинский, но рукопись взял. Когда Некрасов опять зашел к нему вечером, то Белинский встретил его «просто в волнении»: – Приведите, приведите его скорее!

Пламенно, с горящими глазами обращался Белинский на следующий день к приведенному Достоевскому: «Да Вы понимаете ли сами-то, – что это Вы такое написали?» Осмыслили ли Вы сами-то всю эту страшную правду, на которую Вы нам указали? – Вот второй момент, когда я вновь не мог удержаться от рыданий... Когда наша душа вливается в космос, соприкасается с неминуемой правдой – умолкает однообразное, тревожное дребезжанье разсудка, которое дробит и заглушает музыку сфер. Только тогда свободно и легко входят в нас волны мировой жизни – звуки, шумы, запахи... К сожалению, большей частью мы пребываем в косной инерции – мы редко сосредотачиваемся, так как

наша мысль, как клоун всегда кувыркается перед нами и мешает нам слышать по настоящему. У меня смиренная просьба к Вам – не обижайтесь на меня Аля. Эти периоды моего молчания, не только по отношению Вас, но и вообще – являются вопросом очень сложным, путанным и даже больным.

Будьте счастливы, работайте, не теряйте свою внутреннюю устойчивость.

Привет Вашему Саше[20]. Кабанову – упрек за его небрежность ко мне. Меня больного он заставил ждать в Третьяковской галерее почти два часа и не изволил явиться совсем.

Н.Г.

3/III-55

Милая моя Алюшенька,

Пусть только Ваш Саша не волнуется, что я так нежно Вас называю моей... Это временно. Ведь Вы сами знаете – с какой лёгкостью я также могу отказаться от кого угодно. Своей самоотверженностью – пройти «Огни и воды» Вы меня трогаете до моих крокодильих слёз. Только вчера утром я отправил Вам письмо, а вернувшись – получил ваше. Я Вам там писал кое что о своих намерениях, но сегодня под впечатлением Вашего письма провёл всю ночь в глубоком размышлении. Вы правы – нужно действовать решительно, настойчиво, чтобы преодолеть заразу бюрократизма, эту злую, тёмную силу дикого, упирающегося буйвола – слепого обывателя. Я с 16-ти лет – в искусстве, за 50 лет непрерывной кропотливой углублённости и работы в этой области – ведь имею же я право претендовать на то, что эти картины, о которых уже не один год длится речь, – являются картинами музейного значения. Определённой художественной ценностью. Ведь не простой же был мой каприз – решительно воздержаться от соблазна материального – реализовать их там; я был полон энтузиазма, я их трепетно вёз на родину, чтобы они находились в ея музеях. – Эта материальная сторона была всегда. На что же я наталкиваюсь? Вот уже год, а я не могу добиться того, чтобы узнать мотивы, по которым закуп<очная> Комиссия отклонила их приобретение. В продолжении года они находились в музее имени Пушкина для экспертизы, а результаты её так до сих пор и неизвестны, несмотря, даже, на интерес, проявленный в этом отношении Саратовским музеем, в своё время возбуждавшим ходатайство на приобретение их. Я ещё сделаю запрос относительно результата экспертизы. И не зависимо от того, получу или нет ответ, я решил обратиться в Центр<альный> Комитет. Для этого я приеду в Москву и мы вместе обдумаем план действий. Я начинаю склоняться к мысли, чтобы Гойю[21] и Ван Остаде[22] просто преподнести в дар. – Т.к. очень не хотелось бы, чтобы они были в частных руках, или оказались просто беспризорными, т.к. может случиться так, что неожиданно наступит неизбежная развязка. Что касается остальных вещей, менее значительных, можно будет поступить с ними, как создадутся и подскажут обстоятельства. Я уже писал Вам, что если заинтересовать её – у неё большие возможности, по крайней мере так мне советовали и много говорили о ней здесь, в Саратове. Меня крайне удивляет, что он впервые слышит о коллекции. Я не допускаю что меня могли ввести в заблуждение. Может быть это следует рассматривать как сугубую сдержанность, так как прямая откровенность часто стесняет. Если он действительно намерен меня повидать, я думаю при личном разговоре – это выяснится. Я сознательно говорю он, она, т.к. уверен, что Вам понятно о ком идёт речь. Если вы будете что нибудь писать по данному поводу, то я также просил бы Вас обходиться без имён. У меня предчувствие, что именно это его и стесняет. Я не допускаю, что я был информирован вымышленно, тем более, что телеграфировали в Саратов два раза, сравнительно через большой промежуток времени. С чем Вам, Аля, было бы меньше всего жаль расстаться – с «Моей симфонией»[23] (последняя работа), с портретом, писанным

[20] Ненашев Александр Константинович. Журналист-международник, корреспондент ТАСС в Иране. Автор книги «На перекрёстке веков». М., 1974.

[21] Неизвестный испанский художник первой половины XIX века. Мужской портрет. Холст, масло. 51x50,5. Приобретено Радищевским музеем у Н.М. Гущина в 1962. Ранее – собрание герцога Орлеанского (?). Н.М. Гущин считал этот портрет произведением Франсиско Гойи.

[22] Остаде, Адриан ван, подражание. В кабачке. Холст, масло. 59,6x80,2. Приобретено Радищевским музеем у Н.М. Гущина в 1959. Картина поступила в музей с заключением парижского эксперта Жозефа Кавалье (от 16.10.1939) об атрибуции её Андриану ван Остаде.

[23] Н.М. Гущин. Моя симфония. Автопортрет. Холст, масло. 84,5x83,5. Это письмо позволяет уточнить время создания работы – в 1955 году уже был написан вариант этого автопортрета, автор продолжал работу над ним до 1964 года. Картина поступила в Радищевский музей в 1966 из мастерской Н.М. Гущина.

ещё в Париже[24] или с портретом, что так Вам нравился[25]? Одна из этих вещей меня покидает. Я все свои работы сосредоточил в мастерской, в музее, т.к. в доме, где живу, – капитальный ремонт, через несколько дней и самому придётся выкидываться. Все работы развесил, – так своевольно устроил персональную выставку. Вход по приглашениям от 6 ч. до 8 ч., вернисаж прошёл оживленно.

Поздравляю Вас с наступающим праздником Вашей женской расы. Желаю Вам процветания.

Сердечный привет Вам и Саше.



Гущин Н.М. Автопортрет в очках. Картон, соус. 41х31,1 © Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева

[24] Н.М. Гущин. Автопортрет. Внутренним взором. Холст, масло. 61,3х38,2. Приобретено Радищевским музеем в 1964 у автора.

[25] Возможно, имеется в виду «Автопортрет в очках». 1920–1930-е (картон, соус. 41х30), привезённый Н.М. Гущиным из эмиграции. Художник подарил его А.М. Ненашевой, у которой в 1987 его приобрёл Радищевский музей.

3.V.1955

Милая Аля, – благодарю за поздравления и пожелания. Вокруг меня и моих работ опять создались интриги, столкновения, издевательства. Если бы Вы могли себе все это представить и понять до какой степени я устал и измучен – вам понятно было бы мое молчание. Однако сегодня у меня снова желание еще раз вернуться к затронутой когда-то с Вами широкой теме. Кто философски познает мир, тот должен превышать все вещи мира, тот сам должен быть миром, а не дробной частью его. Перед дробной частью никогда не могла быть поставлена дерзкая задача – постигнуть вселенную. Сама постановка дерзкой задачи познать вселенную возможна лишь тогда, когда сам есть вселенная, когда человек в силах противостоять вселенной, как равный, как способный включить ее в себя. Познание человека вселенной покоится на предположении, что человек космичен по природе своей, что он – центр бытия. Человек, как замкнутое, индивидуальное существо не превысило бы отдельных частей мира, частичных его состояний. Но от этого исключительного самосознания, человек уклоняется в две разные стороны: эмпиризм и позитивизм с одной стороны и рационализм и критицизм – с другой. Так дробится дух человека. Но и эмпирики, и позитивисты, и рационалисты, и критицисты все по-своему и частично исходят из предположения, что в человеке исключительные источники для познания мира. Вселенная может входить в человека, им познаваться только потому, что в человеке есть весь состав вселенной, все ея силы, что человек – не дробная ее часть, а цельная – малая вселенная. Человек себя знает прежде, чем мир и потому познает мир после и через себя. Человек – точка пересечения двух миров. Природа его двоится, порождает двойственность его самосознания. Побеждает то одна сторона, то другая. Он – существо свободное и закованное, сильное и слабое, соединяющее в себе вечное с тленным. Только мистики хорошо понимали, что все происходящее в человеке имеет мировое значение, что в человеке можно открыть все наслоения мира, что душевные стихии его – космичны. Оккультные и мистические учения всегда говорили о сложности человека, включающего в себя все планы вселенной, в нем скрыты тайные, оккультные, космические силы, неведомые официальной науке и будничному сознанию человека. Человек – точка пересечения всех планов бытия, наделенный властью творить красоту. Восприятие красоты в мире – есть творчество. Но в свободе, а не в принуждении <нрзб> красота и творчество, не в приспособлении к миру, а в созидании мира иного, просветленного. Трагизм же творчества – это несоответствие между заданием и осуществлением. Например, вся эпоха Возрождения с небывалым подъемом человеческого творчества находится под знаком этой остроты несоответствия, осложнявшейся еще тем, что в ней столкнулись два начала человеческой природы: начало языческое и начало христианское. Эти два потока создали раздвоение человека. Языческой, античной цельности в Возрождении уже нельзя найти. Происшедшая встреча христианства с язычеством ранила душу человека. Возникает борьба христианской трансцендентности и языческой имманентности. Классически прекрасное языческое искусство стремится к завершенности, совершенству форм здесь, но это законченное совершенство искусства никуда не зовет, в нем нет призыва в мир иной, в нем нет трансцендентной тоски. Искусство языческое говорит не о тоске по прекрасному миру иному. Искусство христианское – иного духа; в христианском искусстве устремленность к иному, – оно не верит в законченное достижение красоты здесь. Красота для него всегда то, что говорит о мире ином, т.е. символ. И вот это трансцендентное чувство бытия создает романтическую традицию, противоборствующую традиции классической. В искусстве языческом – классическое здоровье, в искусстве же христианском – романтическая болезненность. Возникает иная традиция: форма завершенная и замкнутая сменяется формой прорывающейся, незавершенной. Раннее Возрождение насыщено тенденциями христианскими. Ему предшествовала святость Франциска Ассизского и гениальность Данте. В мистической Италии зарождаются упования новой мировой эпохи, эпохи любви, эпохи духа. Эти упования и обуславливают творчество раннего Возрождения, до конца религиозного по своим устремлениям, как напр<имер> Джотто, Арнольдо, Мартини и др. Возрождение же 15го в. не продолжает уже искусства Джотто. Поднимается раздвоенный человек, не примиривший в себе языческих истоков с истоками христианскими. Этот болезненный надлом чувствуется у Донателло, у Веррокио, достигает особого напряжения у Боттичелли и завершается у Леонардо. Боттичелли – самый прекрасный, волнующий художник Возрождения. Его художественный гений создал небывалый по красоте ритм линий, но Боттичелли – художник, недостигший классической завершенности. Он не осуществил ни задач христианского Возрождения, ни задач Возрождения

языческого. Тайна Возрождения в том – что оно не удалось, хотя и было в нем великое напряжение творческой энергии. Последнее усилие языческого Возрождения – осуществить идеал законченного совершенства было сделано в 16-м веке – Рафаэль, Жулио Романо, Микел Анджело, но это было уже омертвение духа. Что такое Рафаэль? – Это отвлеченный предел классически совершенной традиции в искусстве, предел законченности, но он самый не индивидуальный художник. В его совершенном искусстве нет протеста живой души, ему чужда переходящая за грани мира тоска. Микел Анджело был подлиннее, но и его здоровое совершенство – кажущееся; он также не осуществил задач Возрождения. Болезненное искусство кватрочентистов – ценнее и значительнее. У Боттичелли и Леонардо, столь разных, есть магия обаяния, этой магии нет ни у Рафаэля, ни у Микел Анджело. – От них идет начало упадка искусства, за ними следует Болонская школа – мертвый академизм. Так трагизм творчества, его неудача является последним поучением Великой Эпохи Возрождения. В великой неудаче Возрождения – его величие. Абсолютная завершенность и совершенство для христианского мира лежит в запредельной дали. Но в строгом смысле – творчество и не языческое и не христианское – оно дальше. В творческом художественном акте побеждается тьма, преображается в красоту. Наиболее исчерпывающим примером для нас, в этом отношении может быть творчество Скрябина. Его творчество – это потрясающее пророчество о новой, мировой эпохе, пророчество, переходящее за пределы культуры к новому бытию, где человек приобретает власть над природой через красоту. Искусство Скрябина – искусство освобожденное от навязывания норм этого мира. У него красота – не только цель искусства, но и цель жизни. И цель последняя – не красота, как культурная ценность, а красота, как сущее, т.е. претворение хаотического уродства мига в красоту космоса. Конечно, все определения красоты частичны, т.к. красота в последней своей сущности – неопределима; красота – великая тайна. Чтобы познать эту красоту – нужно быть посвященным. Музыка Скрябина – это не наши домашние горести и заботы, это не наш покой и отдых после трудового дня, это не наши радости от будничных удач... Не наши в смысле житейском, но глубоко наши, то есть истинно человеческих в тех душевных глубинах, где вечно существует связь наша со стихиями, куда неудержимо тянется наше сознание, чтобы стать космическим сознанием, и интуитивно постигающим все, чем строится вселенная. Вот в чем величие творчества Скрябина. Его гордый дух узурпирует права, принадлежавшие, когда-то, в темные времена, – только Божеству, но он идет не с тем, чтобы поставить на место Божества человеческий разум, как Вольтер, или повышенную чувствительность, свойственную будто бы первобытным людям, как Руссо, или категорические императивы совести и нормы красоты – Канта, нет он несся к экстазу, к очищению в борьбе со стихиями и к слиянию с ними. Его дух был полон творческой энергии космоса: в свободном творческом напряжении и в самом наслаждении творчеством, он познавал себя и мир.

Н.Г.

[1955]

Итак, Аля,

Философия не есть наука и ни в каком смысле не должна быть научной. Ведь не должны же быть научны искусство, мораль, религия – Почему же философия должна быть научной?

Научность есть исключительное свойство науки и критерий только для науки. Неужели не ясно, что искусство должно быть художественным, мораль – моральной, религия – религиозной и философия – философской. Философия первороднее науки, она была уже, когда науки ещё не было, философия ближе к мудрости. Если признать философию специальной наукой среди других наук (и назвать например – наукой о принципах познания или о принципах сущего), то этим окончательно упраздняется философия, как самобытная сфера духовной жизни. Философия не наука. Есть философия и нет философии научной. Никто не сомневается в ценности науки. Наука неоспоримый факт, нужный человеку. Но наука и научность разные вещи. Научность – есть перенесение критериев науки на другие области духовной жизни, чуждые науке. Научность покоится на уверенности в том, что наука есть как бы верховный критерий всей жизни духа, что установленному ей распорядку всё должно покоряться, что ея запреты и разрешения имеют решающее значение повсеместно. Научность предполагает существование единого метода. Но может ли быть один распорядок, распорядок научный напр<имер>, в сфере религиозной, эстетической, моральной или общественной? Никакая наука не может давать

директив научности для чуждых ей сфер. Поэтому научность есть лишь одно из выражений ограничения а иногда и полной утраты свободы творческого духа. Распространение дисциплины научности влечет рабство духа, его дробление. Наука есть специфическая реакция человеческого духа на мир, но наряду с этим у человека есть и другие отношения к миру. По специфической своей сущности наука есть реакция самосохранения человека, потерянного в темном лесу мировой жизни. Чтобы жить и развиваться человек должен познавательно ориентироваться в мировой данности, со всех сторон на него наступающей. Для этой охраняющей его ориентировки человек должен привести себя в соответствие с мировой данностью, с окружающей его мировой необходимостью – вот наука и является усовершенствованным орудием приспособления к навязанной необходимости. Можно было бы определить так: наука есть познание необходимости через приспособление к мировой данности, наука есть познание из необходимости. Научное мышление всегда находится в глубоком соответствии, в приспособлении к мировой необходимости. Эта печать приспособления лежит на всей научной логике, как покорность мировой необходимости. Необходимость мира должна быть опознана и поэтому возникает необходимость соответствующего мышления. Отсюда происходит расчленение мировой данности на отдельные, самостоятельные сферы, происходит изучение, описание этих сфер под наименованием законов природы. Но надо отметить, что в науке всегда жили и боролись две души, и одна из них жаждала познания мировой тайны, но науку создавала не эта душа, эта душа всегда склонялась к философии, к теософии, к магии. Наука не творчество, а послушание, ея стихия не свобода, а необходимость. Наука никогда не была и не может быть освобождением человеческого духа. Наука есть безопасное познание данности, она не знает последних тайн. Наука знает лишь истины, но она не знает Истины. Ее истины имеют значение лишь для частных состояний бытия. Она создает свою действительность. Философия же и религия – говорят совсем о другой действительности. Философия ищет Истину, а не истины. Философия любит мудрость. И только на высотах философского сознания мудрость входит в человека. Познание мудрее, выше познания логического. Философия есть познавательный выход из мировой данности, прозрение, преодолевающее мировую необходимость. Философия есть, принципиально, иного качества реакция на мир, чем наука. Она из другого рождается и к другому направляется. Неволя у мировой данности, обязательная для науки, для философии есть падение и измена познавательной воле к свободе. Философия свободна от того, каким дан нам мир, она ищет истину мира и смысл мира, но не данность мира. Пафос философии – в героической войне творческого познания против всякой необходимости, всякого данного состояния бытия и задачей ея является трансценсус – переход за грани. В философии совершается самоосвобождение творческого акта человеческого духа в его познавательной реакции на мир, в познавательном противлении миру данному, а не в приспособлении к нему. Философия есть искусство, а не наука. Философия – искусство познания, и потому искусство, что она – творчество. Философия искусство особое, принципиально отличное от поэзии, музыки или живописи, но она также предполагает особый дар свыше и призвание, на ней запечатлевается личность творца не менее чем на поэзии или живописи. Философия есть искусство познания в свободе через творчество идей, противящихся мировой данности и проникающих в запредельную сущность мира. Когда философия становится наукой, она не достигает своей заветной цели – прорыва из мировой данности, прозрения свободы за необходимостью, так как нельзя искусство ставить в зависимость от науки, творчество от приспособления, свободу от необходимости. В философии есть победа человеческого духа через проживание, через творческое преодоление. В науке же победа через приспособление, через приведение себя в соответствии с данным, навязанным по необходимости. Философия не менее жизненна, чем наука, но это есть жизненность творчества познания, переходящего пределы данного, а не жизненность приспособления познания к данному миру для самосохранения в нем, для удобства, теплого уюта. Наука – это горькая нужда человека, философия – это роскошь, избыток духовных сил. В философии есть что-то праздничное и для утилитаристов будней столь же праздное, как и в искусстве. Для поддержания жизни в этом мире философия никогда не была необходима, подобно науке, – она необходима для выхода за пределы данного мира. Наука оставляет человека в безсмыслице данного мира необходимости, но дает ему орудие охраны в этом безсмысленном мире. Философия всегда стремится постигнуть смысл мира, всегда противится безсмыслице мировой необходимости. Основное предназначение всякой подлинной философии – это предположение о существовании смысла и о постижимости смысла, о возможности прорыва к смыс-

лу через безсмыслицу – и в этом творческая природа философии. Нельзя отрицать относительное значение логических категорий, на которых покоится научное познание, но придавать им высший всеобъемлющий смысл – есть заблуждение плененных мировой данностью, это разрыв духовного общения и сведение его к минимуму.

[1954-1955?]

Милая, дорогая моя Алюшенька,

Как-то страшит писать... Заболел невероятным недугом. Не выдерживаю жгучего одиночества. Безнадежно ищу опоры в чувствах. Если и замечаю свое существование, то по ощущению лишь тоски. Не вижу средств против раны... ее как бы нет нигде и ее чувствую повсюду. Не теряйте самообладания. Пусть не покидают Вас никогда весенние грезы.

Н.Г.

[без начала. 1955?]

<...> льющийся из внутренней мощи субстанций из их личной оригинальности. Эволюция есть необходимость, неизбежность, творчество – есть свобода. Только творчество ведет нас к созиданию небывалых ценностей, небывалого восхождения в истине, красоте, то есть к созданию гармонической стройности, к сверхмирной полноте. Само по себе творчество – тайна, оно необъяснимо. Тайна творчества – есть тайна свободы. Тайна свободы – бездонна и неизъяснима, она – бездна. Творчество есть то, что идет изнутри, из неизъяснимой глубины, а не извне, не из окутывающей и ограничивающей нас необходимости. Всякая рационализация творчества, есть рационализация свободы; рационализация же свободы – уже детерминизм. Свобода – это безосновная основа, бытия, она глубже бытия. Свобода есть положительная творческая мощь, льющаяся из неизсякаемого источника. Хотя тайна ея и отрицает всякую замкнутость и всякие границы, но она есть положительная творческая мощь, а не отрицательный произвол, что есть от зла, от от дьявола, а не от добра. Отрицательная же свобода, как произвол – есть свобода бессодержательная, пустая. Отрицательное сознание свободы – есть падение, хаос, распад, а не путь к творчеству, не выражение стройности мирового порядка. Абсолютное приспособление и абсолютный произвол – это «власть тьмы», это дьявола разрушение, а не царство созидающего разума. Подлинная свобода есть выражение состояния вселенной, ея гармонии, внутренней соединенности всех ея частей. Можно быть в рабстве лишь у того, что чуждо и враждебно; то, что нам близко и мило, то нас принуждать не может. Любящие и соединенные – свободны; лишь враждующие и внутренне разъединенные – познают принуждение. Отсюда вытекает, что содержанием свободы является ничто иное, как любовь. Она сжигает всякую необходимость и дает ей свободу. Мир, заколдованный злобой может быть расколдован только любовью. Поэтому любовь и свобода в положительном своем выражении и утверждении и есть творчество. Оно от гениальности, заключающей в себе мировую тоску о гармонии, красоте. Вступающий на путь творческий должен отказаться от тихого спокойного и безопасного устроения своей личности. На эту жертву способен лишь тот, кто знает творческий экстаз, кто в нем выходит за грани «мира», у кого есть особая сила хотения «иного», порождающая творческий порыв, святость дерзновения. Творческий подъем – есть революционное возрождение к новой жизни. В творческом возрождении сгорает все, так преодолевается необходимость и создается красота, которая ни что иное, как переход из мира необходимости в мир парящего духа. Творческий акт есть самооткровение и самоценность, не знающая над собой внешнего суда. Творчество – не есть приспособление к необходимости мира, а переход за грани его, устремление к духовной шири. Индивидуальность задыхается везде, где нет этой шири. Но индивидуальность, конечно, совсем иная плоскость, не имеющая ничего общего с индивидуализмом. Индивидуализм и является как раз ограничением, отрывом от мировой стройности, слитности с миром.

Индивидуализм, если можно так выразиться, это – самодовольное язычество. В творчестве «сегодня» должны быть выявлены все концы и пределы, так как предчувствие нового бытия ищет себе выхода в творческом акте новой души. Но выявит эти пределы конечно не натурализм. Это доминирующее сейчас зло мешает выявлению и ставит задерживающие преграды пророческому, творческо-

му духу. Натурализм является лишь приспособлением к длительным перспективам жизнеустроения. Нужно идти по линии наибольшего сопротивления, по линии безумия для разума высшего. Но для этого необходимо ясное зрение и строгий расчет, экономия своих сил, на которые так посягает «госпожа необходимость» и другие разные соблазны.

Я ответил Вам в прошлый раз беглым письмом, не знаю получили ли Вы его, но за этот период я много думал о Вас и вот пишу Вам еще. Мужайтесь, будьте счастливы. О себе писать не хочется. Как видите – жив, здоров, хотя и пребываю в хаосе переживаний.

Н.Г.

[1956]

Пребывание мое в Пензе было восхитительным во всех отношениях, Аля. Насколько мне не хотелось туда ехать, настолько же я получил полное, какое-то исключительное содержание и моральное удовлетворение. Произвел очень большую работу. Привел в порядок 70 картин, хотя трудовым соглашением было предусмотрено только 40. Пенза – городок очаровательный, утопает весь в зелени, с садами, скверами, большим парком в самом городе, за которым, вернее, который вливается в огромный лес. Живя там, в городе – ощущение точно живешь на лоне природы. Более мягкий, не в пример саратовцам – народ, не говоря уже о милых, приветливых улыбках девушек!

Пробыл там ровно месяц. Получил письмо от Магон[26], интересовавшейся предполагаемой поездкой в Одессу – пришлось сознаться ей, что с моей стороны это была ветренная затея, правда я сам осознал это, только находясь в Пензе. Подумайте – разве не дикость – ехать мне в пограничный порт и вести жизнь на берегу моря в палатке, без прописки!

С 21го авг. я иду в отпуск, но куда направлюсь, где буду проводить его и как – полная неопределенность. Думал ехать в Молотов, но нет возможности доехать, билет на пароход, самое большее на что можно расчитывать это на 4-й класс, что очень утомительно для такого длительного путешествия. Ехать поездом – также трудно. С удовольствием бы полетел на самолете, но слишком буду выбит из бюджета – так дорого стоит билет. Оставаться в Саратове – без моторной лодки – безсмысленно. Вот и не знаю, как быть. Хотелось бы немного поработать для себя, походить на этюды. С Пензой буду в контакте. Начальник Упр<авления> культуры предлагает мне перебраться туда и вести живопись и рисование в худ<ожественном> училище. Просит посылать им, если я останусь в Саратове, свои работы, которые ими будут помещены на обл<астной> выставке. Вообще был встречен и принят по человечески и тепло. Принципиально я не возражал перебраться туда, хотя вопрос переезда не такой простой. Познакомился с некоторыми педагогами художниками, ходил с ними на этюды – впечатление у них создалось необыкновенное. Один из них подарил мне две своих работы и мечтает поработать со мной хотя бы один год. Он уезжает из Пензы – устраивается преподавать в среднюю художественную школу при Академии худож<еств> в Ленинграде, надеется меня устроить там же. Я не поехал бы может быть в Москву, но в Ленинград – с наслаждением. Общими усилиями мы покупаем с ним под Ленинградом дачу, вместе устраиваемся. Будем работать. Только бы вот удалось реализовать мне старинные картины. Находясь в Пензе в такой … (Далее текст утрачен – ***Л.П.***).

[26] *Магон Людмила Борисовна (1928–1974). Филолог, педагог. Учитель русского языка и литературы в средней школе и воспитатель в колонии для несовершеннолетних г. Маркса Саратовской области.*

Андрей ПЕРМЯКОВ

НОВЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЗДАНИЯ

В отличие от названий художественных произведений, правильный заголовок критической работы обязан быть однозначным и точным. С такой точки зрения эта статья названа просто ужасно. По крайней мере, в плане однозначности. В её заглавии придётся хотя бы кратко пояснить каждое слово. Начнём с последнего из них.

Под «изданием» автор в данном случае разумеет некие сущности, представленные не только в электронном виде, но и на бумаге. Необходимость такого архаического метода можно обосновать по-разному. Скажем, большей устойчивостью печатных форм к исправлениям и, следовательно, большей ответственностью автора и редактора. Это в особенности касается изданий периодических: книжные опечатки легко устранить в следующем тираже, а журнальный номер создаётся раз и навсегда. Играет свою роль и сделавшаяся вдруг общим местом «любовь к типографскому произведению как к объекту». Существует, наконец, совершенно эфемерная по нынешним временам, но всё-таки теоретически присутствующая возможность коммерциализации проекта. Словом, резоны выпуска бумажных версий требуют отдельной статьи. Но они, резоны эти, безусловно, существуют. Например, портал «Литературатура», ставший весьма заметным событием минувшего литературного года, хоть и представлен исключительно в Интернете, антологию своих наиболее уважаемых авторов выпускает в бумажном виде. Но, так или иначе, здесь мы поговорим именно о продуктах интеллектуального труда, представленных как в печати, так и в Сети. Более того, наличие сетевой репрезентации было б и не важным, но если столичные журналы и альманахи, которые, безусловно эстетствуя, ограничиваются лишь бумажными вариантами (скажем «АлконостЪ») найти сложно, но возможно, то с региональными в этом смысле – полная беда.

Термин «литературные» в заголовке, казалось бы, не нуждается в пояснениях, однако тут свой подводный камень тоже есть. Скажем, крупные локальные книготорговые сети – а они, по счастью, не перевелись – выпускают собственные обзоры книжных новинок. Как правило, рекламного характера, но часто с небезосновательной претензией на интеллектуальность. Продукцию этого рода мы в настоящий обзор волевым решением не включаем.

«Региональные» – наверное, самая однозначная составляющая заголовка. Да, говорить будем об изданиях, выходящих вне Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. А все «третьи столицы», сколько б их ни было, приветствуются. Имеет ли значение направленность именно на местную литературу? Так об этом, собственно, и статья.

Ну, и, наконец, что в данном случае скрывает прилагательное «новые»? Как ни парадоксально, но здесь проще определить дальнюю границу диапазона, чем ближнюю. Например, выходящий время от времени (увы, всё реже) под редакцией Анны Голубковой «Абзац», безусловно, занял позиции вполне устойчивые и новым его не назовёшь. С другой стороны, сложно признать периодическим издание, представленное к сему моменту одним-двумя номерами. Это всё ж скорее потенциальная библиографическая редкость, нежели явление литературы. Опять-таки волевым решением определим критерий ещё новизны, но уже состоятельности примерно в три-пять лет существования при регулярности выпусков, более или менее соответствующей заявленной.

И вот тут выясняется, что изданий, соответствующих изложенным требованиям, совсем немного! При достаточно жёстком отборе таковых осталось всего два: пермский журнал «Вещь», основанный в 2010-м году, и возникший годом позже в Тольятти альманах «Графит». Въедливый и любознательный читатель волен, конечно, припомнить ещё с десяток подобных институций, но, повторю: представленное тут есть результат отбора. Возможно, излишне субъективного.

Впрочем, кое-что пришлось оставить за рамками обзора по обстоятельствам от автора малозависящим. Например, очевидно, что издания русского зарубежья заслуживают отдельного разговора. В связи с этим вопрос: куда отнесём «Белый ворон», редактируемый екатеринбуржцем Сергеем Слепухиным, но выходящий в Нью-Йорке, или журнал «Зарубежные задворки», редколлегия которого в основном проживает в России, а журнал выходит в Германии? Ну, пускай будут считаться иностранными и пойдут отдельной строкой в литературную ведомость.

Или вот существует ряд изданий, выходящих достаточно давно, однако в пределах тех самых трёх-пяти лет изменивших редакционную политику в лучшую (повторю в очередной раз дежурную тут фразу: «На наш субъективный взгляд») сторону? Здесь можно вспомнить сибирский «Ликбез», впрочем, переставший, кажется, выходить на бумаге, «Бельские просторы» из Уфы или вообще малоизвестные «Северо-муйские огни». Мне кажется, и эти вот сущности заслуживают отдельного разговора. Так что сосредоточимся на двух изданиях, упомянутых чуть выше.

Начнём по старшинству. Первый номер «Вещи» вышел летом 2010-го года, и его публикация сопровождалась лёгким скандалом. Впрочем, именно тогда возглавляемый Маратом Гельманом проект создания в Перми «Европейской культурной столицы» переживал расцвет, отчего любое свежее начинание в городе имело скандальный оттенок. Вне зависимости от того, было это начинание связано с Гельманом или, как в случае «Вещи», нет. Если оставить в стороне эмоции, то суть претензий, высказанных, например, очень хорошим пермским поэтом Юрием Беликовым относительно дебютного номера, сводилась к двум пунктам:

1) эклектика;

2) вторичность.

Верно ли это? Насчёт эклектики формально да, но разве мог демонстративно нейтральный по отношению к разным эстетическим партиям журнал, отражающий, прежде всего, литературную жизнь региона, в первом же выпуске отрезать по тем или иным внехудожественным причинам некоторый пласт литературы? Термин «вторичность» касался в основном рубрики «Молодая поэзия Перми». Но что оставалось делать редакторам журнала (их двое – Юрий Куроптев и Павел Чечёткин) в условиях, когда большие подборки Алексея Евстратова, Антона Бахарева-Чернёнка, Ивана Козлова уже были опубликованы в журнале «Знамя» или готовились к публикации, Дарья Тамирова выпустила в Москве тепло принятую книгу, а в родном городе этих авторов за пределами узкого круга ценителей никто не знал? Естественно, хотелось представить лучшие тексты каждого из них.

Так или иначе, но первый номер вышел почти исключительно пермским. Впрочем, уже на его презентации Юрий Куроптев сказал: «Когда мы придумывали журнал, то сразу решили, что не будет замыкаться исключительно на пермских авторах. У нас даже в названии написано: Вещь, литературный журнал. Для нас важно, чтобы журнал стал коммуникативной площадкой разных поэтик и авторов уральского региона». И, в общем, начиная со второго выпуска, задуманное стало воплощаться в жизнь. В том номере вышел, например, большой блок участников фестиваля СловоNova, а также интервью с Михаилом Елизаровым, гостившим тогда в Перми. Вообще, прозу «Вещь» печатать любит. Это неудивительно: в Перми много очень интересных прозаиков. Некоторые, как Леонид Юзефович, правда, давно покинули город, но вот Нина Горланова там всю жизнь живет, и уезжать, кажется, не намерена. В этой же книжке журнал опубликовал пьесу Ярославы Пулинович. Драматургия стала тоже неотъемлемой рубрикой. Для Перми, города театрального, естественно и это.

Словом, концепция издания устоялась довольно быстро. К упомянутым уже разделам вскоре добавились воспоминания о пермском андеграунде разных времён (а в андеграунде том успели в своё время побывать и Виталий Кальпиди, и тот же Юрий Беликов, например), и очень важный регулярный блок InMemoriam. Первым в нём вспомнили рано ушедшего Арсения Бессонова. Я когда-то приносил стихи этого автора в уважаемый и старый литературный журнал. Ответили мне примерно в таком роде: «Сколько ему было? Двадцать четыре? Ну, ему и по стихам двадцать четыре, а больше он не вырастет. Кому это надо?». Как видим, к счастью, надо.

В целом журнал устоялся в нынешнем виде. Чуть более половины материалов посвящено пермякам или бывшим пермякам. Диапазон очень широк: от фрагментов нового романа Леонида Юзефовича до дебютной публикации на тот момент школьницы Александры Шиляевой. Рекомендую, кстати, любителям поэзии запомнить это имя, вполне может пригодиться. «Большой Урал» тоже представлен хорошо. Например, представительные подборки Екатерины Симоновой и Елены Баянгуловой, живущих в Екатеринбурге, составлены с любовью и вкусом. Кроме того, регулярная хроника пермских событий, аранжируемая содержательными интервью с гостями города, обзор книжных новинок, опять-таки имеющих отношение к Уралу, часто – материалы о видеопоэзии и вообще о кино. Попытка радикального расширения географии была предпринята один раз и, кажется, носила случайный характер. Блок современной литовской литературы в шестой книжке смотрелся всё-таки немного чужеродно на фоне традиционно сбалансированного номера.

Всего к сему моменту выпущено десять книжек журнала, и можно довольно точно определить основную черту его характера. Я б назвал в качестве таковой ориентацию на *становящуюся литературу*. То есть в первую очередь журнал отражает явления, подлежащие развитию. Либо печатает тех авторов, кто отчётливо влияет на новые поколения уральских литераторов. Горланова, Дрожащих, Юзефович – в каждом случае воздействие может быть отнюдь не прямым, и даже «от противного», но оно есть. Бывают более неоднозначные ситуации. Вот поэт Юрий Асланьян известен давно, но как прозаик он быстро и очень интересно развивается. И пример этот не единичный, хотя, возможно, и самый яркий.

Отдельно хочется сказать про оформление журнала – раз уж мы начали наши заметки с неотменимой важности типографской работы. Во-первых, удачно само название: «Вещь номер один», «Вещь номер два», «Вещь номер три»: будто нейтральный, но какой-то интригующий и важный каталог. Кроме того, полиграфическое решение весьма хорошо, тут спасибо издательскому дому «Сенатор» и его главе Борису Эренбургу. Помните, выходил лет десять-пятнадцать назад в столице «пушкинъ. тонкий журнал читающим по-русски»? Формат «Вещи» на него весьма похож, разве что обложки, хоть и разноцветные, оформлены скромнее. Ну, и содержание радикально разное: «пушкинъ» всё-таки был о литературе, а тут – литература как таковая.

Точно так же на репрезентацию литературы здесь-и-сейчас ориентирован выходящий под редакцией Сергея Сумина альманах «Графит». Совпадает с «Вещью» и периодичность издания – два раза в год. Это, кстати, ещё одно свидетельство об условности терминов «альманах», «журнал» и прочих сходных. История этого издания ещё короче. Дадим слово редактору: «...так получилось, что в Тольятти живут и никуда не собираются уезжать несколько человек, преданных искусству слова. Эти люди почти случайно встретились летом 2011 года и решили объединиться».

Региональная составляющая в «Графите» присутствует; неявным образом он заявлен как издание, посвящённое литературе Среднего Поволжья, но географический охват был весьма широким с самого начала. Уже в первом номере появились авторы от Питера до Астаны, а вскоре состоялась и успешная презентация альманаха в столице. Хотя доминирующей и весьма глубокой нотой первых номеров были всё-таки материалы об истории и текущем состоянии тольяттинского литературного андеграунда. И вот эти-то материалы объясняли очень многое в концепции издания!

Сперва сам главный редактор в статье «Тольятти пишущий» заметил: «Литературный пейзаж города Тольятти описать не так просто. Хотя бы оттого, что не было еще лет 30 назад здесь никакой литературы», а чуть позже, беседуя с ним, поэт, музыкант и художник Михаил Лёзин сказал: «Про Тольятти разговор особый – город возник из ниоткуда, ему, по сути, лет 50 всего, Ставрополь был небольшой городишко. Как полноценный город Тольятти до сих пор ещё не сформировался. В этом есть и плюсы, и минусы. Здесь всё еще бурлят потоки, происходит этакое броуновское движение. Ведь мало построить дома в степи, поселить огромное количество народа. Должно пройти время».

Стало быть, перед редакцией возникла задача не только отражения литературной ситуа-

ции, но и её конструирования. Конструирование это было многоплановым и многомерным. Про географию уже кратко упомянули (а далее она лишь расширялась), но не менее существенны исторические находки. Да, Тольятти – город молодой, но совсем рядом, например, Самара с куда более почтенной историей. И, например, переводы Овидия, сделанные Кирияком Кондратовичем, жившем тогда как раз в Самаре, заставляют взглянуть на развитие русской литературы в регионе чуть иначе. Или вот взятый из архива того же Михаила Лёзина альманах строителей Куйбышевской ГЭС, носивший тривиальное по здешним меркам имя «Волга», являет образец совсем непостыдной литературы, хоть и выпущен в 1956-м году.

Но в основе «Графита» лежит, конечно же, взгляд на актуальное состояние нашей словесности. Средняя Волга – Саратов, Нижний Новгород, Казань – представлена в альманахе предсказуемо хорошо. Заметим: в каждом из перечисленных городов есть свои литературные издания разной степени известности, но подборки Сергея Трунёва или Алёны Каримовой в «Графите» обретают какие-то неожиданные грани. Да и вообще вся литературная Волга, до самых верховьев, отражена интересно. Отметим, к примеру, наблюдения доктора филологии Александра Сорочана «Тверская поэзия как перформанс». Этот материал имеет значение не только узкорегиональное. Ну, хотя б эстетизация жизни, столь разнопланово понимаемая, но, кажется, неизбежная для всех, вступающих в литературу, – вполне универсальный феномен. Да и вся статья о бытовании поэзии в постгуттенберговскую эпоху хороша.

Собственно авторы Тольятти публикуются в «Графите» с заметным поколенческим трендом. Больше всего внимания уделено городским легендам – Айвенго, Лада Дождь... Это естественно и нормально, однако в городе есть довольно много поэтов совсем молодых, сам видел. Впрочем, «другое поколение, другие дела». Может, у ребят свои намерения? Мы ж не знаем. Хотя да: были очень интересные дебютные публикации прозы Виктории Сушко, жившей в Самаре, а теперь чуть затерявшейся в столице. Будем надеяться – временно затерявшейся.

Москва в альманахе представлена на общих основаниях: как один из городов, расположенных на волжских притоках. А вот Урал, лежащий на водоразделе Волги и северных рек, занимает по объёму материалов, похоже, второе место вслед за авторами из Тольятти и Самары. Отчего так? Ну, опять-таки есть и географическое объяснение: та же Пермь формально принадлежит к Поволжскому федеральному округу. Да и трасса М-5, пробежав мимо Тольятти, идёт дальше через Уфу на Челябинск и Екатеринбург. Уфимская литература, кстати, была представлена в «Графите» отдельным блоком, но этот формат как-то не очень прижился. Однако география всё-таки дело третье. Думаю, в подборе авторов сказывается интерес редактора к литературе уральского региона. А интерес этот весьма глубок: просто так, ориентируясь на публикации и мнения экспертов, не найдёшь ведь в Екатеринбурге Машу Кротову: удивительно одарённого и редко-редко публикуемого автора. А Сергей Сумин нашёл.

В свою очередь, чем обусловлен этот интерес? Мне кажется, именно направлением журнала на литературу актуальную. Не декларативно актуальную, придающую основное значение форме или иным внешним признакам, вроде правильного генезиса, а интересную в плане перспектив. Вот смотрим, к примеру, на список книг, рецензируемых «Графитом». В одном номере могут встретиться, например, обзоры сборников Андрея Мансветова (согласитесь, тоже не самый раскрученный пермский автор) «Туки-луки за себя» (Пермь, 2011) и Геннадия Айги «Стихотворения» (Москва, 2008). То есть редакция ориентируется не на время издания и тем более не на принадлежность автора к классикам (хотя бы и к «классикам авангарда»), а на нечто более интересное: на своё видение процесса. Такой подход, конечно, предполагает некоторый произвол, но ведь этим он и интересен!

Итак, мы кратко рассказали про два издания со слабо пересекающимся кругом авторов, издаваемых в разных городах и разных форматах и главное – ориентированных на разные стратегии. «Вещь» отражает суть изменений Уральской поэтической школы в момент, когда школа пребывает на очень интересном этапе своего развития. Теперь ведь уже не важно,

опирался ли миф, созданный Виталием Кальпиди об этой школе, на реальную ситуацию или конструкт стал продуктом мифологии, но выход Энциклопедии УПШ отметил очень важный момент. Это ведь только в футболе смена поколений приводит к болезненной ломке команды, а в поэзии приход новой генерации вносит свежие краски. И вот тут «Вещь», будучи явлением абсолютно самостоятельным, весьма аккуратно и беспристрастно фиксирует появление этой самой новизны. Хотя, конечно, ценна она не только этим.

Альманах «Графит» выполняет иную задачу: формирование региональной поэтики. И, заметим, формирует её не как изолированный объект, но как структуру, встроенную в ткань актуальной литературы. Цель сложная и главное – её достижение займёт годы. Ну, тем, собственно, веселей. Вот что на сей момент у «Графита» реализовано однозначно лучше, так это способ представления в Интернете. Всё-таки сайт «Мегалит» даёт отличную возможность презентации издания с нормальным поиском по авторам и темам. «Вещь» же пока доступна лишь в pdf-версии на сайте издателя. Это печально, хотя и поправимо.

Вот как-то так. Остались, пожалуй, лишь пожелания. То есть самим-то изданиям, кроме дальнейшего развития, желать и нечего. Выбранные ими модусы совершенно различны, но интересны и многообещающи. По крайней мере эти модусы есть, в отличие от многих других изданий, и не только региональных. Хватило бы теперь энергии и хотя б минимальных средств. С главным-то, со вкусом, всё, кажется, хорошо. А вот чего б действительно хотелось, так это десятка, по крайней мере, аналогичных альманахов и журналов из других краёв. Всё-таки с университетской культурой у нас как-то не складывается, её отсутствие придётся заменять личными усилиями.

И уж совсем-совсем прекрасным было б появление пары-тройки столичных и питерских изданий, посвящённых региональным литературам. В виде ли дайджестов, в виде ли научных изданий. Да и «традиционные» журналы, как показывает время, своего потенциала не исчерпали, свободных ниш в этой области предостаточно. Мечты всё это, конечно, ну, так что теперь-то?

Сергей ТРУНЕВ

АРМИЯ ЛИТЕРАТОРОВ В ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПРОВИНЦИИ

Провинция у моря – 2014. Сборник произведений участников IV Международного арт-фестиваля «Провинция у моря». – Одеса – Елтон – 2014; Іллічівськ – Гратек – 2014 – рос. м. – 228 стор.

Некоторые вещи вызывают интерес не потому, что они хороши или, скажем, неизгладимо плохи, а просто потому, что они есть. То есть когда сам факт их существования уже воспринимается как экзотика. Для меня сборник произведений участников IV Международного арт-фестиваля «Провинция у моря» явился как раз такой экзотической вещью.

Нет, я приблизительно способен представить себе, как проходит мероприятие в формате арт-фестиваля... ну, приезжают люди песен попеть или стихов почитать. Напиваются водкой, поют, читают... Есть, соответственно, более или менее представительное, но без вариантов всесильное жюри.

В случае «Провинции» смущает только одно: финальная, т.е. очная часть фестиваля проходила с 29 августа по 7 сентября в Одессе. В связи с чем обращение оргкомитета к участникам на сайте фестиваля до сих пор недвусмысленно предупреждает: «Учитывая напряжённость обстановки, обусловленную событиями последних месяцев на Украине, и недавними трагическими событиями в Одессе, оргкомитет фестиваля обращается ко всем вам с просьбой не нагнетать и без того напряжённую обстановку. Будьте сдержанны и корректны в комментариях и высказываниях». Получается, что война войной, а поэзия по расписанию. Главное – это быть корректным и не нагнетать обстановку. На самом деле я вполне готов согласиться. Мне импонирует позиция, согласно которой искусство должно объединять людей, а не разъединять их. Вопрос только: зачем?

По данным организаторов в фестивале приняли участие «более 360 авторов» (хотелось бы, конечно, увидеть точную цифру) из

17 стран мира. Армия литераторов! Первыми в сборнике представлены творения членов оргкомитета и жюри. Причем представлены не столько творения, сколько члены со всеми их многочисленными регалиями, о большинстве которых (и людях и регалиях) я никогда даже не слышал, но которые оставили более глубокое впечатление, нежели собственно тексты. Итак, люди, регалии (я буду указывать только наиболее экзотичные) и тексты в порядке очередности, попутно отмечая вопиющую неизбитость рифм:

Евгений Степанов (Москва). Среди журнальных публикаций фигурирует «Членский журнал» (Нью-Йорк). Авторская монография «Карманные календари Госстраха» также впечатлила. Текст:

дней опальной нахальной надежды
между *там* и *не-там*
на душе – ведь она без одежды –
отпечатались благость и хлам

Станислав Айдинян (Москва-Одесса). Среди наград – медаль «Профессионал России» за *искусствоведческую деятельность* (курсив мой – ***С.Т.***). Текст:

Крот из норы
Не хочет взгляда в небо,
Пусть птица удивляется ему.

Евгения Баранова (Ялта). Среди публикаций я бы, наверное, не указывал журнал «Лампа и дымоход», но стихи в целом понравились.

И говорили овцы «ба! ба! ва!».
И девочки заслуженно старели.
Росли на гидропонике слова.
Чапаеву мерещился Пелевин.

Ирина Василенко (Ильичевск). Публиковалась в газете «Интеллигент», обладатель специального диплома международной литературной премии «Золотое перо Руси – 2009» (так и хочется спросить, кто такая «Руся»). Текст:

Ты в Зазеркалье, и хрупок воздух,
но кто-то держит твою ладонь.
И кто-то рядом, и все надежно:
свеча не гаснет, горит огонь.

Сергей Главацкий (Одесса). «Родился в Одессе в 1983 году. (...) Автор более 600 публикаций в изданиях Украины, России и дальнего зарубежья». Продуктивность автора внушает уважение. Текст:

Мне снилось, что ты меня бросила,
И – бросила нехорошо.
Мне снилось, что жить мне до осени.
Хотелось немного еще.

Ольга Ильницкая (Москва-Одесса). Как и многие из перечисленных мэтров является членом PEN International (русское отделение) и Южнорусского Союза Писателей. Текст:

В хищном разломе застыла
татарская мышь.
Крымская память как стены без окон
и крыш.

Константин Кедров (Москва). Диплом участника Библейского проекта лауреата Нобелевской Премии Агнона «Книжная Выставка» (Израиль, 2008). Текст:

И в опереттах Оффенбаха
И в музыке волшебной Баха
И в моцартовом озареньи
И здесь в моем стихотвореньи

Кирилл Ковальджи (Москва). Здесь, как и у Евгения Степанова, убивает реально безразмерный послужной список. Текст:

Вот ключи запретные. Смешно.
Для чего они? – открыты двери.
Ни к чему стучать и лезть в окно –
Заплати. Невелика потеря.

Алексей Котельников (Москва). Был докладчиком (! – ***С.Т.***) на I литературной конференции «Связь времен», посвященной творчеству Беллы Ахмадулиной. Текст:

по темно-синей борозде
туманно-вязкой и тягучей

подкралась к огненной звезде
водой беременная туча

Ольга Ксенофонтова (Ильичевск). В качестве определения основных направлений деятельности, помимо прозаика и фотографа, – блоггер. Творчество представлено рассказом, о котором сказать нечего, кроме того, что это рассказ.

Мария Луценко (Киев). Гран-при в конкурсе «Золотой микрофон» в рамках литературной премии «Народный поэт» (г. Москва). Текст:

Откуда бабочки внутри?
И почему их век недолог?
Не говори... Не говори...
Молчи, растяпа-энтомолог.

Александр Петрушкин (Кыштым). Несмотря на длинный послужной список, выгодно отличается от остальных уровнем «сделанности» текстов.

Александр Семыкин (Ильичевск). Лауреат международной литературной премии «Славянские традиции». Стихи мне также показались вполне зрелыми, чего я, откровенно говоря, не ожидал. Текст:

Свято время одуванчиков
с терпким привкусом во рту
сотни раз внушало мальчикам
разбегаться точно ртуть.

Людмила Шарга (Одесса). Автор шести сборников прозы и поэзии. Текст:

Молчать у моря –
с морем говорить,
сорить словами,
рифмами сорить

Ну, что тут скажешь? Стихотворения большей части членов жюри заставили припомнить извечный русский вопрос «а судьи кто?». Разве звания, медали и прочая сопутствующая литературному процессу мишура могут стать знаками качества или свидетельствами наличия литературного вкуса? Я хочу сказать, что поразило меня даже не качество текстов (они просто ничем не отличаются от огромной массы почти таких же текстов), а, скорее, масштабы этой параллельной поэтической провинции со своими армией, законами, наградами, взысканиями и прочим. Этакий экзотический островок мира и благоденствия посреди войны...

Да, кстати, чуть не забыл. После членов оргкомитета и жюри в сборнике представлены финалисты. Только имена и стихи, и никакой дополнительной информации, отчего в голове возникло давно забытое слово «дедовщина». Меж тем, творчество некоторых из них мне показалось, по меньшей мере, любопытным. В силу ограниченного объема рецензии перечислю авторов, стихи которых оставили благоприятное впечатление: Александр Асманов (Москва), Мария Банько (Киев), Виктория Берг (Калининград), Ирина Дежева (Одесса), Юлия Котлер (Керчь), Майка Луневская (Березовка, Тамбовская область), Анатолий Марущак (Херсон), Леонид Поторак (Кишинев) и Елена Росовская (Одесса).

Конечно, на мой взгляд, надо было бы сделать все с точностью до наоборот: стихи финалистов поставить на первое место, в то время как стихи мэтров – следом за ними (а лучше исключить вообще). Ведь фестивали искусства объединяют людей не для того, чтобы некая могучая кучка в очередной раз тряхнула парадными аксельбантами, но для открытия и поощрения новых имен. Организаторам, впрочем, виднее.

Сергей БОРОВИКОВ

КОНТРОЛЬНЫЙ В ГОЛОВУ

Роман Арбитман. Антипутеводитель по современной литературе. 99 книг, которые не надо читать. – М.: ЗАО Издательство Центрполиграф, 2014. – 352 с.

М.О. Чудакова рассказывала, как главный советский зоил Владимир Ермилов, делясь с молодыми критиками богатым кровопускательным опытом, посоветовал: если громишь писателя, то сделай так, чтобы он уже не встал. Литературные киллеры тогда были, просто не

существовало выражения «контрольный выстрел в голову».

Литературных погромщиков во времена Ермилова хватало, а вот те, кто умел изничтожить дурной текст едким словом, сарказмом, пародией, как в предреволюционные годы Корней Чуковский, в двадцатые Михаил Кольцов или Ильф и Петров, перевелись.

Едва-едва жанр стал возрождаться в «оттепель»: царила Наталья Ильина, блистал Леонид Лиходеев и др., но по мере ужесточения цензуры литературный фельетон ушел в самиздат – знаменитые фельетоны-пародии Зиновия Паперного и Сергея Смирнова.

В недавние же годы этим жанром любил и умел заняться разве что покойный Виктор Топоров.

И вот Арбитман. Правда, появился у него соперник, который по части завета «чтобы уже не встал», фору Арбитману дать может. Я имею в виду, конечно Александра Кузьменкова, выступающего под рубрикой «Чёрная метка» в журнале «Урал». Оба нередко топят одни и те же цели на море литературном, и сами не могли разминуться на его волнах – первым открыл огонь Кузьменков, в Литгазете в первом номере этого года. Будем ждать ответного залпа от Романа Эмильевича.

Кузьменков воспользовался тем, что Арбитман имеет родственника по имени Лев Гурский. Но еще Советская власть рекомендовала избегать родственников за границей.

Посыл рецензии А. Кузьменкова заключен в названии «Врачу, исцелися сам...» Критику Арбитману предъявлено то, что многочисленные небрежности, ляпы и безвкусицы, в которых он уличает персонажей своего «Антипутеводителя», легко предъявляемы Льву Гурскому. Цитаты из романов Гурского критик сопроводил цитатами из фельетонов Арбитмана, вспомнив при этом гоголевскую унтер-офицершу. «Из всех ипостасей Р.А. наибольшую антипатию у меня вызывает Лев Гурский...»

Впрочем, Гурского от Арбитмана отделяли задолго до Кузьменкова: «Бог мой, не люблю я Гурского...» (С. Боровиков, Знамя, 1998)

Ладно, здесь, по крайней мере, мне почти все ясно. (Под «почти» скрывается мое удивление успехом романов Гурского у разного круга читателей.)

Итак, «Антипутеводитель».

Четыре раздела с разъясняющими предисловиями автора. Есть еще и общее предисловие к книге. Отмечу между прочим давнюю похвальную склонность критика к самооценкам, к систематизации текстов собственных, а также ему и Гурскому посвященных. Самоиздана (2007) специальная книга, где собраны даже «Выбранные места из интервью разных лет», а еще интервью и рецензии Арбитмана на Гурского и отзывы Гурского об Арбитмане – «свет мой, зеркальце, скажи...» и также: «Лев Гурский глазами критиков», где в кратких отрывках помещены отклики 56-ти (так!) критиков, и даже «Библиография 1994–2006» на двадцати трех книжных страницах!

В одном из обращений к вероятному читателю, размещенному на обороте переплета, автор заметил: «Если вы купите все те книги, о которых рассказывается на этих страницах, то потратите больше тысячи долларов, но сэкономите, если убедитесь, что приобретать эти произведения было совсем не обязательно». Сказанное прямиком относится ко мне: я сэкономил тысячу – большую часть книг, расстрелянных снайперскими попаданиями Арбитмана, я не покупал. Как же мне судить? Во-первых, читал журнальные публикации и с тем, что прочитал, я за редким исключением согласен с критиком. К тому же знаю если не убиенные, так иные произведения попавших в «Антипутеводитель» литераторов. А еще по Булгакову: «– Никаких я ваших стихов не читал! – нервно воскликнул посетитель. – А как же вы говорите? – Ну, что ж тут такого, – ответил гость, – как будто я других не читал?»

Наиболее близки мне суждения о биографическом потоке, который в формате ЖЗЛ и не ЖЗЛ залил наши книготорговые стенды. Создается впечатление, что масскульт, насытившись криминалом, эротикой и дамскими чувствами, переместился в биографический жанр. Здесь Арбитман в своей стихии, правда, с оговорками. Если, скажем, разбор книги о братьях Стругацких исчерпывающ, словно минимонография, то претензии к книге Маши Гессен о математике Григории Перельмане странны. Р. Арбитман сетует, что «факт присуждения премии был почти сразу отодвинут на информационную обочину отказом математика от премии». Но

при чем здесь автор книги, которая, как он сообщает, «по-школярски дотошно» изложила историю доказательства Перельманом гипотезы Пуанкаре. Чего же вам еще? Изложить не по-школярски? А как написать о том, в чем читатель ни ухом не рылом. И уж не венец остроумия – уподобление Перельмана бригадиру Потапову из кинофильма «Премия».

Вообще в этом и в других разделах очень заметно, когда критическим катком как бы уравнивается такая вопиющая стряпня, как книжонка Александра Боброва о Бродском, и добротная работа Сергея Белякова о Льве Гумилеве. Здесь критик явно предвзят. Все начало рецензии отдано издевательству над неудачным, по мнению Арбитмана, названием книги. «С. Беляков поразил нас открытием: Лев Николаевич, представьте, и на самом деле отпрыск Николая Степановича...» Странно, что такой тонкий литератор, как Арбитман, не уловил впечатляюще многозначного смысла названия книги «Гумилев сын Гумилева».

Я истинно восхищен политической подкованностью литературного критика, обозревшего, по его словам, «только двадцать книг» (неужели мало?) разнообразной публицистики. Здесь он едко высмеивает тягу к учительству, овладевающую взявшимися не за свое дело. Но насколько убедительно расправляется Роман Арбитман с книгами Владимира Бортко, Михаила Веллера, Михаила Задорнова, Юрия Полякова, Захара Прилепина, настолько странным и неуместным в этом ряду оказывается Евгений Примаков. Не касаясь даже политической полемики критика с академиком-востоковедом, вроде сомнительного утверждения об успехах «дяди Сэма» на Ближнем Востоке или упреков книге в том, что там выдержан «кривоватый жестяной стилек “Правды” времен Суслова», стоило ли присоединяться к дурно пахнущим телеприемам Сергея Доренко: «Евгению Примакову почеловечески всегда везло. Его политическим противниками порой становились люди, которые могли раскатать врага в лепёшку и закатать в асфальт, а Примаков отделывался тазобедренным суставом». Ах, Роман Эмильевич, и у нас с Вами тоже имеется тазобедренный сустав! Да и «стилек» здесь критика подводит: «раскатать... и закатать».

А следующий пассаж? «Его политические друзья нередко заканчивали карьеру в эмиграции, в Гаагском трибунале или на виселице, а нашего везунчика не потревожил даже районный суд». Что за кровожадность, и почему государственного деятеля должен тревожить районный суд, он что, карманник?

Но вот уж в первых разделах «Антипутеводителя» – «Подставное тело» (беллетристика) и «Куда уехал жрец?» («высокая» словесность) – перед читателем во всей красе Роман Арбитман – блестящий критик, тонкий литературовед, аналитик. – Молодца! – как любил говаривать один не называемый сейчас в Саратове человек.

А каковы заголовки! Вот где завидую коллеге. «Подставное тело», «Наш паровоз, назад ползи!», «Прозектор перестройки», «Мачо в чепчике», «Кладбищенское беспокойство», «Увезу себя я в тундру», «Право на труп», «Концерт для диктофона с оркестром». Под стать им и финалы, которые, как правило, обжалованию не подлежат.

Наталья Иванова, перечислив в своей «Пёстрой ленте» (Знамя, 2015, №1) всех загубленных персонажей книги Арбитмана, взмолилась: «Роман Эмильевич, дорогой, будьте к ним снисходительны». В смысле: кто же останется в текущей словесности, в поле, усеянном мертвыми костями?

Но так ли уж смертельны литературные расправы Арбитмана? А то глядишь, казненный поднялся, обтер кровь, зализал раны, а то и голову отрезанную на место приладил, и – кряхтя отправился к компьютеру приниматься за привычное дело свое...

Может быть, это в стародавние ермиловские времена контрольный в голову был смертелен, а сейчас – как в кровавых сериалах, где не успели персонажа прикончить в одном, он уже воскресает в другом, ведь актёров «с медийными лицами» не так уж много, как и писателей с тусовочными-премиальными именами. Арбитман с Кузьменковым не смогли их поделить. Оба взялись за Михаила Елизарова, Александра Иличевского, Захара Прилепина, Юрия Буйду, Виктора Пелевина, Антона Понизовского, Эдуарда Лимонова, Павла Санаева, да не по разу. Скажем, у саратовского критика есть особо любимые персонажи: трижды

он написал о Марининой, Устиновой, Иличевском, Радзинском, Гришковце, дважды об Акунине, Лукьяненко, Тополе, Елизарове, Пелевине, Проханове, Веллере, Задорнове, Лимонове, Полякове, Прилепине, Раззакове. Так что, слава Богу, не 99 душ загублено в «Антипутеводителе», а поменьше.

В заключение две минимальных читательских претензии к книге. Не указывается объём и год выпуска рецензируемых изданий. Правда, первое компенсируется тем, что частенько сам автор сообщает про объем, а вот отсутствие года издания наводит на размышления – может быть, книжечки давно и в продаже нет...

Вячеслав ЛОПАТИН

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ БОГАТЫХ

В. Н. Шараев. Волга. Путешествие от Москвы до Астрахани: Путеводитель. – Саратов: ООО «Волга», 2014. – 276 с., илл.

Из аннотации: «Существовавшие ранее подобные путеводители давно устарели, и автором была предпринята беспрецедентная попытка восполнить этот пробел».

А предшествовали нынешнему изданию – два авторских, оба 2006 года выпуска; в последнем из них расширен список туристических агентств (без финансовой поддержки заинтересованных в туристическом бизнесе фирм книги бы не вышли).

Безусловный интерес к теме Волги позволил издать и третий вариант «Путеводителя» – снова уточненный, расширенный, но уже в дорогом полиграфическом исполнении (попутно отметим высокий уровень работы издательского коллектива ООО «Волга»). Последнее издание носит подарочный характер и в большей степени ориентировано на состоятельного путешественника.

Обратить внимание читателя хочется на источниковедческий характер путеводителя: даются исторические сведения, а не только описания современного состояния маршрута. К сожалению, в шикарном издании не поместилась библиография использованной литературы – более 70 наименований.

Автор, Владимир Никитич Шараев, не профессиональный историк – энтузиаст-любитель, как и его дядя, Г.В. Шараев. Исток интереса к Волге заложен у Владимира Шараева детскими впечатлениями – дядя изготавливал макеты ходивших по Волге судов, (макеты хранятся в разных музеях страны). Утвердил интерес зрелого уже Владимира Шараева – Герман Генрихович Шенеман, человек исключительный: геолог, знаток волжского пароходства, писавший статьи на немецком языке в газету поволжских немцев «Wolgazeitung», автор любительских документальных кинофильмов о Волге, страстный путешественник. Без путешествий не состоялся бы и Владимир Шараев – моряк, альпинист, к тому же фотограф: его лекции с показом собственных фотографий всегда собирают большую аудиторию. Он сумел заинтересовать научную библиотеку Саратовского университета (И.В. Моченцова), архив Радищевского музея (И.А. Жукова), саратовских исследователей Волги (В.М. Цыбин) и Саратова (братья Семеновы).

Фотографии в путеводителе как современные (исполненные автором и его друзьями), так и исторические.

О чем можно сожалеть: путеводитель украсили бы репродукции картин художников, живших на Волге. Владимир Шараев в путеводителе называет имена, среди них в первую очередь следует сказать о Борисове-Мусатове, опередившем свое время настолько, что современники-земляки его не оценили: знаменитые картины, исполненные в Саратове, не нашли себе места в Радищевском музее – экспонируются Третьяковкой, Русским музеем. Предстоит заново открывать Борисова-Мусатова – сто лет спустя после смерти художника московские искусствоведы обнаруживают, что уроки Борисова-Мусатова и его последователей, «саратовской школы», лежат в основе русского авангарда... В путеводителе просто-напросто не хватает репродукций живописцев Павла Кузнецова, Петра Уткина, Кузьмы Петрова-Водкина, скульптора Александра Матвеева. Среди писавших Волгу особо следует назвать на десятилетия вычеркнутого из истории российского искусства (сегодняшние исследователи ставят его имя в одном ряду с Левитаном), репрессированного заслуженного художника Немецкой республики Якова Вебера.

Но увеличение количества иллюстраций и, соответственно, объема книги – это путь к удорожанию издания. А хочется предположить и другой, «легкий» вариант. Путеводитель по Волге потребен не только состоятельному покупателю, но и «простому» путешественнику (скажем, удешевленные издания, в том числе «раскладушка» с картой реки). А если уж совсем мечтать – видится международный проект «Миссисипи – Волга»...

Елена САФРОНОВА

СОЮЗ ЕВТЕРПЫ И ХАРОНА

Ольга Дернова. Человец. – Екатеринбург: Евдокия, 2013. – 48 с.

Борис Кутенков. Неразрешённые вещи: Стихотворения. / Составитель: Наталья Попова. Предисловие Бахыта Кенжеева. Послесловие Людмилы Вязмитиновой. – Eudokiya, Екатеринбург–Нью-Йорк, 2014. – 76 с.

Недавно мне довелось прочитать пять книг поэзии, выпущенных уральским издательством «Евдокия» в 2013–2014 годах. Это были «Человец» Ольги Дерновой, «Похороны солнца» Сергея Комлева, «Неразрешённые вещи» Бориса Кутенкова, «Послесвеченье» и «Женщины и самолёты» Сергея Слепухина (вышедшие с годичным интервалом).

Чтение, признаться, ввергло меня в состояние когнитивного диссонанса, на который критик, по-хорошему, не имеет права. Но что поделать, если кроме профессионального взгляда и аналитического подхода всякий литературный критик обладает и качествами характера, не позволяющими ему забыть о своей человеческой составляющей?..

Две ипостаси – литературного критика и впечатлительного человека – пришли в неразрешимое противоречие, пока я знакомилась с упомянутыми пятью книгами «Евдокии». Критик был удовлетворён художественным уровнем поэзии и качеством текста всех пяти авторов, обрадован тем богатым арсеналом приёмов, которые они использовали для достижения максимального воздействия на читателя. Но эмоциональное воздействие было для меня психологически тяжело, ибо весьма негативно – и переживаний не смогли пересилить эстетические свойства текстов.

На мой взгляд, книги этих авторов апеллируют к извечному страху человека – боязни смерти, осознанию собственной физической конечности, которая сильнее проявляется у материалистов, чем у верующих. Но отношения «нашего человека» с верой и религией сегодня весьма запутаны, в том не вина, а беда наша, и потому инстинктивные страхи часто выходят на первый план перед духовными категориями.

С этих позиций мне и предстали упомянутые сочинения. В пяти книгах поэтов «Евдокии» смерть явно доминирует над любовью, а все прочие чувства проигрывают ощущению собственной смертности. «Неужели я настоящий, и действительно смерть придёт?» – спрашивал Некого О. Мандельштам. Авторы «Евдокии» твёрдо знают ответ на вопрос, мучивший акмеиста.

Для пояснения рассмотрим подробнее книги двух авторов: Ольги Дерновой и Бориса Кутенкова – как «мужское» и «женское» лица стихотворной тенденции, обращённой к непрочности бытия и неотвратимости ухода. Тенденция эта, безусловно, не нова, и я имею в виду нынешний пласт «текущей» поэзии, а не весь массив подобных произведений. Интересно, что критик Людмила Вязмитинова, написавшая к книге Бориса Кутенкова солидное послесловие, видит в «Неразрешённых вещах» «два действующих лица: “он” и “она”, поэт и его муза». Вязмитинова объясняет: «Нерв этой книги, эмоциональное напряжение ...задано внутренним конфликтом ...между поэтом и его музой». Дуалистичность восприятия оправдана, коль скоро явилась не мне одной. Просто я экстраполирую наблюдение Людмилы Вязмитиновой, считая, как мне кажется, не без оснований стихи Ольги Дерновой и Бориса Кутенкова схожим художественным явлением, объединённым общей «музой».

«Человец» Ольги Дерновой (напомним, ставший лауреатом премии Центра «Русский Гулливер» в номинации «поэтическая книга» в 2014 г.) и эстетически, и духовно весьма мрачен. В нём безрадостный, если не инфернальн-

ный пейзаж, в котором едва ли не центральное место занимают тяжёлые «каменные» образы печи (так и хочется добавить, адской) и кирпичей:

Как страшно дорога кричит в ночи!
Как страшно молчит земля,
пока зелёные кирпичи
подвозят ей тополя.

Засыпан город крошками от печенья,
но съедено в нём зерно.
Не бездна смотрит в бездну, а ночь-пещера –
на печь-окно.

И пока в ночи разносится каждый чих
и в пустой печи одни кирпичи пекутся,
ты стоишь, держа в руках огонёк свечи,
указатель курса.

(ясно, что свеча эта ничего не освещает, никому путь не указывает, а гаснет, становясь обычной «палочкой восковой», и туманные символы складываются в ритуал христианских похорон).

Смерть у Ольги Дерновой предельно материализована, она физически присутствует в её поэтическом мире (поэтому резонно задуматься, в каком из миров – здешнем, повседневном, или в вымышленном и абстрактном – дислоцируется поэзия?):

Так объясняя, садится смерть
в забытые Жигули.
И три эльфийских кольца Москвы,
и сумрака мумиё,
и слабый трепет сырой листвы –
поддерживают её.

Это стихотворение вроде бы максимально приближено к реальности, видимой из окна, точными деталями наподобие «Жигулей», которым меж тем приданы несвойственные им функции.

апрель призывает к борьбе за права
усопших и мёртвых
они прорастают, и с виду трава,
а кто-нибудь мнёт их
и воздух расчёсан зудящей травой
до розовых плешей
товарищи, мёртвый – такой же живой,
но только сомлевший

А вот эти строки – хроника весеннего пробуждения – абстрактны: такой апрель может царить в Подмосковье, на Урале, на Марсе, в Зазеркалье, и даже «там, в подземной комнате. Там, неизвестно где», используя очередную метафору поэтессы. Впрочем, кажется, можно догадаться, где именно в подземной комнате – в преисподней, на изнанке земли. «Изнанка» – образ не случайный: у Ольги Дерновой она представлена в стихотворении с красноречивым названием «пропажа»:

...Когда-нибудь все липы подрастут.
И, проходя бульваром духоманным,
мы пропадём на несколько минут,
как пропадает мелочь по карманам.
Мелькнёт с изнанки чёрная дыра.
Душа качнётся, как воздушный шарик.
Но вряд ли, справедлива и добра,
рука Творца под липами зашарит.

Здесь то же сочетание почти хроникёрской достоверности в изображении мирного городского пейзажа с абсурдным допущением в него фантазийного элемента, довольно-таки зловещего – «минутной жажды гибели по Фрейду», не то любви, не то смерти... куда же без неё?.. Вообще, в поэтическом инструментарии Ольги Дерновой искажение привычных форм (изобразительных, а не текстовых) и одухотворение бытовых предметов и заурядных ситуаций неким мистическим смыслом занимает, на мой взгляд, если не главное, то одно из лидирующих мест. Естественное качество для поэта, однако мистика Дерновой чаще пугает, чем завораживает.

Особое видение Дерновой распространяется и на людей. Так, заданный заглавием книги «человец» – это «человек», но необычный:

На себя посмотрел человек
в зеркало возле ванной
и решил: я теперь человец
странный.
Я теряю образ и вес,

вот такая картинка.
Я пока ещё человец,
а потом невидимка.

Антропософское название – не только торжество человеческого начала сборника, но и, прошу прощения за грустный каламбур, указание на его же «человеческий» конец – неотъемлемую причастность человека смерти. Однако, как и в жизни, до смерти человек успевает многое сделать и прочувствовать. И Ольга Дернова успевает «нагрузить» своих лирических героев то тяготами дел («стволы подсекаешь / и пряди сдуваешь со лба / не трогая корни» – речь о самой трудной работе – словесном творчестве), то обязанностью «пускать трели по газонам» и «тихонечко искрить», то «дрожаньем над памятью», то, напротив, утратой памяти, впадением в маразм, а заодно ипохондрией и паранойей.

Справедливость требует заметить, что в стихотворной жизни лирических героев Ольги Дерновой есть не только чёрные, но и светлые моменты и полосы. Скажем, светлой картинкой поэтесса воспринимает (а вместе с ней и читатели) ежегодное чудо – наступление весны.

Что за сила в маленьком рычажке?
Что за соки варятся в снежном чане?
Что за блик трепещущий в роднике
зиму на лето
переключает?
Пятаки, горящие на полу, –
словно клад, который никто не выкрал.
И земля уходит к святому Вклу
из-под ломких пальцев
святого Выкла.

На фоне постоянно звучащего «гимна смерти», апокалипсиса, «лежания в гробах», конкретно обозначенного в нескольких стихотворениях, выделяются пейзажные стихи без двойного смысла, «простодушные» и милые, вроде сельской зарисовки:

Тепло, но стул, рассохшийся в тепле,
поскрипывает чашечкой коленной.
Скопленья крупных капель на стекле
напоминают зрелище вселенной.

Смотри в окно, не открывай на стук.
Ведь это дождик. Он сегодня выпал,
как будто по газетному листу
душистую смородину рассыпал.

За них хочется сказать Ольге Дерновой большое человеческое спасибо. Жаль, они встречаются так редко, что не становятся ни тенденцией, ни даже внятным циклом... В основном же разнообразие жизни лирических героев поэтессы сводится к «memento more»:

Когда-нибудь во мне закончится завод,
и внутренний советчик
посмотрит на каштан и тихо намекнёт,
что пуст естественный подсвечник.
(...)
Кончается во мне заводик мой свечной,
включается фонарик.

Конечно, смерть можно сравнивать и с фонариком – светом новой, вечной жизни – и всё-таки от её ощущения автор никуда не уходит. Тем более что это последнее стихотворение в книге. За ним – точка и выходные данные... нечем заслониться от впечатления полного финала.

Книга Бориса Кутенкова «Неразрешённые вещи» «доминирует» над книгой Ольги Дерновой: она объёмнее по листажу и содержанию (толще «Человеца» чуть ли не вдвое), да ещё и серьёзнее оформлена: у неё есть предисловие от Бахыта Кенжеева и послесловие от Людмилы Вязмитиновой. Столь фундаментальный научно-справочный аппарат как-то зрительно «отделяет» сборник Бориса Кутенкова от прочих поэтических изданий «Евдокии», и невольно задумываешься, почему. Это «особая» для издательства книга, или особая предусмотрительность автора?.. Но благодаря такому построению сборника у читателя есть возможность сравнить своё впечатление с двумя авторитетными мнениями. Они оба доброжелательные (но без откровенных комплиментов) и аналитические, то есть критики поэзии разбираются в поэтической механике своего молодого коллеги. Людмила Вязмитинова вникает в эту материю глубоко и профессионально: отмечает принадлежность поэтики Бориса Кутенкова «к «срединному течению»,

которое можно называть «традиционалистским» и которое вбирает в себя результаты экспериментов», постоянно идущих в культурном пространстве» в течение всего XX и начале XXI в. Тут и указание на «мозаичность» текстов Кутенкова, и констатация его прототипов текстов (Анненский, Блок, Гумилёв, Маяковский, Окуджава, Воденников, Константин Кедров, Вадим Месяц и т.д.), и «тяготение к метареализму», и «лёгкая ирония и несложная концептуальная игра».

А вот Бахыт Кенжеев быстро «сходит с дистанции»: его предисловие – две странички текста, явственно «утомляющегося» от литературоведческих терминов и переходящего на обыденный разговор по душам: «О чём эта книга – сказать не могу. Для этого её следует прочесть. Хотя, с другой стороны, автор проговаривается о своей главной теме:

Жизнь, которая так хотела
всего лишь летать, как птица.
И глядит в темноту на последнем свету,
не умея ни плакать, ни злиться».

Такими вот общеупотребительными словами и разговорными сравнениями Бахыт Кенжеев в предисловии подчёркивает главную тему Кутенкова – как старший товарищ её понимает, точнее, прочитывает: «Так вышло, что жизнь у каждого из нас всего одна. Она лежит в жестяной коробочке, как лекарство от смерти. Потрясёшь – громыхнёт. И коробочка у каждого своя, и лекарство своё. А открыть, что там, собственно, внутри, – не удаётся... Можно было бы отметить, что поэзии Кутенкова свойственна существенная метафизичность, не будь эта фраза столь наукообразной. Скажем проще: ей свойственно пристальное внимание к самым главным вопросам бытия. Жизни, любви, смерти, одиночеству». Возьмём на карандаш, что тема смерти уже заявлена. Хотя Кенжеев как будто не хочет на ней зацикливаться, одним из первых тезисов выдвигая: «Магистраль стихов Бориса Кутенкова – наверное, такая же, как у других настоящих поэтов. Наверное, её стоило бы назвать *дорогой к свету*».

Действительно, есть в книге Кутенкова уже процитированный выше «последний свет», есть и дистих «Обретший свет»:

I.
Свет, упавший из тишины дворов,
человек, заблудившийся на пути к себе.
Если это песня, – сыграй, будь хорош,
на солёной дудочке, ледяной трубе.
Балалайку, струнную тишину,
леденцовое «дай закурить» на пути
во тьму.
Две беспалых симфонии сигарет.
Если нужно – я всё прощу, никого
не пойму,
как разучившийся радоваться ничему –
и тут же обретший свет.

II.
Свет путеводный, горбун, деревянный
фонарь.
Свет путеводный на зимней дороге.
Падает, падает боль в ослепительный ларь, –
пусть возродится немного.

Нагнетание отрицательных местоимений и «отрицательных» же существительных – тьма, тишина, лёд, – в «Обретшем свет» и прямо поименованный «последний свет» задают ту же ассоциацию, что свечи, печи, гробы и Апокалипсис Дерновой. Собственно, это далеко не единственный пример создания эмоционального поля «коня блед» – не зря же Кенжеев в предисловии подготовил читателя к кутенковской тематике смерти.

Ассоциация «последнего света» оправдывается на первой же странице книги «Неразрешённые вещи»:

Так свет и ужас говорят,
согласные друг с другом;
со звуком спорит звукоряд,
лопата спорит с грунтом;
на несколько часов подряд
дождём заряжен водоём;
так смерть гласит через меня
вседневным словарём.

Присущие любому автору стихов лирические посылы у Бориса Кутенкова тоже встречаются – но даже когда он разговаривает будто бы с возлюбленной, а может, просто с душевной собеседницей или собеседником (а собеседники его часто уже покинули сей мир – Борис Рыжий, Айгуль Исламбекова):

что ты солнышко ищешь во мне упёрто
теребишь фэйсбучишь по пустякам
хочешь знать как живу шелестит обёртка
надувается бабл-гам
всё глагольней воздушней всё тоньше
стенки
чтобы ломаной спицей легко проткнуть
закурить доиграв до финальных серий
и о мыльном легко всплакнуть

или

приходи устать от меня вдвоём,
поиграть с погасшим вчерашним днём.
разожги обычный, не мировой
или просто постой за моим плечом, –

читатель не может быть уверен в том, что визави поэта – не женщина в белом и с косой на плече:

совпади со мной, проруби окно,
проруби окно – прорасти крыла.
видишь, сдуру солнечная гора
всю прихожую обняла?..
говоришь – проглотила – сожгла дотла,
говорю – прорастила – и умерла.

Ибо смерть в стихах Бориса Кутенкова если не столь же частая, как у Ольги Дерновой (его поэтический мир весьма густо населён, тогда как у Ольги в нём больше пустот и пейзажей, но когда в них появляются фигуры, это почти непременно данс-макабр), то столь же почётная гостья:

рельсы сходятся реки расходятся
смерть на полке как дева ничком
в бесконечное зеркало смотрится
пассажир на излёте ручном
(...)
что осталось почуять по запаху
пункт конечный надежд и причуд
докатиться и замертво за-мерт-во
в порученья последний приют

«Последний» – одно из излюбленных слов Бориса Кутенкова, но оно далеко не единственное служит главной идее поэта. Метафорически и семантически «Неразрешённые вещи» сводятся к одной и той же парадигме: это символика смерти, иногда, для разнообразия – гибели:

Раз удар топора – и заводятся песни
блатные,
два удар – зацветают цветы неживые
и танцуют кресты у постелей случайных
подруг.
А потом – ничего: обрывается страшная
плёнка...

висит гранат – человек растёт
упал гранат – человек убит

Свет, который вдохновил Бахыта Кенжеева, в стихах Кутенкова фигурирует двусмысленно. Например, в стихотворении «Отходной гудок» свет действует в том же смысле, что в книге Роберта Моуди «Жизнь после жизни» – оно написано от лица умирающего в больнице человека:

всё, что видел я, – бесконечный свет,
тёмный свет одного лица.

А иногда поэт применяет как художественный приём богатую полисемию слова «свет»:

на красный свет гуляй, душа,
вразвалочку по стрёмным линиям.
(...)
и, как безумный полиглот,
в последний раз ночную улицу
с того на этот перейдёт.

В этом контексте и трамвай из цикла «Трамвайные голоса» становится модификацией ладьи Харона. Ведь *«кончается вагон»* (курсив авторский).

При всей индивидуальности *ощущения смерти* человеком поэты Ольга Дернова и Борис Кутенков воспринимают её и трансформируют в поэтический слог и систему образов весьма похоже – что даже удивляет, потому что оба автора явно заботятся о сохранении, приумножении и даже культивации своей творческой самобытности. По своему настрою лирики, высокопарно выражаясь, служители Евтерпы, они обращаются мыслью к другим

мифологическим персонажам – Плутону либо Харону. «Мужское» и «женское» лица этой – прибегая к выражению Людмилы Вязмитиновой, метареалистичной – ветви поэзии скорее схожи, чем характерно различны. Может быть, потому, что, как в известной пословице, «смотрят не друг на друга, а вдвоём в одну сторону».

Сергей ШИНДИН

ОТРАЖЕННЫЕ В СТА ЗЕРКАЛАХ...

Акмеизм в критике. 1913–1917 / Сост. О.А. Лекманова и А.А. Чабан; вступ. ст., примеч. О.А. Лекманова. – СПб.: Изд-во Тимофея Маркова, 2014. – 544 с.

Ситуация, сложившаяся сегодня в том направлении филологической науки, которое занято изучением «серебряного века» – литературы, в частности, и всей культурной традиции первой трети 1900-х гг., – позволяет говорить о наступлении нового этапа освоения архивных, малодоступных и выпавших ранее из поля зрения исследователей источников. После явно пережившего свой пик в 1990-е – 2000-е гг. процесса их активной публикации, заставлявшего говорить о затянувшемся информационном взрыве, появившиеся материалы неизбежно требуют систематизации по нескольким критериям. Во-первых, это обязательное обобщение с последующей внутренней градацией новых данных по каждому конкретному автору, литературному объединению и художественному направлению и, во-вторых, их объединение, упорядочивание с уже существовавшими в открытом научном доступе сведениями с последующим включением полученных результатов в самую широкую культурно-историческую перспективу. В наибольшей степени это касается тех, кто прежде, не относясь к уже «освоенным» наукой фигурам, по каким-либо причинам, в том числе и идеологическим, не стал полноправной частью активного исследовательского оборота, в лучшем случае оказавшись на его периферии или полностью исчезнув из поля зрения.

Сказанное в полной мере применимо к тому явлению, которое осталось в мировой культурной традиции как русский акмеизм, осталось, как это часто бывает с подобными творческими образованиями, не из-за особенностей мировоззренческих и художественных принципов, постулируемых школой, а из-за высоких достижений в поэзии и прозе ее главных представителей – Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама и Николая Гумилева. Но тот историко-литературный фон, на котором происходило становление и развитие авторов подобного масштаба, неизбежно требует не меньшего понимания и изучения, чем случаи с фигурами второстепенными и маргинальными.

Именно на решение подобной задачи направлен выход в свет рецензируемого сборника, по сути своей, являющегося первой антологией критического восприятия и освоения акмеизма от момента его возникновения до формального исчезновения из общественной перспективы и художественного ландшафта России 1910-х гг. Трудно себе представить, какой объем периодики тех лет должен был быть просмотрен и обработан, чтобы на свет появилось это издание. (И трудно не вспомнить в такой связи гумилевское: «О, пожелтевшие листы...»)

В предисловии к книге «Акмеизм в зеркале критики», далеко выходящем за пределы жанра и, по сути дела, представляющем собой академическое научное исследование (которое по истории акмеизма так и не написано), автор-составитель О.А. Лекманов, признанный специалист-мандельштамовед и знаток «серебряного века», совершенно ясно определяет цели издания: «сегодняшняя наша задача заключается не в том, чтобы ответить на вопрос: “Что́ такое акмеизм?”, а в том, чтобы попытаться вникнуть в суть полемик вокруг акмеизма в критике 1912–1917 годов» (с. 13). Именно с этой целью в сборник включены 157 текстов, воссоздающих ту атмосферу скрытого противостояния и прямого сопротивления, которая сопровождала попытку Гумилева открыть новую страницу русской поэзии. И здесь трудно будет согласиться с Мандельштамом, в середине 1920-х гг. утверждавшим: «Нет, никогда, ничей я не был современник...».

Надо признать удачей авторов-составителей отказ от комбинирования этих от-

зывов (а это рецензии, газетные заметки и репортажи о выступлениях на различных мероприятиях, тексты самих этих выступлений и собственно литературоведческие работы) по «цеховому» признаку». Такой подход, разумеется, позволил бы проследить причины и формы того, что принято называть литературной борьбой (от привычной полемики до открытого противостояния), но вряд ли способствовал бы пониманию самого широкого общественного резонанса, которым сопровождалось возникновение и развитие акмеизма.

Исходя из объема публикуемого материала, составители благоразумно отказываются от каких-либо попыток его интерпретации, ясно понимая едва ли не бесконечность такого начинания во времени. Как сказано в предисловии, «почти все газетные и журнальные публикации, в совокупности составившие нашу книгу, не отличаются особой глубиной и тонкостью анализа акмеистической поэтики. Их ценность в другом: читая эти тексты, мы получаем возможность взглянуть на акмеизм глазами современников, являвшихся прямыми адресатами акмеистических манифестов и стихов. Кроме того, едва ли не каждая из републикуемых нами статей может считаться фактологическим микрофрагментом еще не написанной истории акмеизма» (с. 23).

Читатель при этом получает не статичную констатацию уже готовых оценок современников, а реальную, динамически развивающуюся модель историко-литературного процесса в его хронологической перспективе. Полнота такой картины и репрезентативность отражаемых ею объективных и субъективных факторов естественно следует из специфики того яркого, но недолгого периода, когда художественная практика акмеизма одновременно являлась и новаторским шагом в культурной жизни, и неизбежным раздражителем для читательского сознания.

(Успешный опыт такого рода «компилятивных» публикаций связан с именем Мандельштама, когда в 1990 г. в академической серии «Литературные памятники» вышел в свет том, посвященный его первой книге стихов «Камень». Издание, подготовленное на самом высоком профессиональном уровне (над ним работали такие корифеи отечественного мандельштамоведения, как Л. Гинзбург, А. Мец, С. Василенко и Ю. Фрейдин), включало в себя едва ли не все рецензии, сопровождавшие прижизненные издания мандельштамовского сборника.)

Авторы, присутствующие в антологии, настолько разнообразны по своим мировоззренческим принципам и художественным ориентирам, что любая попытка «систематизации» окажется условной. По значимости с культурно-исторической точки зрения к первой группе можно отнести оценки, данные представителями творческой среды, уже занимавшими в ней главенствующее или заметное место – поэтов-современников, общественных деятелей, ученых и критиков. Это те отзывы о дебюте акмеистов, которые оставили В. Брюсов, Г. Чулков, Д. Философов, Р. Иванов-Разумник, В. Львов-Рогачевский, К. Чуковский, А. Луначарский и др. Следующую группу образуют публикации более молодых и во многом более активных участников литературного процесса – В. Ходасевича, Б. Садовского, Г. Иванова, В. Шершеневича, И. Эренбурга, С. Боброва. Отдельно следует назвать тех авторов, кто в разное время и в разной степени был близок «Цеху поэтов» и поэтам-акмеистам – Н. Недоброво, Е. Зноско-Боровский, Вл. Гиппиус, Д. Выгодский, Л. Рейснер, Д. Цензор, А. Левинсон, Инн. Оксенов; сюда же можно отнести и опубликованные в сборнике рецензии Гумилева и Городецкого и завершающую книгу в статусе эпилога статью-манифест Мандельштама начала 1910-х гг. «Утро акмеизма». Современная научная мысль того времени представлена именами В. Жирмунского и Б. Эйхенбаума, также входившими в круг общения акмеистов и оставившими исследования, не теряющие свою актуальность и сегодня. Неназванными в этом ряду оказались лишь малоизвестные, начинающие и анонимные авторы (книга не содержит комментария, а потому иногда понять, кто скрывается за псевдонимами и инициалами, практически невозможно).

Разумеется, данная градация весьма далека от совершенства и не дает исчерпывающей картины происходившего вокруг акмеизма броуновского движения идей и коловращения

оценок. Важнее тот факт, что теперь и у специалистов-филологов, и у заинтересованных читателей есть прекрасная возможность своими глазами увидеть то, каким противоборствующим встречным движением и доброжелательным сопровождением одновременно были окружены дебют и становление акмеизма, наравне с символизмом и футуризмом ставшего одним из краеугольных камней литературной составляющей «серебряного века». Об этом О.А. Лекманов прямо говорит в финале предисловия к антологии «Акмеизм в критике: 1913–1917»: «Трудно и даже невозможно было бы собрать в одном томе все печатные суждения современников о русском символизме и футуризме. Но попытаться сделать это для статей и заметок об акмеизме можно и нужно. Первым подступом к такой работе мы хотели бы считать эту книгу» (с. 23).

А поскольку шаг этот сделан, и сделан на самом высоком профессиональном уровне, почти преступным кажется тираж сборника – 300 экземпляров. «Немногие для вечности живут...»? Впрочем, в одном из последних своих стихотворений Гумилев оставил право высокого суда не современникам:

«Лишь небу ведомы пределы наших сил,
Потомством взвесится, кто сколько утаил...»

Иван КОЗЛОВ

ВЕРШИНЫ И/ИЛИ БЕЗДНЫ

Прощай, речь (реж. Жан-Люк Годар)

К Годару трудно привыкнуть, даже если посмотреть большинство его картин. Сюжет, визуальный ряд, звук, монтаж, ритм, актерская игра – всё, буквально всё может дразнить, раздражать или заинтриговывать.

Последняя лента (приз жюри Каннского фестиваля и приз «Cannes' Palm Dog Award» для собаки Рокси) не стала исключением. Если Годар и захотел бы удивить зрителя, он снял бы что-то очень традиционное. «Прощай, речь» начинает мерцать значениями уже на уровне названия («Adieu au langage»), на это обратил внимание сам мэтр в одном из интервью – то ли прощание, то ли приветствие, имеется в виду то ли язык, то ли коммуникация вообще.

Фильм снят в 3D-формате, и Годар не мог не использовать и эту технологию в плане ее возможной деконструкции.

Отметим, что визуальный ряд с его буйством и непредсказуемостью кажется резко противоположным звучащему тексту, который может представиться кучей глубокомысленных банальностей. Но дело в том, что это противопоставление по контрасту, во-первых. Французская литература и философия традиционно афористичны – в-вторых. И, в третьих, у нас, увы, не всегда на слуху оригинал высказывания, с которым играет Годар, – то издевательски каламбуря, то переосмысливая и комментируя (список цитат в титрах едва ли не длиннее перечисления всей киногруппы). Ну, например, если бы мы смотрели в 3D-очки, мигая глазами попеременно, картинка представляла бы собой перевернутое изображение человека, да еще без головы, а текст был бы приблизительно таков: «– Мой дядя самых честных правил... – А как насчёт тётушки?»

Ида (реж. Павел Павликовский)

Черно-белый фильм польского режиссера стал фестивальным фаворитом прошлого года. От поляков мы традиционно ожидаем католической темы или хотя бы подтекста, как в фильмах советского времени (Кшиштоф Занусси, например).

«Ида» рассказывает о послушнице, которая собирается стать монахиней, и перед этим ее отправляют на короткое время к родственникам. Оказывается, что Ида – еврейка, что живы люди, которые причастны к смерти ее родителей, что тетка, которая ее воспитывала, имеет прямое касательство к репрессиям сталинского периода. В общем – прошлое раскрывается как бездна, в которую только успевай вглядываться.

Да и соблазны современного мира – вот они, прямо перед тобой, попробуй на вкус. Ида пробует – и не отказывается от своего выбора.

Прощение – ключевое слово этого фильма. Несчастные пейзажи и потасканные декорации как бы взывают о милосердии. Мир не то чтобы во зле лежит, это даже не обсуждается, он печален и некрасив. Чтобы отказаться от мира, нужно его принять таким, как он есть, и именно это парадоксальным образом снимает все противоречия.

Визуальный минимализм Павликовского чудесным образом переносит нас не только во времена действия ленты – 1960-е, но и воспроизводит алфавит киноязыка тех лет. И получается, что мы превращается и в зрителей тех лет. Но опыт, накопленный за полвека, – и социальный, и метафизический, и опыт восприятия кинофильмов – превращается в своего рода будущую ренту, которую мы с удовольствием и с пользой тратим во время просмотра «Иды».

Левиафан (реж. Андрей Звягинцев)

Об этой картине столько написано, что можно лишь примыкать к тем или иным рецензентам. Отметим лишь, что Звягинцев уверенно двигается от притчи с условной социальностью («Возвращение», «Изгнание») к социальным сюжетным конструкциям, построенным на притчевом фундаменте («Елена», «Левиафан»).

Поражает количество отзывов на этот фильм – кажется, возвращаются времена, когда общество с упоением обсуждает художественные произведения. Пока – только фильм, но, может быть, скоро дело дойдет и до прозы с поэзией. С одной стороны, это хорошо, публика хоть смотрит что-то стоящее, с другой – вызывает опаску. Уж очень памятны времена, когда текст становился оружием для одних и мишенью для других.

Обидно и досадно, что ключевое слово полемики – «Оскар». Мы уже писали о том, что эта кинопремия ничего особенного по гамбургскому счету не представляет. Ну, лучший фильм на иностранном языке, и что? В десятках стран есть свой фестиваль и такая премия. Это не более чем констатация значимости ленты для данной кинематографической территории. Международные кинофестивали (Канны, Берлин, Венеция) – гораздо более показательны и почетны, нежели провинциальный «Оскар».

Так что получит «Левиафан» эту награду или нет – неважно. Фильм всё равно останется таким, каким он к нам пришел – торжественным в своем мрачном величии и дающим надежду именно благодаря абсолютной безнадежности.

Редколлегия журнала:

Анна Сафронова
Алексей Александров
Алексей Голицын
Алексей Слаповский
Олег Рогов

Подписано в печать 24 февраля 2015 г.
Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

Цена свободная

Рукописи принимаются по адресу:
E-mail: safronova-volga21@yandex.ru

Электронная версия журнала:
http://magazines.russ.ru/volga/

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.